# АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Виктория Миленко

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Аркадий Аверченко (1880–1925) — титулованный «король смеха», основатель, неутомимый редактор и многоликий автор популярнейших журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», выпускавший книгу за книгой собственных рассказов и умудрившийся снискать славу эпикурейца, завсегдатая ресторанов и записного сердцееда, — до сих пор остается загадкой. Почему он, «выходец из народа», горячо приветствовал Февральскую революцию и всадил своей знаменитой книгой «Дюжину ножей в спину революции» Октябрьской? Почему Ленин ответил на «Дюжину ножей» личной рецензией, озаглавленной «Талантливая книжка»? Почему, наконец, ни одна из «историй сердца» не довела юмориста до брачного венца? Виктория Миленко, кандидат филологических наук, севастопольский исследователь жизни и творчества своего земляка, предприняла попытку дать объемное жизнеописание Аркадия Аверченко и ответить на многие вопросы, объединив зарубежные исследования, отечественные наработки и свои открытия как в архивных фондах, так и в истории семьи писателя, разыскав его здравствующих родственников. В книге представлен впечатляющий круг географических адресов писателя на родине и в эмиграции — Севастополь, Донбасс, Харьков. Петербург, Стамбул, София, Бухарест, Берлин, Париж, Прага, а также круг друзей и коллег — А. Куприн, Л. Андреев. Н. Тэффи, Саша Чёрный, В. Маяковский, А. Бухов, художники А. Радаков, Н. Ремизов и др. В издании впервые вводятся в оборот новые документы, мемуарные свидетельства, фотографии. Книга посвящается 130-летию со дня рождения А. Аверченко.


- Виктория Миленко.
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Глава первая. «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ» АВЕРЧЕНКО
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - Глава вторая. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРИУМФ
    - Рождение Ave. «Сатирикон»
    - Свита короля
    - Господин редактор
    - Забавы короля
    - Старая театральная крыса

- Александра Садовская
- «Новый Сатирикон»
- «Вся власть Аркадию Аверченко!»

Глава третья. КУБАРЕМ
Глава четвертая. «ВРАНГЕЛЕВСКОЕ СИДЕНИЕ»
Глава пятая. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГАЛАТСКОГО МОСТА
Глава шестая. ГЛОБ-ТРОТТЕР
Глава седьмая. «РУССКИЙ ГАШЕК»
Глава восьмая. КОРОЛЬ УМЕР
Глава девятая. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. Т. АВЕРЧЕНКО
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- notes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73

- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117

- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138

**Виктория Миленко.**
**Аркадий Аверченко**

# ПРЕДИСЛОВИЕ

*Одну из старых книг Аверченко нашли в Екатеринбурге, в комнате расстрелянного царя, а более свежую в кабинете только что умершего Ленина.*

*Аркадий Бухов*

*Место, занимаемое Аверченкой в русской литературе, единственное, им созданное и незаменимое. Это русский Джером. Разница та, что Джеромом гордится Англия, а Россия Аверченко не гордится только потому, что гордость есть чувство нерусское… Будь Аверченко французом, его именем назвали бы улицу, площадь или хоть бы переулок. У нас нет ни городов, ни улиц.*

*Тэффи*

Аркадий Аверч

«Король смеха» Аркадий Аверченко был одним из самых популярных и влиятельных людей литературного мира дореволюционной России. Редактор журналов «Сатирикон» (1908–1913) и «Новый Сатирикон» (1913–1918), создатель собственной комической манеры повествования, он на долгие десятилетия задал вектор развития отечественной сатирико-юмористической прозы и журналистики. На его творчестве формировались писательские таланты Михаила Булгакова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Зощенко, Пантелеймона Романова. Аверченко стоял у истоков российской кинокомедии и эстрадного театра, был лично знаком и поддерживал добрые отношения с А. И. Куприным, А. С. Грином, В. Г. Короленко,

В. В. Маяковским, Тэффи, Сашей Чёрным, А. Н. Вертинским, И. Е. Репиным, В. Э. Мейерхольдом. Его поклонниками были и кадеты, и эсеры, и Николай II, и Ленин. Афоризмы Аверченко цитировали депутаты на заседаниях Государственной думы, а его знаменитое: «Прочел с удовольствием» — на манифесте об отречении императора повторял весь Петроград. Он был богат и знаменит, талантлив и бесшабашен, и его судьба, безусловно, была бы блестяща, если бы не 1917 год, навсегда оставивший в душе писателя трагический излом и заставивший покинуть родину. Заняв открытую антисоветскую позицию, Аверченко буквально до последнего вздоха боролся с большевизмом «оттуда» и на предложение Ленина вернуться в СССР ответил отказом…

Рядом с именем Аркадия Тимофеевича Аверченко всегда стоит название журнала «Сатирикон» — его любимого детища. С момента основания в 1908 году и вплоть до закрытия в 1918-м — десять лет! — это издание поддерживало репутацию самого профессионального, яркого и оригинального в области юмора. После революции многие бывшие сатириконцы влились в ряды сотрудников новых советских журналов, в том числе знаменитого «Крокодила». Аверченковский «Сатирикон» стал национальным феноменом, брендом, секретам популярности которого посвящаются научные работы и диссертационные исследования[1].

Произведения писателя переведены на английский, немецкий, французский, голландский, чешский, словацкий, сербский и другие европейские языки. Современники считали его одним из лучших юмористов своей эпохи и ставили его имя в один ряд с Марком Твеном, Джеромом Клапкой Джеромом и Ярославом Гашеком.

Тем не менее А. Т. Аверченко называют одной из самых загадочных фигур в русской литературе XX столетия. Все его жизнеописания пестрят фразами: «данные не совпадают», «точно не известно», «есть различные версии», «установить не удалось», «выяснить не представляется возможным». Споры возникают по поводу даты рождения писателя, обстоятельств его детства, причин травмы левого глаза, романа с актрисой Александрой Садовской, загадочного внебрачного сына… Причина биографических «загвоздок» банальна: Аверченко как «озлобленный почти до умопомрачения белогвардеец» (В. И. Ленин) долгие годы входил в число запрещенных авторов. Советские литературоведы, рассматривавшие (зачастую поверхностно!) его творчество и жизненный путь, не могли поработать с архивом писателя, находившимся на

спецхранении… Недоступны были воспоминания о нем литераторов-эмигрантов. Родственники сатирика, владеющие уникальной информацией, вплоть до недавнего времени оставались в тени.

Парадоксально, но первая фундаментальная работа об А. Т. Аверченко появилась в 1960-е годы в… США. Ее автор — славист Димитрий Александрович Левицкий успел застать в живых некоторых друзей и коллег писателя, первым из литературоведов ознакомился с его архивом и собрал редчайшие свидетельства. Однако, имея доступ к материалам эмигрантского периода, исследователь не имел никакой возможности посмотреть документы, хранившиеся в архивах СССР. Поэтому детские, юношеские и петербургские годы жизни «короля смеха» освещены в его монографии «Жизнь и литературное наследство Аркадия Аверченко» (Филадельфия, 1969) достаточно схематично.

В конце 1990-х годов дело, начатое Левицким, продолжил москвич Александр Владимирович Молохов. Он кропотливо собирал документальные свидетельства о жизни своего героя в Петербурге, Харькове, Москве, Праге, встречался с Левицким в Вашингтоне. Результатом этой работы стало диссертационное исследование «Проблема реконструкции архивных фондов писателей-эмигрантов (на примере фонда А. Т. Аверченко)» (М., 1999). Однако этот труд, по словам самого А. В. Молохова, тогда «не заинтересовал никого из мэтров».

Форматы работ обоих ученых (докторская и кандидатская диссертации) не позволяли им уделить достаточного внимания бытовым аспектам жизни Аркадия Аверченко. Настоящая книга — первый опыт большого биографического очерка о писателе, вобравший в себя фактографическую основу трудов вышеназванных авторов.

Подчеркиваем: это в основном очерк жизни с кругом определенных задач: показать Аверченко как человека с его достоинствами, увлечениями, слабостями, недостатками; прояснить по возможности спорные моменты биографии; проследить историю семьи писателя; восстановить круг общения, включая любимых женщин.

Отдельное внимание мы постарались уделить адресам Аверченко — специально для тех, кто сможет, наконец, установить хоть одну мемориальную доску.

В процессе работы открывались совершенно неожиданные ракурсы биографии писателя. К примеру, мы совершенно не знаем Аверченко-драматурга. Между тем трудно сказать, в каком качестве — автора-сатирика или театрального деятеля — он был

более известен современникам.

Аверченко имел непосредственное отношение и к молодому отечественному кинематографу, был знаком с Яковом Протазановым, Александром Ханжонковым, а молодому Сергею Эйзенштейну в 1917 году не позволил печататься в своем «Новом Сатириконе».

Наконец, самое интересное открытие — это дарственные надписи, автографы и письма сатирика. Не говоря уже об интервью! Все эти документы смело можно назвать самостоятельными мини-шедеврами юмористической прозы[2].

Собирая материалы об Аверченко, мы не уставали удивляться масштабам известности и популярности этого человека, а стало быть, и масштабам забвения… Поражал уровень интеллекта тогдашнего читателя сатирико-юмористической литературы. Любовь к Аверченко его прекрасно характеризует, ведь рассказы писателя — это тест на чувство юмора, а значит — и на интеллект. Радовало и то, что титул «король смеха», в отличие от дней сегодняшних, в России 1910-х годов присваивался по заслугам.

Что бы ни говорили некоторые современные критики и филологи о том, что творчество сатириконца Ave (псевдоним писателя) — уже анахронизм и его пора сдать в архив (есть такие мнения!), поклонники твердо стоят на том, что Аверченко — это уже отечественная классика. А классика, как известно, неприкосновенна!

Кстати, о поклонниках: давно доказано, что все истинные почитатели какого-либо художника похожи на него внутренне и одновременно похожи и друг на друга. Мы можем засвидетельствовать, что «аверченкоманы», с которыми нам посчастливилось общаться, — исключительно светлые, умные, порядочные, бескорыстные, веселые и деликатные люди. Почитатели сатирика из Москвы, Петербурга, Оренбурга, Харькова, Киева, Одессы, Симферополя оказывали нам всемерную поддержку. И еще: над рассказами писателя до сих пор от души смеются обожаемые им дети. Теперь уже — дети XXI столетия. Думается, Аркадий Тимофеевич посчитал бы это высшей наградой…

Настоящая книга посвящается 130-летию со дня рождения Аверченко, которое мы отметим 27 марта 2010 года.

Выражаем огромную признательность за поддержку племяннику писателя Игорю Константиновичу Гаврилову, его дочери Наталии Игоревне Одинцовой и внучке Вере. Бесценна помощь Александра Владимировича Молохова, оказанная абсолютно бескорыстно, исключительно во благо памяти

А. Т. Аверченко. Отдельное спасибо Ирине Чистяковой. Благодарим также Михаила Челядинова, Ирину Остапенко, Михаила Кизилова, Марию Рябцеву, Марину Колотило, Вячеслава Горелова, Дмитрия Неустроева, а также сотрудников Российского государственного архива литературы и искусства (Москва), Музея героической обороны и освобождения Севастополя, Севастопольского городского государственного архива.

# Глава первая. «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ» АВЕРЧЕНКО

## 1

«— Сколько вам лет? — спросил корреспондент литовской газеты.

— Не знаю.

— То есть как не знаете?!

— Так и не знаю. Когда я был совсем маленьким, не умел считать, а вырос — сбился.

— Но ваши родители?

— О! Они так молодились, что если бы я не сопротивлялся — мне сейчас было бы лет восемнадцать.

— Где вы родились?

— Гомер побил меня на четыре города.

— ?!!?

— О месте его рождения спорили семь городов, а о моем рождении только три: Харьков, Севастополь и Одесса.

— А на самом деле — место вашего рождения?

— У меня наибольшие подозрения падают на Севастополь.

— Где вы учились?

— Нигде. Родители полагали, что у меня слабое зрение, и я с детским простодушием поддерживал это заблуждение.

— Но вы что-нибудь кончили?

— Да. На прошлой неделе.

— Так поздно?!

— Да, это было поздно: половина второго ночи. Я кончил небольшой роман» (Эхо. 1923. 9 января).

Несмотря на иронический тон, все сказанное — правда: Аркадий Аверченко действительно не знал даты своего рождения, действительно не получил никакого образования и действительно мало кому говорил, что родился в Севастополе.

О детских и юношеских годах будущего «короля смеха» известно немногое. Складывается впечатление, что об этом периоде своей жизни он никому особенно не рассказывал. Не случайно поэт «Сатирикона» Петр Потёмкин писал: «Аверченко мальчик и юноша, родившийся в Севастополе в 1881 году, едва ли учившийся в гимназии и, во всяком случае, не кончивший ее, Аверченко молодой конторщик в управлении каких-то копей в Харькове, мало кому известен» (Потёмкин П. Об Аркадии Аверченко // Последние новости. 1925. 15 марта).

Писатель прожил неполных сорок пять лет, и только семнадцать из них он был знаменитостью, объектом внимания прессы, кумиром тысяч поклонников. Об этом времени напоминают забавные интервью, публикации петербургских и эмигрантских газет, афиши, многочисленные воспоминания о нем современников. Что же касается первых двадцати восьми лет жизни — севастопольского мальчишки, конторщика Брянского рудника и молодого харьковского журналиста — этого «доисторического» Аверченко мы до сих пор не знаем. А ведь он приехал в столицу уже совершенно сформировавшимся человеком.

Как же складывалась его судьба до «петербургского триумфа»?

Американский славист Димитрий Левицкий первым попытался приподнять завесу тайны над детством и юностью писателя. Ему еще в 1960-х годах удалось побывать в Париже у Ольги Тимофеевны Смирдиной, одной из младших сестер Аверченко, и просмотреть хранившийся у нее архив брата. Но… в архиве не было никаких документов допетербургского периода. Самой Ольге, когда Аркадий уехал из Севастополя, было всего три года. Она вряд ли что-нибудь могла помнить или знать о его детстве. Попасть в Севастополь, чтобы найти каких-либо свидетелей, Левицкий не имел никакой возможности: город был закрыт.

Что касается крымских исследователей, то они игнорировали своего знаменитого уроженца по вполне понятным причинам и заинтересовались им всерьез лишь в конце 1990-х годов в связи с актуализацией темы Гражданской войны. В 2001 году увидела свет статья сотрудницы Севастопольского городского архива Светланы Шевченко «К родословной А. Т. Аверченко», в которой были обнародованы записи о венчаниях родителей и сестер писателя. Здесь же впервые была опубликована правильная дата рождения Аверченко. С. Шевченко обнаружила Книгу записи актов гражданского состояния Петро-Павловской церкви, в которой дата 15 марта 1880 года отмечена как день появления на свет младенца Аркадия, родителями которого являлись «Севастопольский 2-й Гильдии купец Тимофей Петров сын Аверченко и законная жена его Сусана Павлова дочь, оба православные». Так, наконец, была решена одна из загадок биографии юмориста: сам он в анкетах и автобиографиях указывал то 1881, то 1882, то 1883 годы… На могиле в Праге год рождения также указан неверно: 1884-й. Все эти расхождения в итоге привели к тому, что Никита Богословский в 1990 году писал: «…к сожалению, точную дату рождения установить

нельзя», а Димитрий Левицкий в своей монографии сетовал на то, что «большие затруднения представляет вопрос о дне и месяце рождения Аверченко».

Статья С. Шевченко заканчивалась так: «К сожалению, в Государственный архив г. Севастополя не поступило ни одного запроса, касающегося метрических записей семьи Аверченко, и выявленные документы впервые вводятся в научный оборот. Надеемся, что эти сведения пригодятся для написания научной биографии русского писателя-юмориста» (Шевченко С. К родословной А. Т. Аверченко // Отечественные архивы. 2001. № 5). И они, действительно, очень помогли нам во время работы над этой книгой. Однако для воссоздания картины детства Аверченко их оказалось явно недостаточно.

Кто же в принципе мог что-нибудь знать о детстве Аркадия? Женат он не был, детей (по крайней мере, законных) не имел — следовательно, никаких внуков/правнуков нет. У него было шестеро родных сестер. Две из них (Ольга и Елена) эмигрировали и умерли за границей — они не в счет, потому что найти их потомков весьма сложно. Одна — Неонила — умерла в начале 1920-х годов от тифа. Тоже не в счет. Остальные три — Любовь, Мария, Надежда? Судя по содержанию акта о разделе наследства Аверченко 1927 года, все они на тот момент были живы. Как сложилась их судьба? Может быть, их потомки и до сих пор живут в Севастополе, хранят какие-либо фотографии и могут хоть что-то сообщить?

Сразу оговоримся: особенных надежд что-либо найти не было. Старое городское кладбище, где могли бы сохраниться могилы, наполовину разрушено в годы войны, архивный фонд города тоже большей частью не сохранился. Многие списки захоронений утрачены бесследно. Поэтому не удивительно, что долгие поиски каких-либо сведений о сестрах писателя в городском загсе ни к чему не привели; не удалось обнаружить и их захоронений. Объяснений могло быть несколько: уехали и умерли в другом месте; были репрессированы; погибли во время обороны Севастополя 1941–1942 годов или были угнаны немцами в Германию.

Оставалась слабая надежда на Интернет. К счастью, она оправдалась. В «Иркутской книге памяти жертв политических репрессий»[3] нами был обнаружен запрос от 2002 года некой Елены о «родственниках репрессированной в конце 20-х — начале 30-х гг. семьи Аверченко, проживавшей в южной части бывшего СССР». Неизвестно, о какой семье идет речь, — формулировка «южная часть бывшего СССР» слишком обтекаема. Важно то, что Елене ответила… двоюродная внучка Аркадия Аверченко —

Одинцова Наталия Игоревна! Вот ее письмо: «Мой отец (Игорь Константинович Гаврилов-Аверченко, 1914 г. р.) — помнит Аркадия Аверченко, его мать и сестер, проживавших в Крыму, в Севастополе».

Письмо отправлено в феврале 2006 года; координат автора нет.

Не возникало никаких сомнений в том, что Наталия Игоревна — внучка сестры Аркадия Аверченко Надежды (в замужестве Гавриловой). Сразу появились вопросы. Как Игорь Константинович жил с такой фамилией в советское время? Что значит «помнит» — он жив (92 года!)? Откуда отправлено письмо? Где искать этих людей?!

Фамилия Гаврилов-Аверченко достаточно редкая. Благодаря Интернету удалось установить, что автор с такой фамилией является постоянным сотрудником московского журнала «Будь здоров!». Вот названия некоторых его статей: «Гантели от старости» (1999. № 6), «Холестерин надо приручить, чтобы он стал не врагом, а другом» (2006. № 8). Тот это Гаврилов-Аверченко или нет?! Неужели удалось выйти на след этого удивительного человека, который в 92 года печатается в журналах и лично помнит писателя Аверченко?

Разговор с секретарем редакции журнала был крайне лаконичен:

— Журнал «Будь здоров!».

— Вас беспокоит Севастополь. Скажите, пожалуйста, как связаться с одним из ваших авторов — Гавриловым-Аверченко? Есть такой у вас?

— Есть. (Неужели!..)

— Еще один вопрос: ему должно быть очень много лет…

— Да, ему за девяносто.

— А он как-то связан с русским писателем Аверченко?

— Нет.

— Не связан?!!

— Не знаю такого писателя. Ничего этого не знаю. Телефон Гаврилова-Аверченко записывайте…

Вот он — телефон! Повезет или нет? Тот это человек или не тот?

— Алло! — отозвался высокий мужской голос на другом конце провода.

— Можно поговорить с Игорем Константиновичем?

— Я вас слушаю.

— Уважаемый Игорь Константинович, вас беспокоит Севастополь…

— О-о-о! Моя родина…

— Скажите, пожалуйста, вы имеете отношение к русскому писателю Аверченко?

— А как же! Это мой родной дядя…

Сомнения отпали: это он!!!

Поговорили кратко и, наверное, сумбурно. Мысли разбегались. Спросить нужно было так много…

— Игорь Константинович, вы действительно помните Аркадия Тимофеевича?

— А как же… Мы с ним гулять ходили…

— В каком году это было?

— При Врангеле.

— И что именно запомнилось? Ведь вам было лет пять-шесть?

— Запомнилось, что он мне машинку не купил. Сказал, что в доме и так мало места, и мама будет нас с ним ругать…

— Да-а-а… Интересный факт из жизни писателя, считавшегося большим другом детей. А у вас осталось что-нибудь от него? Письма, юношеские фотографии?

— Нет!.. Мой младший брат, когда отца арестовали, все уничтожил.

— Как это печально… И все-таки, Игорь Константинович, неужели за все эти годы никто на вас не вышел по поводу Аверченко? Как это может быть?! Тем более что живете вы в Москве — не в тундре… Не понимаю…

— Сам не понимаю. Никто не интересовался. Нет, звонил какой-то, но тот был самозванец. Тоже родственником представлялся…

Позже выяснилось, что Гаврилов-Аверченко — это своего рода литературный псевдоним; по паспорту его фамилия просто Гаврилов. Гавриловых в России много — вероятно, поэтому никто из биографов Аверченко и не нашел этого человека.

Игорь Константинович посоветовал обратиться к своей дочери Наталии Игоревне Одинцовой. Она охотно согласилась ответить на любые вопросы, многозначительно заметив: «Я знала, что кому-нибудь это же должно быть нужно!»

Да, наконец-то это кому-нибудь стало нужно. Не прошло и ста лет…

Осенью 2007 года мы встретились в Москве.

— Я довольно долго даже не представляла, что в нашем роду был какой-то знаменитый писатель, — рассказывала Наталия Игоревна. — В семье об этом вообще не говорили. Не потому, что боялись, а просто уже привыкли не говорить. Потом как-то узнала, начала читать его рассказы…

— И какое было впечатление? Вы поняли его, почувствовали?

— Да, все это мне было близко. Вы знаете, я недавно

обнаружила рассказ Аверченко в совершенно неожиданном месте. Мне поручили разработать курс по синергетике — это новое междисциплинарное направление. Стала готовиться, взяла книгу «Путь в синергетику» Безручко. Читаю и с удивлением обнаруживаю, что для того, чтобы объяснить читателям ключевое математическое понятие синергетики — нелинейность, авторы приводят рассказ «Люди, близкие к населению», причем не выдержки, а полностью. Кто после этого станет утверждать, что Аверченко не современен?

Вместе мы поехали в гости к Игорю Константиновичу. В его квартире — старинные фотографии, картины и книги, книги. У Игоря Константиновича удивительная память (все, что он сообщил, впоследствии подтверждалось фактами) и конечно же генетическое чувство юмора. Он прожил трудную жизнь: дядя — «белогвардеец» Аверченко, отец — бывший царский офицер, оба деда — купцы, четыре родные тетки за границей. Однако, несмотря на преследовавшие его доносы, Игорь Константинович сделал блестящую карьеру, защитил кандидатскую диссертацию, объездил полстраны, еще в советские годы работал в Великобритании и Швеции. Он пережил три страшные войны, основание и крушение СССР. Когда он совершенно спокойно произносит: «Это было еще при царе», то с некоторой оторопью понимаешь: ведь он действительно жил… при Николае II.

Вместе смотрели семейный альбом, который его мама, Надежда Тимофеевна Аверченко, вывезла из предвоенного Севастополя. Грустили — мало что сохранилось. Многие снимки «цензурированы»: отрезаны изображения людей, а иногда лица.

Игорь Константинович рассказал, что прекрасно помнит свою бабушку (мать Аркадия Аверченко) Сусанну Павловну, потому что после ухода белых в 1920 году она жила вместе с ними и вырастила и самого Игоря, и его младшего брата Глеба. Семья была очень дружной; Аркадия все обожали, радовались его успехам, а он редко приезжал в Севастополь, но регулярно писал. Сусанна Павловна жалела о том, что ее единственный сын и продолжатель рода Аверченко никак не хочет жениться, а тот отвечал, что его богемная жизнь не способствует жизни семейной. Так и получилось, что именно мама и сестры были семьей Аркадия. Его смерть они переживали очень тяжело.

На наш вопрос — в чем вы ощущаете свое родство с Аркадием Тимофеевичем? — Игорь Константинович ответил: «В оптимизме!!! Как мои отец и дед, я тоже долгожитель. Утверждаю: главное — быть счастливым. Когда мне становится грустно, сразу мысленно представляю Крым: горы, море и я играю со своей дочкой в теннис… В жизни необходимо быть

оптимистом!!!»

Игорь Константинович и Наталия Игоревна оказали и продолжают оказывать неоценимую помощь в работе над научной биографией их знаменитого родственника. Эта книга — наш совместный труд, в котором, если процитировать самого Аверченко, «большая любовь водила рукой» авторов.

Что у нас получилось, судить читателю…

Итак!

## 2

*Детям вечно досаден*
*Их возраст и быт, —*
*И дрались мы до ссадин,*
*До смертных обид.*
*Но одежды латали*
*Нам матери в срок,*
*Мы же книги глотали,*
*Пьянея от строк.*

*В. Высоцкий. Баллада о борьбе*

После Крымской войны 1853–1856 годов в разрушенный Севастополь на чумацкой телеге прибыл искать счастья молодой человек. Звали его Тимофеем Петровичем Аверченко и происходил он из мещанского сословия города Перекопа[4]. Старший брат Тимофея отправился на поиски заработка в Херсон, а сам он решил ехать на юг полуострова и заняться торговлей.

Севастополь производил безрадостное впечатление. Центр все еще лежал в руинах, среди которых возвышались либо отдельные дома, либо участки компактной застройки. В стенах полуразвалившихся домов виднелись пушечные ядра… Трава пробивалась сквозь булыжные мостовые. Порт был пустынен: флот погиб, город по условиям Парижского мирного договора 1856 года перестал быть его базой. Окраины и многочисленные слободки ужасали покосившимися лачугами и темными личностями. Большинство улиц не носило никаких названий, нумерация домов отсутствовала.

Самым оживленным местом в полумертвом городе был рынок в Артиллерийской слободе. Здесь пестрота и гомон толпы оглушали! Татары торговали чебуреками, брынзой, бузой; греки — копченой рыбой; караимы — пирожками; крымчаки —

шапками из овечьих шкур. Прямо к площади рынка подходили рыбачьи баркасы и выгружали на берег скумбрию, кефаль, барабулю. В мясном корпусе висели бараньи и свиные туши, торговали битой и живой птицей. На улицах, прилегающих к рынку, — постоялые дворы, пивные, торговые лавки…

Именно здесь, неподалеку от базара — на Ремесленной, и поселился Тимофей Петрович. Хотя это и был самый центр Севастополя, улица проходила по дну глубокого Одесского оврага и имела посредине широкую канаву, в которой после дождей постоянно стояла вода и в которую сливались нечистоты. Для того чтобы попасть на центральные магистрали — Большую Морскую или Нахимовскую улицы, — нужно было выбираться из оврага по высоким лестницам. Тем не менее эта часть города считалась в те годы одной из наиболее благоустроенных и те, кто жил здесь, гордились этим!

Девятнадцатого апреля[5] 1874 года Тимофей Петрович женился на молодой, 17-летней Сусанне Павловне Софроновой — девушке доброй и кроткой, любившей детей и животных. Она была родом с Полтавщины и часто с ужасом рассказывала мужу, что ее дед был атаманом шайки разбойников. Отец Сусанны тоже был человеком крутого нрава, в чем Тимофей Петрович мог убедиться сам: его жена была неграмотной только потому, что так решил ее родитель. Пострадала она за грехи старшей сестры, которую как раз обучали грамоте и хорошим манерам, а она сбежала из дому с гусаром и тайно с ним обвенчалась. Взбешенный отец Сусанны решил не заниматься вовсе ее образованием.

Через год после свадьбы в семье родилась девочка Люба. Восприемником на крещение был приглашен купец 2-й гильдии Стефан Мачука — очень уважаемый в городе человек, крупнейший виноторговец, владевший тремя домами в центре Севастополя. Точно известно, что его пригласили не как «свадебного генерала», а как друга. Это обстоятельство позволяет опровергнуть распространенное утверждение о том, что родители А. Т. Аверченко якобы были очень простыми людьми. В пользу обратного свидетельствует и факт их близкого знакомства с богатейшими севастопольскими финансистами Федором Таци и Константином Гавриловым, сын которого в 1912 году женился на одной из сестер Аркадия Аверченко, Надежде.

В 1877 году в семье появилась вторая дочь — Мария, а два года спустя родился мальчик Алексей, проживший всего 10 дней. (В 1887 году у Аверченко родится еще один мальчик Константин, который также умрет в младенческом возрасте.)

Наконец, 15 марта 1880 года Сусанна Павловна произвела на

свет младенца, который впоследствии опишет это событие так:

«Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

„Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись. — Ты играешь наверняка“.

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба» («Автобиография»).

Ребенка крестили 18 марта в Петро-Павловской церкви на Большой Морской[6] улице и нарекли Аркадием. Согласно метрике, восприемниками стали «Севастопольский 2-й Гильдии купец Димитрий Васильев Долголенко и Севастопольского мещанина Петра Ермолова жена Екатерина Николаева»[7].

Сусанна Павловна, уже потерявшая одного сына, молилась, чтобы Господь даровал Аркадию здоровье и долгую жизнь, но тот рос болезненным, слабым и сильно возбудимым. Во время волнения начинал заикаться. Годам к восьми обнаружилась и серьезная близорукость… Поэтому мальчишку баловали. Он всю жизнь был окружен женской заботой: в детстве — матери и старших сестер, впоследствии — возлюбленных. (Даже петербургская горничная Надя буквально «усыновит» Аверченко и будет растирать его от радикулита.)

Едва освоившись в этом мире, Аркадий понял, что мир жесток и в нем нужно выживать. В те годы между детьми разных районов Севастополя шла необъявленная война: «Существовали два разряда мальчиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я. Другие больше и здоровее меня — эти отделывали мою физиономию на обе корки при каждой встрече. Как во всякой борьбе за существование — сильные пожирали слабых» («Страшный мальчик»). Особенно многолюдные побоища происходили в Страстную субботу вечером, который собирал «уйму мальчиков к оградам церквей» города. Из темноты то и дело вырастали таинственные фигуры, спрашивали Аркадия: «Хочешь по морде?» и немедленно приступали к делу. К великому сожалению, домашнее «бабье царство» (Сусанна Павловна впоследствии родила еще четырех дочерей) было слабой защитой от соседских пацанов, которые наверняка обижали веснушчатого «очкарика». Аркадий вынужден был с кулаками отстаивать право

на существование.

Более всего он трепетал при встрече с хулиганом Ванькой Аптекаренком, жившим «в местах совершенно неисследованных — в нагорной части Цыганской слободки». В этом злачном районе селилось беднейшее население, грязные хижины лепились по склонам Кладбищенской балки… Аркадий «в пугливом кротком сердце своем» прозвал Аптекаренка Страшным мальчиком: тот был непредсказуем и имел железный кулак. Приговор своей жертве он выносил быстро.

— Ты чего на нашей улице задавался? — спрашивал Страшный мальчик.

— Я… не задавался.

— А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?

— Я не… отнял их. Он их проиграл.

— А кто ему по морде дал?

— Так он же не хотел отдавать.

— Мальчиков на нашей улице бить нельзя!

После этой фразы оппонент Аптекаренка немедленно получал в ухо.

Особенным почетом Страшный мальчик был окружен на пляже у Хрустальных скал, ибо он непревзойденно умел обрызгать какого-нибудь зазевавшегося булочника или грузчика из гавани. И вот что интересно: в наши дни на мысе Хрустальном расположен городской пляж, на котором прыгнуть «бомбочкой» рядом с нерасторопной туристкой или пожилой женщиной — самое милое дело. Живучи традиции севастопольских хулиганов!

По свидетельству городской старожилки Леи Исаковны Фуки, маленького Аверченко в Севастополе звали «карантинским босяком». Босяком он и был: Ремесленная улица стала вторым домом. Томясь от безделья, мальчишки на ней придумывали оригинальнейшие игры: «…каждый, по очереди, приложив большой палец к указательному, так, что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутрь кольца, не задев пальца, — счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками» («День делового человека»).

Вспоминая свое детство, Аверченко описывал Ремесленную так: «…пустынная улица с рядом мелких домишек дремала в горячей пыли»; по ней «шатались пыльные куры, ребенок с деревянной ложкой в зубах, да тащился, держась за стены, подвыпивший человек <…> накачавший себя где-либо в центре или на базаре». Из-за дощатых крашеных заборов выглядывали

домики, окруженные тоскливыми уксусными деревьями. Особенно грустно становилось осенью: «Пыль на нашей улице замесилась в белую липкую грязь, дождь тоскливо постукивал в оконные стекла, в комнатах было темно, неуютно, и казалось, что мир уже кончается, что жить не стоит, что над всем пронесся упадок и смерть» («Ресторан „Венецианский карнавал“»). Свой дом Аркадий презрительно называл «блокгаузом».

Картина неприглядная, не правда ли? У Аверченко вообще не встретишь обычных севастопольских эпитетов — «легендарный», «славный», «героический» и др. «Проза жизни тяготила меня, — признавался писатель. — Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время: как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези?.. Меня, десятилетнего пионера в душе, местожительство отца не удовлетворяло» («Смерть африканского охотника»).

Однако можно ли из этого сделать вывод о том, что Аркадий не любил Севастополь, а детство его, по предположению литературоведа Олега Михайлова, было «безотрадным»? Вряд ли. Разве может мальчишка с воображением скучать в городе, где есть таинственные руины древнего Херсонеса, где, чуть копнешь, — находишь солдатские пуговицы и ядра, где можно из ямок доставать тарантулов и сдавать их в аптеку, где в пяти минутах ходьбы от дома открытое море, где в порту стоят иностранные пароходы и куда приезжает с высочайшими визитами сам император Александр III? Нет! Напротив, впечатления детства были настолько яркими, что Аверченко возвращался к ним в течение всей жизни: «…все неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, когда все так важно, так значительно» («В ожидании ужина»). Он столь отчетливо помнил свое детское восприятие мира, что безошибочно угадывал ход мыслей многочисленных малышей, с которыми его сталкивала судьба. Именно в Севастополе сформировались основные черты его характера — характера южанина: оптимизм, добродушие, отходчивость, острое ощущение радости жизни. «Южное солнце родит светлые мысли и широкие жесты», — скажет однажды писатель об уроженце Одессы авиаторе Сергее Уточкине, которого очень любил.

Севастополь 1880–1890-х годов был весьма многонациональным городом: греки, караимы, татары, евреи, немцы, украинцы, русские. Отсюда и экзотические имена детских товарищей Аркадия — Павка Макопуло, Киря Алексомати, Рафка

Кефели. Но никакой вражды не было (Аверченко всю жизнь будет пресекать любые проявления национализма). Не смотрели и на то, кто из какой семьи. Отец одного из близких друзей Аркадия был портовым рабочим, мать другого жила на проценты с небольшого капитала. Сам он был сыном купца… Аверченко с ранних лет усвоил, что не стоит придавать «значения никаким различиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внешним», а следует ценить их душу и доброе к себе отношение.

Сложно сказать, был ли он религиозен. Скорее всего, не особенно. В замечательном рассказе «Кулич» (1920) писатель вспоминал одну историю из детства о праздновании Пасхи.

Однажды Тимофей Петрович попросил сына освятить в церкви кулич, яйца и колбасу. Пообещал за это рубль. Мальчик не проявлял энтузиазма:

— Тоже вы скажете: святи кулич! Разве я могу? Я маленький.

— Да ведь не сам же ты, дурной, будешь святить его! Священник освятит. А ты только снеси и постой около него!

— Не могу.

— Новость! Почему не можешь?

— Мальчики будут меня бить.

— Подумаешь, какая казанская сирота выискалась. Небось сам их лупцуешь, где только ни попадутся.

Перспектива «получить по морде» ночью от соседских босяков не радовала, но рубль! Дух захватывало…

— Так идешь или нет? — спросил отец. — Я знаю, конечно, что тебе хотелось бы шататься по всему городу вместо стояния около кулича, но ведь за то — рубль. Поразмысли.

И мальчишка решился: «Давайте рубль и пасху вашу несчастную!» Получив за хамство по губам, он пошел на обман: спрятал продукты под крыльцо и помчался в Греческую церковь веселиться. Там можно было «носиться по всей ограде, отправляться на базар в экспедицию за бочками, ящиками и лестницами, которые тут же в ограде торжественно сжигались греческими патриотами». В святую ночь Аркаша «насыпал» Андриенке, кулича не освятил «да еще орал на базаре во все горло не совсем приличные татарские песни, чему уж не было буквально никакого прошения».

Возвращаясь домой, он угрызался совестью: «…весь город будет разговляться свяченными куличами и яйцами, и только наша семья, как басурмане, будет есть простой, не святой хлеб». А вдруг «все-таки Бог есть» и припомнит ему потом все злодеяния!

Наказание не заставило себя долго ждать: из-под крыльца выскочила собака, на ходу дожевывая колбасу. Кулич был наполовину изглодан. Отцу пришлось соврать, что от голода

отъел сам.

«Вся семья уселась вокруг стола и принялась за кулич, а я сидел в стороне и с ужасом думал:

— Едят! Не свяченый! Пропала вся семья.

И тут же вознес к небу наскоро сочиненную молитву: „От-че наш! Прости их всех, не ведают бо что творят, а накажи лучше меня, только не особенно чтобы крепко… Аминь“».

Всю ночь душили кошмары… Наутро, зажав в кулаке «преступно заработанный рубль», Аркадий помчался кататься на качелях. На Большой Морской к нему пристал цыган:

— Панич, лимонада холодная! Две копейки одна стакана…

Доверчивый мальчишка протянул рубль, а цыган с криком:

«Абдраман! Наконец я тебя, подлеца, нашел!» немедленно ринулся куда-то в сторону и замешался в праздничной толпе. Еще не успели выступить слезы обиды, как кто-то проснулся в честном детском сердце и сказал: «Это за то, что ты Бога думал надуть, несвяченым куличом семью накормил! Если Бог наказал тебя, значит, пощадил семью». Рассказ заканчивается философски: «Был я мал и глуп».

Приведенный случай интересен тем, с какой иронией и одновременно любовью Аверченко вспоминал о своем отце, который, судя по приведенным диалогам, обладал изрядным чувством юмора. Писатель всю жизнь размышлял над тем, что за человек был Тимофей Петрович. Он и упрекал его за то, что тот мало уделял ему в детстве внимания, что заставил в 15 лет зарабатывать деньги, и в то же время писал о нем с такой бесконечной теплотой! Он всей душой тянулся к отцу, но тот был погружен в торговлю, отнимавшую все его время: «Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами, каким бы образом поскорее разориться. Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями. Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом» («Автобиография»).

Когда родился Аркадий, его отцу было уже 40 лет, поэтому мальчик вполне мог воспринимать его как «старика». Севастопольские газеты того времени сохранили для нас один из адресов торговли Аверченко-старшего: по состоянию на 16 декабря 1884 года его лавка размещалась на базаре, в подвале

дома А. Виндберга. Аркаша скептически относился к профессии своего родителя: «Конечно, я ничего не имел против торговли… Но вопрос: чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью <…> золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником <…> Но мыло! Но свечи! Но пиленый сахар!» («Смерть африканского охотника»).

Фотографий Тимофея Петровича, к сожалению, не сохранилось. Его портрет мы можем восстановить достаточно условно по нескольким деталям, которые сообщает сам писатель: «щетинистые усы», «большой высокий человек», «большой умный человек», «значительнее и умнее всех казался мне отец». Игорь Константинович Гаврилов вспоминает, что, по рассказам матери, Тимофей Петрович был очень добрым, доверчивым, отзывчивым и, безусловно, умным человеком. Отличался он, как всякий настоящий малоросс, и упрямством, которое довело его до могилы. Проходя через калитку, Тимофей Петрович оцарапал ногу и занес инфекцию. Дело оказалось настолько серьезным, что доктора предложили отрезать ногу. Отец Аверченко отказался и вскоре умер. Когда это случилось, установить не удалось. Игорь Константинович Гаврилов уверен, что к моменту его рождения в 1914 году деда в живых уже не было. В начале 1910 года Аверченко писал автобиографию для историка литературы Семена Афанасьевича Венгерова, в которой говорил об отце в прошедшем времени: «Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом» (Аверченко А. Т. Автобиография // Ежегодник ОР ИРЛИ на 1973 год. Л., 1976). Судя по рассказу «Отец» (1910), который заканчивается фразой: «Теперь он умер, мой отец», Тимофей Петрович скончался либо до 1910 года, либо в 1910 году. Впрочем, можно ли считать этот рассказ автобиографическим? Как установил исследователь Станислав Никоненко, в образе главного героя запечатлен отец друга Аверченко Радакова. Гаврилов подтвердил, что темой рассказа скорее всего стал «отец» в обобщенном понимании этого слова…

Около 1890 года купец 2-й гильдии Тимофей Аверченко разорился. Много лет спустя его сын, оказавшись в Венеции и плывя по каналу в гондоле, размышлял: «Какую бы торговлю открыл этот неугомонный купец, этот удивительный беспокойный коммерсант?» И тут же я мысленно ответил сам себе: «Торговлю лошадиной упряжью открыл бы мой отец. И если бы через месяц он ликвидировал предприятие за отсутствием покупателей, то его коммерческая жилка потянула бы его на другое предприятие — торговлю велосипедами. О, боже мой! Есть такой сорт неудачников, который всю жизнь торгует на венецианских

каналах велосипедами» («Ресторан „Венецианский карнавал“»).

В связи с фактом разорения Тимофея Петровича биографы Аверченко обычно сообщают, что именно по этой причине Аркадий не получил никакого образования. Сам писатель этого никогда не подтверждал и объяснял отсутствие образования исключительно состоянием здоровья:

«Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм… Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: „…хорошего в ученьи“.

Так я и не занимался науками» («Автобиография»),

В самом деле, трудно себе представить, чтобы Тимофей Петрович не понимал, что единственному сыну и наследнику необходимо дать образование! Он сделал все, что от него зависело. В одной из автобиографий, написанной для библиографа и поэта Петра Васильевича Быкова, Аверченко указывал: «…девяти лет отец пытался отдать меня в реальное училище, но оказалось, что я был настолько в то время слаб глазами и вообще болезнен, что поступить в училище не мог». В 1880-е годы в Севастополе было только одно реальное училище — Константиновское (ныне улица Советская, 57), выпускники которого имели право поступления в технические университеты. Особое внимание в этом заведении уделялось точным наукам,

много учебного времени отводилось урокам рисования и черчения. Ребенку с очень слабым зрением это, разумеется, было не показано.

По состоянию здоровья Аркадий поступить не смог (в училище был конкурс в среднем два человека на место). Ничего другого не оставалось — он учился дома: «…я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы» («Автобиография»), Тимофей Петрович, в свою очередь, обучал сына азам бухгалтерии, что ему очень пригодилось в жизни.

Но чем же занимался этот ребенок, свободный от учебы и, судя по всему, предоставленный самому себе? О, он замечательно проводил время! Дрался безбожно, охраняя свою территорию. Воровал незрелые арбузы с баштанов, помидоры с возов и сирень на Историческом бульваре. Объедался чебуреками, пил бузу. Горланил татарские песни, а также популярный в севастопольских морских сферах романс:

Ой, не плачь, Маруся,
Ты будешь моя,
Кончу мореходку,
Женюсь на тебе.
……
Как тебе не стыдно, как тебе не жаль,
Что мине сменила на такую дрянь!

Их детская компания облюбовала уютную лужайку, вырыла там глубокую яму, в которой жгли костер и иногда даже жарили мясо, выпрошенное у «слабохарактерной кухарки». Отважные босяки вынашивали один захватывающий план: «предполагалось сделать подземный ход под всем городом, до самого моря, куда мы ежедневно бегали купаться. Предполагалось ходить купаться именно через это подземелье, а выход его у берега моря заваливать каждый раз какой-нибудь скалой, которая могла бы поворачиваться на замаскированных петлях» («Предводитель Лохмачев»). Пожарив мясо, мальчишки принимались пировать, подражая пиратам и выкрикивая: «Разрази меня гром, если я не голоден, как собака!» Как и положено разбойникам, ужин они

запивали «ромом», «роль» которого исполнял обыкновенный чай.

В 1890 году в жизни Аркадия произошло большое событие — в Севастополь, бедный на развлечения, приехал настоящий зверинец! Вот что известно об этом: «Не знаю, кто из нас был большим ребенком, — я или мой отец. Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был способен на такое бурное проявление восторга, как мой отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и, может быть (в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну), останется и до мая. Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду» («Смерть африканского охотника»), В издававшейся тогда газете «Крымский вестник» 1 апреля 1890 года действительно появилось красочное рекламное объявление следующего содержания:

«На Новосильской площади против Исторического бульвара.

Ежедневно с 9 часов утра до 10 часов вечера.

Большой зверинец и цирк В. Андерлика!!!

Новость в первый раз еще не виданная!!!

Индийский слон „мисс-Дженни“ в каждом представлении будет ездить на велосипеде. В каждом представлении примут участие все четвероногие артисты, как то: шотландский пони, обезьяны, пудели и козы, исполняющие наитруднейшие гимнастические упражнения: верховую езду и дрессировку высшей школы и комические веселые сцены».

К сожалению, в объявлении ничего не сказано об участии в представлении нефа и индейца, которые больше всего поразили воображение Аверченко-ребенка. Он вспоминает, что негр был «в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове» и «показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты». Индеец же стрелял из лука и «был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями». Аверченко очень забавно передает свои детские впечатления от представления. Дело в том, что индеец, негр, звери не только потрясли мальчика, но и разочаровали. «Всякий должен делать свое дело: индеец снимать скальп, негр — есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев — терзать без разбору того, другого и третьего, потому что читатель должен понять: пить-есть всякому надо», — поясняет нам юморист причину своего неудовольствия.

Разочарование было велико, потому что индейцы в детском сердце были священны. В 1921 году в Константинополе Аверченко напишет фельетон «Америка»: «Всякий, кто в свое время был мальчишкой, прекрасно знает, как велика тяга

мальчишки в Америку, а если кто этого не знает — значит, в нем текла кровь не храброго мальчишки, а девчонки». Далее он рассказывает, как в детстве решил сбежать и совершить «отважную экспедицию» в Америку, но его поймал отец и, угрожая выпороть, отправил домой. Играть «в индейцев» писатель продолжал всю жизнь: иногда ставил под письмами подпись «бледнолицый Аркадий». А уж в Америку он стремился всегда, и, если бы не скоропостижная смерть, обязательно там побывал бы!

«Мальчик без Майн Рида — это цветок без запаха», — скажет Аверченко, уже будучи солидным редактором «Сатирикона». Этот писатель да еще Луи Буссенар были его любимыми друзьями в детстве. Аркадий читал взахлеб и, по его собственным словам, все время «пропадал за книгами, вызывая суровое осуждение окружающих своим болезненно-лихорадочным видом и блуждающими от усиленного чтения глазами». Он брал с собой книжку и уходил на пустынный берег моря. Лежал и читал у одинокой скалы. Наевшись прихваченными с собой холодными котлетами, таранью, пирогом с мясом, мальчишка долго всматривался в горизонт: не приближается ли пиратское судно? Фантазия переносила его то в Африку, то в Северную Америку, к «бизонам, бесконечным прериям, мексиканским вакеро и раскрашенным индейцам».

Недостаток экзотики в окружающей жизни несколько скрашивала дружба с матросами. Они были окружены атмосферой дальних странствий! Они были подлинными персонажами любимого «Острова сокровищ» Стивенсона! 1 марта 1871 года в Лондоне произошло знаменательное событие: была подписана конвенция, отменявшая статьи Парижского мирного договора 1856 года. Россия вернула себе право иметь военный флот, военно-морские базы и укрепления на Черном море. Севастопольская крепость ожила. В пору детства Аверченко в бухтах вновь появились боевые корабли. Да еще какие — броненосцы! «Могу сказать с гордостью, что я вырос на руках черноморских матросов, — писал Аркадий Тимофеевич. — Как я их любил, этих огромных здоровяков! Не было на свете чудеснее человека, чем черноморский матрос, когда он шел по узеньким севастопольским улицам в снежно-белом костюме, немного наклонив вперед прекрасную голову на бычачьей шее и переваливаясь с ноги на ногу с какой-то львиной грацией» («О пароходных гудках»). Вместе с друзьями Аркаша бегал в порт дружить с матросами, для которых приходилось воровать папиросы у отца. (Как страшно будет ему в 1917 году, когда он увидит балтийских матросов, чинящих самосуд на улицах Петрограда! Какое это будет крушение детских иллюзий!)

Чтение взахлеб, в конце концов, заставило попробовать свои силы в литературе. В 13 лет Аркадий решил сам написать роман, но закончить его так и не смог. Созданное отважился показать своей бабушке, матери Тимофея Петровича. Эту женщину мальчишка настолько любил, что даже нарисовал ее масляными красками. Портрет в семье берегли, как дорогую реликвию. Он пережил все лихолетья и хранится сегодня у Игоря Константиновича Гаврилова. С почерневшего холста смотрит улыбающаяся женщина, наглухо закутанная в черный платок. Она — первая читательница будущего «короля смеха», которая, по его словам, «пришла в восторг» от романа.

Однако безоблачное детство подходило к концу. Этой грустной переходной поре посвящен рассказ «Молодняк» (в других редакциях — «Три желудя»): «Нет ничего бескорыстнее детской дружбы… Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были „знакомы домами“ и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке — и первый же разделённый братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы».

Именно такая дружба связала героя рассказа, в котором мы без труда узнаем маленького Аркадия, и его приятелей Мотю и Шашу. Ребята были неразлучны, вместе «братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались по земле от нестерпимой желудочной боли». Если ходили на море, то только втроем. Избивали соседских мальчишек тоже втроем и получали от них соответственно втроем… Но вот незаметно Аркаша, Мотя и Шаша выросли — им исполнилось по шестнадцать. И вот тут-то оказалось, что жизнь — сложная штука, что в ней нужно как-то устраиваться. Шаша пошел служить наборщиком в типографию, Аркадий помогал отцу в лавке («Боже, какая проза!»), а Мотя сделал «карьеру» помощника старшего конторщика в далеком, таинственном Харькове. Однажды он приехал домой в отпуск и уже совсем не стремился встретиться со старыми приятелями. Более того, он назначил им свидание в Городском саду, сильно опоздал и, в конце концов, попросил оставить его в покое. В этот вечер Аркаша и Шаша «заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали». Это было огромное, неподдельное горе и

одновременно это были «последние слезы детства».

С концом детства пришла пора влюбленностей. Все начали «стрядать за кем-нибудь» (произносить «я» вместо «а» было своеобразным шиком местных «фраеров»), В среде подростков можно было услышать, к примеру, такой разговор:

— Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?

— За Маней Огневой. А ты?

— А я еще ни за кем.

— Ври больше. Что же, ты дрюгу боишься сказать, чтолича?

— Да мине Катя Капитанаки очень привлекает.

— Врешь?

— Накарай мине господь.

— Ну, значит, ты за ней стрядаешь…

После такого сентиментального разговора уличенный в «стрядании» немедленно «загибал трехэтажное ругательство», чтобы его не сочли тряпкой.

В 1895 году, когда Аркадию исполнилось 15 лет, Тимофей Петрович занялся его трудоустройством: «…я остался не пристроенным, хотя отец и мечтал „определить меня на умственные занятия“, — что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе» («Три желудя»). Работу Аркадию, который всегда был несколько ленив, нашли не пыльную:

«Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример, как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет. А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался „держаться свободнее“, шаркая ногами по стенам, но все это было

слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь… — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей» («Автобиография»).

Недавние изыскания севастопольского краеведа Вячеслава Горелова позволили предположить название и адрес первого места работы Аверченко — контора транспортных кладей «Волга» на Большой Морской улице, 43 (была одновременно страховым обществом и занималась страхованием грузов при сухопутных перевозках). Аркадий работал младшим писцом. Относились к нему неважно: «Нельзя сказать, что со мной обращались милосердно, всякий старался унизить и прижать меня как можно больнее — главный агент, просто агент, помощник, конторщик и старший писарь» («О пароходных гудках»). Вместе с Аркадием служил Павел Мачука, сын друга Тимофея Петровича[8]. Этот человек всю жизнь хранил юношеский снимок Аверченко с дарственной надписью: «Господину Павлу Степановичу Мачуку на добрую память от сослуживца Аркаши Аверченко». В 1923 году он рассказывал советскому журналисту Максиму Поляновскому: «Жалованье нам положили одинаковое. Мною хозяин был предоволен. А Аркашу уволить собирался. Мамаша его приходила, просила оставить сынка на работе, обещала подтянуть, остепенить». Вскоре Аверченко, по словам Мачука, «возьми, да сам службу брось», чем очень обрадовал хозяина, не знавшего, как от него отделаться (Поляновский М. А. Аверченко в советском телевидении // Русские новости. 1967. 17 февраля).

Подтверждение срока службы находим в «Автобиографии»:

«Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей — ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука…

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и

очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца».

Аркадию пришлось уехать, потому что в семье действительно были серьезные финансовые проблемы. 30 июля 1896 года его 19-летняя сестра Мария была выдана замуж за «запасного инженера-кондуктора 1 класса, сына старшего инженер-механика» Ивана Терентьева, который отправлялся работать на Брянский рудник и рекомендовал туда же брата своей жены. Это была неплохая перспектива в материальном отношении: 1880–1890-е годы стали временем активного роста горнодобывающей промышленности. Часть угольных рудников современного Донбасса приобрел завод металлоизделий Брянской губернии. В 1896 году (именно в год отъезда Аверченко) было образовано акционерное «Общество Брянских каменноугольных копей и рудников».

«Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство!» — воскликнул Аркадий. Начиналась новая пора его жизни — «карьера» помощника счетовода. Если бы он знал, что отъезд из Севастополя безусловно благотворно скажется на его судьбе, то не ругал бы в душе отца, а благодарил его! Но до славы оставались еще долгих 12 лет…

## 3

«Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже» — так в «Автобиографии» Аверченко описывал Брянский рудник, где прожил несколько лет. Сегодня это городок Брянка в Луганской области.

В конце XIX века, когда туда приехали Аркадий с сестрой, поселок состоял из нескольких десятков землянок и бараков да пары-тройки каменных казарм, где в страшной тесноте ютились рабочие и их семьи. Нравы здесь были средневековые. Рисуя их впоследствии, писатель часто прибегал к гротеску. Вот лишь некоторые эпизоды: рудничный врач в пьяном виде отрезал больному здоровую ногу и закопал ее в больничном саду. Родственники пострадавшего «пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай». При этом они махали перед ним ногой до тех пор, пока он не согласился уплатить им 10 рублей и отдать свое осеннее пальто. Или другой сюжет: неизвестный прохожий залез погреться на коксовую печь и заснул. Труп его потом напоминал зажаренного поросенка и ждал погребения целую неделю. Отупевшие от скуки жители поселка каждый день ходили рассматривать останки — это было

развлечение!

В те годы считалось, что горнякам ввиду тяжелой работы необходимо систематически выдавать спирт или коньяк. Шахтеры, занятые каторжным трудом, почти всю зарплату пропивали. В начале XX века они даже сложили свой профессиональный «хит»:

Получил получку я
Ровно 22 рубля,
Два рубля отдал домой,
Ну а 20 на пропой.
Веселись, душа и тело, —
Вся получка пролетела!

Приметы рудничной жизни с ужасом описывал Аверченко: «… шахтеры (углекопы) казались мне <…> престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки. Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки» («Автобиография»).

В подобной «безвылазной черной яме» у молодого человека мог возникнуть великий соблазн пить вместе со всеми: «Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света» («Автобиография»). Однако то ли по состоянию здоровья, то ли по какой-то другой причине алкоголиком Аверченко не стал (возможно, потому, что вовремя уехал).

Нельзя сказать, будто горнопромышленники не сознавали в те годы, что пьянство — это чума Донбасса. Они относились к попойкам рабочих с почти мистическим страхом. «Начиная с субботы сразу после выдачи жалованья вплоть до вечера в понедельник трактиры битком набиты людьми, — говорится в сборнике статистических сведений конца XIX столетия. — Питье сопровождается криками, невообразимым шумом, песнями, руганью. Питье не прекращается ни на минуту ни днем ни ночью

на протяжении всего этого времени. Это случается каждый раз, как выдают зарплату, а концом служит момент, когда все деньги пропиты, и трактирщик больше в долг не дает».

В 1890 году состоялся съезд горнопромышленников, на котором глава горной администрации области Войска Донского В. Вагнер поставил задачу: в качестве альтернативы пьянству ввести в практику воскресные чтения для рабочих и сеансы «волшебного фонаря» (или таксифота — устройства для просмотра стереокартинок, модного в то время предшественника кино). На чтения шахтеры шли из-под палки, а вот кино они полюбили всей душой! Аверченко вспоминал, что над их мрачным поселком «загорелась новая заря», когда приехал устроитель кинематографа и стереоскопа некто Кибабчич: «… черный человек с цыганским лицом и белыми зубами сверкнул этими зубами, сверкнул белками глаз и потребовал, чтобы его проводили к главному инженеру». С Кибабчичем приехала сестра, которая играла на мандолине. В нее немедленно влюбилась вся рудничная «элита». Эти двое совершенно перевернули жизнь шахтеров, которые каждое воскресенье в сотый и тысячный раз смотрели «раздевающуюся парижанку, купание в Биаррице и мечеть в Каире», а также «Выделку горшков в Ост-Индии», и «Барыня сердится» (очень комическая), и «Путешествие по Замбези» (видовая). Кибабчич стал светлым лучом в поселке, несмотря на то, что конторщики совершенно разорились на стереоскопах и билетах. Когда волшебники уехали, «стало мертво, темно и пусто…» («Молния»).

На рудник иногда приезжали студенты-практиканты, в том числе из столичного Горного института. Один из них, Александр Оцуп, взявший литературный псевдоним Сергей Горный, впоследствии работавший в «Сатириконе», вспоминал:

«Есть такая маленькая станция на Екатерининской железной дороге далеко на юге России. В Донецком бассейне. Ее зовут — Алмазная. И есть там Брянский рудник. И на нем, где-то в „счетоводстве“, в скучном отделе, где были горизонтально и вертикально расставлены сухие каллиграфические цифры — сидел, согнувшись, целыми днями и заполнял клеточки близорукий сдержанный человек. Совсем еще молодой. Молчаливый. Иногда только подойдет и с еле видной усмешкой, — стрельнув чуть косящими глазами, — что-то скажет. Острое. Зигзагом. И оно запомнится. Сидел и „коптил“ что-то. Смотрел — „прикидывал“ жизнь, наблюдал, копил <…>

На той самой Алмазной, обмениваясь с неведомым „конторщиком“ служебными должностными поклонами, — я, практикант рудника, студент Института императрицы

Екатерины II, думал ли, что скоро, тоже через какой-нибудь год-полтора — приду к нему, „конторщику“ и протяну, волнуясь и томясь, рукопись своей первой книги[9]… А он чуть сощурится, разбегутся морщинки, сожмутся у глаз — блеснут щелочки под толстыми стеклами — и он пригреет и благословит, и породнится душой. И даже книгу твою издаст. И одну, и другую. Ибо сразу он стал избранным и мэтром» (Горный С. Памяти А. Т. Аверченко // Руль. 1930. 28 апреля).

Впрочем, и в этом периоде жизни были свои плюсы. Думается, что именно в такой обстановке могло сформироваться философски-спокойное отношение к жизни, которое впоследствии восхищало коллег Аверченко. Скучная и монотонная работа приучила его к усидчивости, что очень пригодилось в Петербурге. Финансовая деятельность привила бережное отношение к деньгам: Аверченко всегда вел в записных книжках учет своих расходов и доходов (включая «сальдо», «переносы», «итого получено» и «мною израсходовано»).

Отдушиной в рудничной жизни было общение с сестрой Машей. Остается удивляться, как могла существовать в такой обстановке эта тоненькая, белокурая девушка. Брак ее оказался проблемным: вскоре выяснилось, что муж не мог иметь детей, которых Мария Тимофеевна безумно хотела. И она решилась на отчаянный поступок: дважды ездила в Севастополь, знакомилась с привлекательными мужчинами… Так в семье появились сын Миша и дочь Лида.

Лидочка Терентьева известна всем поклонникам Аверченко, потому что ей посвящен трогательный рассказ «Вечером» (1909). Сюжет прост: маленькая девочка пристает с вопросами к своему дяде, который читает «Историю французской революции»:

«Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое „а зачем“ она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос „История революции“ бледнеет».

Этот рассказ, впервые опубликованный в «Сатириконе», впоследствии был включен писателем в сборник «О маленьких — для больших. Рассказы о детях» (1916). Подарив экземпляр этой книги своему приятелю Петру Пильскому, Аверченко сделал на нем надпись: «Если я так люблю чужих детей, то как бы я любил и ласкал своих». Книжке было предпослано такое авторское вступление:

«Вы,
которые
любите их смеющимися,
улыбающимися, серьезными и плачущими…
Вы, которым дороги
они — всякого цвета и роста —
от
еле передвигающихся
на неверных ногах крошек,
с ручонками, будто ниточками перехваченными,
и губками, мокрыми и пухлыми, —
до
ушастых веснушчатых юнцов
с ломающимися голосами,
большими красными руками
и стриженными ежом волосами,
с движениями смешными и угловатыми
—

для вас эта книга,
потому что
большая любовь к детям водила рукой автора…

Вы же,
которым
ненавистен детский плач,
которые мрачно и угрюмо прислушиваются
к детскому смеху,
находя его пронзительным и действующим
на нервы,
Вы, которые
в маленьком ребенке видите
бесформенный кусок мяса,
в чудесном лопоухом гимназистике — несносного шалуна,
а в прелестном пятнадцатилетием застенчивом увальне —

дурака —
Вы
не читайте этой книги…
Она —
не для Вас».

Аверченко действительно очень любил детей и мгновенно находил с ними общий язык. В предисловии к книге «Дети. Сборник рассказов с приложением „Руководство к рождению детей“» (1922) он расскажет о своем секрете: «…с детьми я прикидываюсь невероятно наивным, даже жалким человечишкой, который нуждается в покровительстве и защите. Может быть, в глубине души малыш даже будет немного презирать меня. Пусть. Зато он чувствует свое превосходство, берет меня под свою защиту, и душа его раскрывается передо мной, как чашечка цветка перед лучом солнца».

Писатель с чрезвычайной заботой относился к своим племянникам и племянницам, обожал детей своих друзей… Племяннице петербургского журналиста Аркадия Руманова[10] — Ариадне — он даже посвятил очень смешной рассказ «Разговор в школе» (1922). Аверченко принадлежат замечательные высказывания: «…из всех человеков милей всего моему сердцу дети»; «Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей. Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду. Потому взрослый человек почти сплошь

мерзавец»; «Всё должно быть логично: Вересаев был врачом — он написал „Записки врача“; Куприн был военным — он написал „Поединок“. Я был ребенком — пишу о детях».

Сохранились фотографии Марии Тимофеевны Терентьевой с Лидочкой и Мишей, сделанные севастопольским мастером Михаилом Мазуром. Следовательно, семья приезжала домой (скорее всего, в отпуск). Не вызывает сомнений то, что Аркадий ездил с ними, и то, что именно с этой, старшей, сестрой у него были самые близкие отношения: они многое вместе пережили. Однако в 1900 году им пришлось расстаться — правление Брянского рудника перевели в Харьков. Аркадию улыбнулась удача: его перевели тоже.

## 4

После грязи и безотрадных картин человеческого существования он попал в довольно большой город[11], который к тому же переживал период расцвета. К началу 1900-х годов Харьков стал неофициальной научно-индустриальной столицей юго-восточной Украины. Александр Куприн писал: «Харьков — город чрезвычайно значительный. Он — как бы пуп и центр русской металлургии и каменноугольного дела, но по своим размерам, по великолепию и огромности домов, по аристократическому шику жизни и по блеску парижских костюмов, по обилию безумных развлечений он стоял куда ниже не только столиц, но и таких губернских городов, как Киев и Одесса-мама. Жить в нем тесновато и скучновато, несмотря на университет и театр».

Сам Аверченко впоследствии характеризовал Харьков достаточно негативно. «Терпеть не могу этого городишки: уныл, грязен и неблагоустроен. Но народ там живет хороший», — писал он в скетче «Горе профессионала» (1912). В фельетоне «Одесса» (1911) читаем:

«Однажды я спросил петербуржца:

— Как вам нравится Петербург?

Он сморщил лицо в тысячу складок и обидчиво отвечал:

— Я не знаю, почему вы меня спрашиваете об этом? Кому же и когда может нравиться гнилое, беспросветное болото, битком набитое болезнями и полутора миллионами чахлых идиотов? Накрахмаленная серая дрянь!

Потом я спрашивал у харьковца:

— Хороший ваш город?

— Какой город?

— Да Харьков!

— Да разве же это город?

— А что же это?

— Это? Эх… не хочется только сказать, что это такое, — дамы близко сидят.

Я так и не узнал, что хотел харьковец сказать о своем родном городе. Очевидно, он хотел повторить мысль петербуржца, сделав соответствующее изменение в эпитетах и количестве „чахлых идиотов“».

Думается, что харьковчанам не стоит сильно обижаться на писателя, ибо и красавцу Петербургу досталось…

Обстоятельства харьковского периода жизни Аверченко настолько туманны, что о них приходится судить поистине дедуктивно: кое-какие упоминания в его прозе, кое-чьи воспоминания. Местные краеведы и филологи, к огромному сожалению, ничего нового и интересного о нем сообщить не смогли. Поэтому приходится ограничиться тем немногим, что удалось собрать.

В архиве писателя сохранился фотоснимок «под Чехова», сделанный в Харькове 21 мая 1901 года. Аркадию 21 год. Он носит длинные волосы и баки, усы, пенсне на шнурке, галстук-бабочку. На обороте фотографии надпись: «Дорогой кузиночке от кузена Аркадия Аверченко»[12]. Она явно предназначалась для отсылки в Херсон, где жила семья родного брата отца писателя. Почему-то Аркадий ее не послал. Интересно, что это вообще единственный документ допетербургского периода, представленный в его архиве. Возможно, Аверченко очень любил эту фотографию или считал ее «знаковой». Такая же карточка с посвящением «Сестре от безпутнаго брата Аркадія» хранилась у Марии Тимофеевны Терентьевой.

Фотография, адресованная кузине, — это самый ранний портрет писателя, который нам известен. Он был сделан в ателье харьковского мастера Алексея Михайловича Иваницкого (улица Екатеринославская, 22). Фотограф любил снимать людей творческих профессий, известны его портреты Федора Ивановича Шаляпина. Часто отдыхая в Крыму, в 1901 году Иваницкий в Ялте познакомился с Антоном Павловичем Чеховым и сделал несколько его портретов, которые хранятся в ялтинском и таганрогском музеях писателя. Теперь послужной список Иваницкого следует дополнить фамилией Аркадия Аверченко. Легко можно представить, как фотограф, узнав о том, что пришедший к нему молодой человек увлекается литературой, говорит ему: «Я снимал самого Чехова! Я-то уж знаю, как снимать!»

Как видно, наш герой имел достаточные средства, чтобы

сниматься у «самого Иваницкого», ведь этот мастер прославился в 1888 году серией сенсационных снимков с места крушения царского поезда у станции Борки, за которую был награжден Александром III перстнем с бриллиантами и участком земли.

О том, как выглядел в харьковские годы Аверченко, дает представление не только фотография, сделанная Иваницким, но и воспоминания харьковского приятеля Аркадия Тимофеевича — Леонида Леонидова (Бермана)[13]: «Аркаша Аверченко был высокий, худой, как жердь, молодой человек. Помню его в черном зимнем пальто, с барашковым воротником и каракулевой шапке. Служил он тогда счетоводом в конторе некоего Рабиновича, помещавшейся на Рымарской улице, напротив театра Коммерческого клуба. Вывеска на доме гласила: „Соля-но-промышленное предприятие Рабиновича“» (цит. по: Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. М., 1999. С. 25).

Как видим, в пору знакомства с Леонидовым Аверченко уже покинул горнодобывающую отрасль и отдавал свой талант соледобывающей: «Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику. Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах» («Автобиография»).

Итак, юный Аркадий томился и портил кровь начальству в одной из контор на улице Рымарской. Легко можно себе представить, с каким нетерпением дожидался он окончания рабочего дня, чтобы отправиться с друзьями в кафешантан Коммерческого клуба (улица Рымарская, 19) или Купеческого собрания (улица Сумская, 25). По словам писателя, в те годы кафешантан представлялся ему чуть ли не вершиной театрального искусства и восхищал его до глубины души.

На кафешантан денег хватало не всегда, поэтому Аркадий, по словам Леонидова, охотно принимал приглашения в гости. На молодежных вечеринках, где собирались студенты Харьковского университета, гимназисты, сыновья состоятельных родителей, он затмевал всех остроумием. По моде того времени Аверченко оставлял барышням в альбомах свои смешные экспромты. Вероятно, это были первые образцы его юмористического творчества. Вполне возможно, что кто-то из приятелей

посоветовал Аркадию записывать свои остроты. А, может быть, именно в студенческом окружении и родилась мысль попробовать что-то опубликовать.

По общепринятой версии, рассказ «Как мне пришлось застраховать свою жизнь» Аркадий отнес в крупнейшую харьковскую газету «Южный край» (1880–1918). Идти было недалеко: редакция располагалась совсем рядом с улицей Рымарской — на площади Николаевской (ныне Конституции). 31 октября 1903 года рассказ был напечатан. Аркадий ликовал: «Во-первых, я написал рассказ… Во-вторых, я отнес его в „Южный край“. И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!» («Автобиография»).

Существуют, правда, и другие версии относительно начала литературной карьеры Аверченко. В. Сурмило, например, обнаружил его рассказ «Уменье жить» в журнале «Одуванчик» за 1902 год. Сам Аркадий Тимофеевич к этим своим ранним опытам относился так: «…пытался издавать в Харькове сатирические журналы („Сатир“, „Оса“, „Одуванчик“), но это такие жалкие попытки, о которых лучше не говорить. По цензурным условиям тогда разрешалось выпускать только два номера одного названия. Я и писал, и рисовал, и редактировал, и корректировал — теперь и вспомнить смешно».

Цензурные запреты, о которых вспоминает Аркадий Тимофеевич, выводили его из себя. В автобиографической повести «Подходцев и двое других» (1917), в которой немало отсылок к событиям харьковской юности писателя, рассказывается о том, как главные герои решили издавать собственный сатирический журнал. Они придумали ему название — «Апельсин» и быстро сложили рекламную песенку:

Мать и брат, отец и сын,
Все читают «Апельсин».
Нищий, дворник, кардинал —
Все читают наш журнал.
Кто же не читает,
Тот —
Идиот,
В «Апельсинах» ничего не понимает!

После выхода первого же номера к ним явился околоточный и объявил: «Вот вам бумага из управления. По распоряжению г. управляющего губернией издание сатирического журнала „Апельсин“ за вредное антиправительственное направление — прекращается». Трое друзей свалились на пол «в глубоком

обморочном состоянии». Переворачиваясь на живот, Подходцев сказал своему приятелю — Клинкову: «Почему ты, Клинков <…> не предупредил меня, что мы живем в России».

Замученный цензурой молодой журналист Аверченко с восторгом встретил события 1905 года: «Как будто кроваво-красная ракета взвилась в 1905 году… Взвилась, лопнула и рассыпалась сотнями кроваво-красных сатирических журналов, таких неожиданных, пугавших своей необычностью и смелостью. Все ходили, задрав восхищенно головы и подмигивая друг другу на эту яркую ракету. — Вот она где, свобода-то!» («Мы за пять лет»). Позднее, мысленно прокручивая все эпохальные катаклизмы начала столетия, Аркадий Тимофеевич назовет императорский Манифест 17 октября 1905 года «самым счастливым моментом всей нашей жизни» и посетует на то, что Николай не выполнил своих обещаний, а ведь многих бед можно было бы избежать («Фокус великого кино»).

С 1905 года Аверченко начинает печататься в газетах «Харьковские губернские ведомости», «Утро», в листке «Харьковский будильник», где ведет раздел «Харьков с разных сторон». Здесь молодой сатирик высмеивал деятельность городской администрации и помещал каламбуры на тему революционного быта. Продолжал он печататься и в газете «Южный край». Среди ее сотрудников был известный в Харькове офтальмолог Леонард Леопольдович Гиршман, о мастерстве которого ходили легенды. Пациенты приезжали к нему со всех концов России:

Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Кавказа. А харьковчанам, сетовавшим на отсутствие в городе достопримечательностей, приезжие обычно говорили: «Но ведь у вас есть Гиршман!» Чехов писал о нём: «… харьковский окулист Гиршман… известный филантроп, святой человек».

Именно к Гиршману бросился Аверченко в 1906 году, когда с ним произошла настоящая трагедия. Он получил серьезную травму левого глаза. Леонард Гиршман осматривал писателя и посоветовал глаз удалить, чтобы травма не сказалась отрицательно на другом глазе. Известно, что Аркадия осматривал также профессор Овсей Пинхусович Браунштейн (ученик Гиршмана), клиника которого находилась на уже знакомой нам Рымарской улице, 28. Он подтвердил опасения Гиршмана, однако Аркадий на операцию не согласился. С этих пор его левый глаз видеть перестал и хранил неподвижность.

Знакомые и коллеги писателя впоследствии по-разному объясняли причину трагического происшествия. Художник-сатириконец Ре-Ми сообщал, что травма была получена в

Харькове во время холостяцкой пирушки — в глаз попал осколок разбитого стекла. По свидетельству Леонида Леонидова, Аверченко «всегда на вопрос: что с твоим глазом, Аркадий? неохотно отвечал, повторяя только восклицание Расплюева из „Свадьбы Кречинского“: — Была игра!». Писатель Николай Брешко-Брешковский вообще был уверен, что у Аверченко левый глаз искусственный, а свой он потерял на родном юге, заступившись за женщину. Близко знавшая писателя Евгения Львовна Гальперина выдвигала собственную версию: «…ослеп он следующим образом: он находился в отдельном кабинете какого-то ресторана и, услышав шум в коридоре, подошел к двери кабинета, чтобы узнать, в чем дело. В этот момент в результате какого-то пьяного дебоша, происходившего в коридоре, кто-то ударил в стеклянную дверь кабинета и осколки разбитого стекла попали Аверченко в глаз». Сатириконец Ефим Зозуля писал, будто один глаз у Аверченко был вставной (что неверно), и добавлял, что травму писатель получил в молодости в Харькове — «психически заболевший человек ударил палкою в стеклянную дверь, за которой стоял Аверченко. Осколком стекла был выбит глаз». Игорь Константинович Гаврилов, вспомнив рассказы матери, сообщил, что Аркадий Тимофеевич как журналист наблюдал какую-то драку, во время которой разбили витрину и поранили ему глаз (сравните со сведениями Зозули).

Вполне вероятно и другое объяснение: его могли ударить в лицо, и осколки разбитого пенсне поранили глаз. Впрочем, наверняка мы уже ничего не узнаем.

Отношение к этой беде самого Аркадия чрезвычайно важно для понимания его характера. Что ни говори, а для 26-летнего привлекательного молодого человека подобная травма — катастрофа. Он фактически стал инвалидом: правый глаз — с сильнейшей близорукостью, левый не видит вообще! И это произошло с человеком, который решил связать свою жизнь с литературой! Однако Аверченко не только не падал духом, но и начал еще более напряженно работать.

Много сил и времени он отдавал «журналу сатирической литературы и юмора с рисунками в красках» «Штык» (сентябрь 1906 — февраль 1907, № 1–9). Издавал этот журнал член кадетской Партии народной свободы Е. Ф. Тихонович; с пятого номера его редактировал Аверченко.

Несмотря на травму глаза, Аркадий становится еще и художником редакции: его рисунки и шаржи появляются и на обложке, и в виде иллюстраций к рассказам. Более того, по сообщению исследователя Екатерины Воскресенской, Аверченко поступил в Харьковскую школу живописи (Літературна

Харківщина: Довідник / За загальної редакцією М. Ф. Гетьманця. Харьків, 2007. С. 15–16). В шестом номере «Штыка» он уже осмелился поместить собственный шарж, да еще на кого — на Максима Горького! (Благо тот в это время был за границей.) Рисунок изображал Горького, сидящего за письменным столом с гусиным пером в руке. Перед ним рукопись, на которой он вывел заглавие «Город желтого дьявола»[14]. Подпись под рисунком гласила: «Тысяча желтых дьяволов!! Публика, кажется, опять стала забывать обо мне».

Вполне вероятно, что этот шарж был «маленькой местью»: приблизительно в это время Аверченко, поверив в себя и, видимо, осознав собственный талант, решил показать свои рассказы Максиму Горькому. Дело было в Ялте. Алексей Максимович, прочитав несколько рукописей начинающего автора, ответил ему примерно так: «Господин Аверченко, бросьте писать, так как из вас никогда не выйдет писатель. Займитесь чем-нибудь другим». Аркадий был потрясен этим ответом и запомнил его на всю жизнь. Похоже, он Горькому этого так никогда и не простил (хотя вообще-то не был злопамятным).

Как известно, настоящая фамилия Горького — Пешков. Его однофамилец — харьковский генерал-губернатор Николай Николаевич Пешков — тоже доставил Аркадию массу неприятностей. Это был человек крутого нрава, назначенный после волнений 1905 года для усмирения беспорядков. Среди «заслуг» Пешкова можно назвать отказ вышеупомянутому профессору Л. Гиршману в строительстве глазной клиники, мотивированный исключительно «пятой графой» последнего. В 1908 году Пешков запретил Городской думе праздновать 80-летие отлученного от Церкви Льва Толстого. У Пешкова с Аверченко произошел конфликт, о котором писатель рассказывал так:

«Я стал редактировать журнал „Штык“, имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора. Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз.

Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам, кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала „Меч“, который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке» («Автобиография»).

Журнал «Штык» был закрыт, а сменивший его «Меч» просуществовал совсем недолго — вышло всего три номера. Аркадий оказался без средств к существованию, потому что к этому времени со службы его выгнали со словами: «Вы хороший человек, но ни к черту не годитесь!» Тогда он начал посылать свои рассказы в редакции столичных газет, к примеру в «Свободные мысли». В этой газете сотрудничала Тэффи, которая впоследствии вспоминала:

«…один предприимчивый журналист — Василевский Не-Буква <…> задумал выпускать по понедельникам литературную газету („Свободные мысли“. — В. М.). Газета имела успех. Я тоже принимала в ней участие, помещая мои первые рассказы. Тогда впервые появились остроумные фельетоны, подписанные именем Аверченко.

Мы спрашивали у Не-Буквы, кто это такой.

— А это один остряк из провинции. Он даже собирается сюда приехать» (Тэффи. Мои современники. М., 1999).

Ехать в столицу Аркадию было не на что, но в один прекрасный день с ним произошла совершенно невероятная история. На пороге его комнаты появился неизвестный господин, представился Черновицким и предложил поехать вместе в Петербург. «Зачем, — спросил Аркадий, — чтобы и там голодать?» — «Там, по крайней мере, интереснее голодать!» — ответил удивительный визитер и пообещал комнату в столице на один месяц и содержание. Черновицкий уверял Аверченко, что тот быстро пробьется в Петербурге!

Таковы были обстоятельства отъезда из Харькова в изложении самого писателя. Есть основания предполагать, что многие в Харькове были расстроены разлукой с ним, в особенности женщины.

Приятная внешность, доброта, остроумие Аркадия Тимофеевича всегда привлекали к нему представительниц

противоположного пола. К тому же в Харькове он печатался в крупных газетах, журналах, следовательно, был по-своему знаменит. Кому-то из местных барышень он, похоже, вскружил голову всерьез, так как именно с этим периодом связана одна из неразрешимых загадок его биографии — история с сыном.

Впервые о сыне Аркадия Аверченко из Харькова станет известно в октябре 1927 года, два года спустя после смерти писателя. Его душеприказчик, занимавшийся урегулированием наследственных формальностей (писатель умер в Праге), получил письмо от заместителя министра иностранных дел Чехословакии, в котором сообщалось, что в посольство Чехословакии в Москве обратился сын Аверченко Аркадий Аркадьевич, проживающий по адресу: Харьков, Монастырская улица, дом 10, квартира 11. Душеприказчик немедленно написал сестре Аверченко в Париж, а также родственникам писателя в Севастополь. Он сообщал, что к нему «поступило заявление Аркадия Аркадьевича Аверченко, который предъявляет свои права в качестве сына покойного и обязывается документально подтвердить, что он сын Аркадия Тимофеевича Аверченко», и спрашивал, знают ли родственники об этом человеке.

Родственники писателя ничего о «сыне» не знали. В Праге он так и не появился. Однако появился в Севастополе. Игорь Константинович Гаврилов рассказывает, что его бабушка Сусанна Павловна (мать Аркадия Аверченко) разрешила таинственному родственнику приехать к ним в гости. И он приехал.

Приятный молодой человек, работал в Ленинграде корреспондентом. Отнюдь не скрывал своей фамилии и даже «пользовался» ею. Сусанна Павловна и сестра писателя Надежда сначала отнеслись к нему с недоверием. Но после того, как он представил какие-то обоснованные доводы, они ему поверили и признали его.

Что же это были за доводы? Копия метрической записи? Какие-то фотографии? Может быть, личные вещи молодого Аверченко? На эти вопросы Игорь Константинович ответить не смог.

— Не помню, — сказал он с сожалением. — Знаю одно: это не был самозванец. Я уверен. У нас в семье потом всегда говорили, что у Аркадия был сын. Этот человек прожил недолго. Года через два после его приезда мы каким-то образом узнали, что он умер от инфекционной болезни… Про его мать мне ничего не известно.

Все наши попытки узнать что-либо об Аркадии Аркадьевиче Аверченко с Монастырской улицы ни к чему не привели. В Харьковском областном архиве помочь отказались, сославшись на

«давность лет».

Казалось бы, история самая обыкновенная. Если бы не одно «но», о котором мы уже осведомлены: Аверченко безумно любил детей. Неужели он знал об этом ребенке и отказался от него, а потом всю жизнь лукавил, скорбя об отсутствии детей? Это на него мало похоже. Впрочем, эту загадку, возможно, удастся когда-нибудь раскрыть, как и многие другие «туманности» следующего периода жизни писателя — петербургского.

# Глава вторая. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРИУМФ

## Рождение Ave. «Сатирикон»

*Это я удачно зашел…*

*М. Булгаков. Иван Васильевич*

Аркадий Аверченко появился в Петербурге под новый, 1908 год с одиннадцатью рублями в кармане и надеждой на удачу. В одной из автобиографий он даже называл дату приезда — 24 декабря. Впрочем, в другой он упоминал 1 января. В любом случае, точкой отсчета его «петербургского триумфа» смело можно считать начало 1908 года.

Вспомним, чем жила тогда столица. Об этом времени хорошо сказал Александр Куприн:

«Тогда все явления жизни как-то вдруг кошмарно переплелись, сдвинулись и взгромоздились: крах японской кампании, лиги любви, экспроприации, повальная мания самоубийств, революция, погромы, Гапон, карательные экспедиции, Дума и ее разгон, Союз русского народа, бомбометатели.

Такой дьявольской мешанины — смешной и страшной, — я думаю, не видала мировая история. Восстановить ее в точном эпическом изображении немыслимо. Просто — была бурда» («Встреча»).

Действительно, это была эпоха глубокой общественной депрессии после поражения в Русско-японской войне и подавления революции 1905 года. Пессимизм, разочарование, политический нигилизм стали господствующими настроениями. Неверие в будущее породило падение нравов. Газеты пестрели объявлениями вроде таких: «Натурщица, чудное тело, предлагает свои услуги»; «Молодая, интересная блондинка просит богатого господина одолжить ей сто рублей на выкуп манто. Согласна на все условия»; «Молодой студент просит состоятельную даму одолжить ему сто рублей. Возраст безразличен»…

Во всех областях искусства расцвел натурализм. Наблюдался повышенный интерес к порнографии и смакованию сексуальной патологии. Кумир светской молодежи — князь Феликс Юсупов-младший — открыто проповедовал гомосексуализм. Петербург и Москва жадно обсуждали книгу австрийского философа Отто Вейнингера «Пол и характер. Принципиальное исследование»

(1903), в которой вводились концепты бисексуальности, еврейства, мужского и женского начал.

Публику можно было увлечь только чем-то ужасным, отталкивающим, брутальным. Толпами ходили на чемпионаты по французской борьбе. В газетах в первую очередь читали хронику происшествий: чем кровавее драмы, тем популярнее газета. Театральные постановки тяготели к мазохистскому созерцанию смерти во всех ее формах. Популярны были представления в жанре «Grand Guignol»[15] (сюжеты наподобие такого: врач-психиатр насилует загипнотизированную им пациентку, а та потом выплескивает ему в лицо соляную кислоту).

В моде были Оскар Уайльд и западные декаденты Габриеле Д'Аннунцио, Пшибышевский. В среде студенчества царил абсолютный культ Фридриха Ницше.

В Россию проникло европейское увлечение театром-кабаре и закрытыми артистическими клубами. Зимой 1907/08 года Борис Пронин, будущий «хунд-директор»[16] «Бродячей собаки», открыл в Москве первое ночное пристанище для молодых актеров Художественного театра, впоследствии реорганизованное в знаменитое кабаре «Летучая мышь».

В искусстве этого времени процветало меценатство: Рябушинский, Мамонтов, Дягилев.

В Мариинском театре пел Шаляпин — звезда эпохи! В декабре ушедшего 1907 года отметил десятилетие сценической деятельности «Орфей русской сцены» Леонид Собинов. «Шаляпинистки» и «собинистки» дрались друг с другом…

Отечественный балет был накануне своего европейского признания. Именно в 1908–1909 годах начнутся знаменитые «русские сезоны в Париже». Полмира узнает имена Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского.

Расцветало отечественное кино. Много говорили о «короле сенсаций» фотографе и кинорепортере Абраме Дранкове.

Газеты этих лет превратились в капиталистические предприятия, а многие редакционные коллективы — в акционерные компании. «Новое время», «Русское слово», «Речь», «Биржевые ведомости» — крупнейшие газеты эпохи. У всех на устах были имена журналистов Власа Дорошевича, Василия Регинина, Ипполита (Буквы) и Ильи (Не-Буквы) Василевских.

Восходила звезда молодого критика Корнея Чуковского.

В литературном творчестве наблюдалось противоборство художественных методов. Событиями ушедшего 1907 года стали такие совершенно разные произведения, как «Мать» Максима Горького, «Гамбринус» Александра Куприна, «Мелкий бес» Федора Сологуба.

В 1908 году Горький — уже на Капри, Блок написал «Балаганчик», а Куприн — «Поединок». Обо всех троих говорят. Но на вершине литературного Олимпа — Леонид Андреев. Он пробует себя в драматургии, и Всеволод Мейерхольд уже успешно поставил в театре В. Ф. Комиссаржевской его пьесу «Жизнь Человека».

Что же касается сатирико-юмористической литературы, то она переживала кризис. Журналы, рожденные революцией 1905 года, уже были придушены. Жесточайшая цензура пощадила лишь «беззубых ветеранов» — «Будильник», «Осколки», «Шута», «Стрекозу»… Они влачили жалкое существование, кормясь анекдотами о теще и подвыпившем купце. Фельетон оставался господствующим сатирическим жанром, в котором работали Тэффи, О. Л. Д'Ор (Оршер), Осип Дымов. Титул «короля фельетона» принадлежал Власу Дорошевичу.

Такой была в общих чертах культурная атмосфера, в которую попал молодой провинциал Аверченко. О первом времени в столице он вспоминал: «Несколько дней подряд бродил я по Петербургу, присматриваясь к вывескам редакций, — дальше этого мои дерзания не шли. От чего зависит иногда судьба человеческая — редакции „Шута“ и „Осколков“ помешались на далеких незнакомых улицах, где-то в глубине большого незнакомого города, а „Стрекоза“ и „Серый Волк“ в центре <…> Пойду сначала в „Стрекозу“ — решил я. По алфавиту. Вот что делает с человеком обыкновенный скромный алфавит — я остался в „Стрекозе“» («Мы за пять лет»).

Сатириконец Василий Князев, впрочем, отрицал роль «принципа алфавита» в судьбе Аверченко и объяснял его приход в «Стрекозу» исключительно ленью: «…лентяй (все русские люди лентяи) <…> далее уже никуда не пошел. Да и вопрос еще — пустили бы его куда?»

Редакция журнала располагалась в то время недалеко от Дворцовой площади, на Невском проспекте, 7/9. Трудно сказать, знал ли Аркадий историю «Стрекозы» и подозревал ли о том, что именно здесь в 1880 году был впервые напечатан рассказ А. П. Чехова.

«Стрекоза» была основана в 1875 году богатым промышленником Германом Корнфельдом. В 1904 году он скончался, передав журнал, солидный банковский счет и свои связи в литературных кругах города сыну Михаилу. Тот перевел редакцию с Фонтанки, 80, на Невский и резво взялся за дело: занялся реформированием работы журнала и формированием нового состава сотрудников. Это были вынужденные меры: «Стрекоза» катастрофически теряла популярность и подписчиков.

Ее читали преимущественно в пивных и парикмахерских. «Внешне обстоятельства благоприятствовали моим планам, — вспоминал Корнфельд-младший, — и это было очень важно, так как мне предстояла нелегкая и морально деликатная задача: безболезненная и полная метаморфоза журнального организма» (Корнфельд М. Г. Воспоминания // Вопросы литературы. 1990. № 7). Корнфельд мечтал создать российский аналог мюнхенского журнала «Simplicissimus», который он называл «окруженным ореолом недосягаемости образцом».

«Simplicissimus», основанный в 1896 году, был известен в Германии не только остросатирической направленностью, но и новаторской концепцией оформления: красочный, броский, с качественной сатирической графикой. Название журнала восходило к старинному немецкому плутовскому роману о мальчике по прозвищу Симплициссимус («простодушнейший»). Подобно этому герою, немецкие журналисты смотрели на мир глазами непонимающего и удивленного наблюдателя, который простодушен настолько, что говорит только правду. Эмблемой издания был красный бульдог — детище талантливого художника Томаса Хайна: собака разорвала цепь, а что делать дальше, не знает. Вид у нее агрессивный и одновременно растерянный…

Подыскивая новых сотрудников, Корнфельд познакомился с художниками Алексеем Радаковым и Николаем Ремизовым (по прозвищу Ре-Ми). Оба работали в совершенно новой шаржевой манере: умели, не слишком безобразя человека, не подчеркивая физическое уродство, фактурой рисунка вызвать у зрителя ощущение того, что перед ними действительно сатирический персонаж.

Художнику-графику Алексею Александровичу Радакову на момент знакомства с Корнфельдом шел тридцатый год. Издатель оценил его хорошее художественное образование: Московское училище живописи, ваяния и зодчества (которое окончил в 1900-м), Центральное училище технического рисования барона А. Штиглица в Петербурге (1905). Особенно Корнфельда привлекло то, что Радаков недавно вернулся из Европы, где продолжал свое обучение в парижской мастерской художника Теофиля Стейнлена. Широкой публике начала XX столетия Стейнлен был известен как представитель монмартрской богемы, автор афиши кабаре «Le Chat Noir» («Черная кошка»), мастер рекламного и политического плаката, приятель Эмиля Золя и Анри Тулуз-Лотрека. Радаков часто рассказывал друзьям, что из Франции вывез жену-француженку Берту Юстовну и шляпу. Последняя была знаменита: помятая, вся испачканная краской… Корнфельд настолько расположился к Радакову, что предложил

ему должность редактора «Стрекозы».

По сравнению с репутацией Радакова достижения Ре-Ми пока еще были скромными: ему исполнился 21 год и он только что поступил в Императорскую Академию художеств в мастерскую профессора Д. Н. Кардовского (ее выпускниками, кроме Ре-Ми, будут известные впоследствии художники Александр Яковлев и Николай Радлов). Корнфельд и Радаков заинтересовались Ре-Ми, увидев в популярном журнале «Театр и искусство» несколько его шаржей. Радаков оценил талант начинающего художника и писал о нем так: «Это типичный художник-сатирик <…> Его мироощущение, в противоположность юмористическому, было чисто сатирическое. Он не щадил своих героев. Он был прокурор… Положительные типы, так же, как и положительная героика, ему не удавались…»[17]

Таким образом, была найдена новая идейная основа «Стрекозы»: журнал художественной сатиры. Дело оставалось за авторами. Буквально накануне приезда Аверченко Корнфельд ходил с визитом к Тэффи, которая приняла его равнодушно и к предложению работы отнеслась без всякого энтузиазма… Тут-то на пороге редакции и появился бывший харьковский конторщик Аверченко.

Впоследствии он часто вспоминал о своем первом посещении «Стрекозы». Потоптавшись немного у входа, Аркадий открыл дверь парадного подъезда, переступил порог и слегка опешил: в редакцию нужно было идти через небольшой ресторанчик. Из глубины зала за вошедшим лениво наблюдал один из посетителей: грузного вида молодой человек с копной вьющихся волос и «пушкинскими» баками. Это был Алексей Радаков, коротавший время за бокалом вина в ожидании редакционного совещания.

Лавируя между столиками, Аверченко прошел в кабинет издателя. Михаил Корнфельд принял его приветливо. Впоследствии он напишет об этой встрече с Аверченко: «Мое первое впечатление: большой, толстый, близорукий, веселый и беззаботный провинциал, еще не „приспособившийся“ к петербургской жизни».

— А знаете, Аркадий Тимофеевич, вы пришли вовремя, — произнес Корнфельд, предлагая садиться. — У нас сейчас будет заседание. Хотим обсудить новые пути работы. Можете принять в нем участие, вдруг у вас окажутся свежие и интересные идеи? Вы принесли что-нибудь? Скетч? Вот и хорошо — почитаете нам…

Так Аверченко остался в редакции.

Сотрудники журнала, в отличие от Корнфельда, встретили «остряка из провинции» неприветливо. Они иронически

рассматривали его узкие брюки со штрипками и крылатку. Все вызывало улыбку: пенсне со слишком широкой шелковой лентой, крахмальный жилет. Алексей Радаков был настолько возмущен вторжением Аверченко, что вся его огромная фигура выражала негодование. Держа на коленях совершенно истрепанную шляпу, он то завязывал, то развязывал бант на шее. Аркадий заметил, что руки у него перепачканы краской, и с улыбкой подумал: «Пользуется пальцами вместо кисти».

— Вы не имели права приглашать на заседание всяких провинциальных проходимцев! — кричал Радаков издателю. — Южные поезда привозят каждый день сотни пудов провинциального мяса — что же, всех их и тащить сюда, да? (Интересно, что впоследствии Радаков будет утверждать, будто Аверченко ему понравился с первого раза.)

С Радаковым был совершенно согласен Ре-Ми. Правда, он выражал неудовольствие более сдержанно:

— Да уж… Нехорошо, нехорошо. Этак и я кого-нибудь с улицы приглашу на заседание — приятно вам будет?

Аверченко посмотрел на обоих, обезоруживающе нагло улыбнулся и… все-таки не ушел. Он постарался вникнуть в суть редакционных проблем и попросил Радакова прочесть принесенный им рассказ. Тот неохотно взял рукопись и обещал дома просмотреть.

Через неделю Аркадий пришел снова. Не просто пришел, а постарался добиться того, чтобы к нему прислушались. И ему это удалось.

Во-первых, Радаков рассказ прочел и нашел его хорошим.

Во-вторых, Аверченко не был дилетантом, а, напротив, досконально знал все виды работ в юмористическом журнале.

В-третьих, и это главное, он был замечательным «темачом», то есть без труда придумывал темы для рисунков. Радаков и Ре-Ми при всех их талантах этим достоинством не обладали. К их чести нужно сказать, что они сумели признать превосходство Аверченко в этом отношении и стали относиться к нему теплее. Это, второе для Аркадия, заседание закончилось в ресторане, из которого расходились с чувством, что обновленный журнал скоро родится. Популярный в те годы литератор Н. Н. Брешко-Брешковский писал: «Корнфельд-сын, культурный и тонкий, даже утонченный юноша, как говорится, на лету подхватил Аверченко, ознакомился с его рукописями, с ним самим, и, увидев перед собой талантливого парня с подкупающей упрямой хитрецой, практическим умом и сметкой, предложил: „Давайте работать вместе!“» (Брешко-Брешковский Н.Н. А.Т.Аверченко. К десятилетию со дня смерти русского юмориста//

Иллюстрированная Россия. 1935. № 13).

Аркадий получил в «Стрекозе» место конторщика с жалованьем 30 рублей в месяц. В его обязанности входило написание адресов на бандеролях для подписчиков. Однако это был чрезвычайно краткий период его профессиональной деятельности. Вскоре Радаков дал молодому сотруднику задание написать рецензию на пьесу, шедшую на открытой сцене в одном из театров на Васильевском острове. Аверченко добросовестно исполнил поручение — принес блестяще остроумную рецензию, за которую получил 2 рубля 40 копеек. Анекдот заключался в том, что, как выяснилось впоследствии, рецензируемый спектакль не состоялся из-за плохой погоды…

Радаков оценил находчивость Аркадия Тимофеевича и предложил ему место секретаря редакции. В этом новом качестве тот сразу же отправился «вербовать» лучшие литературные силы Петербурга. Некоторые из тех, кого он посетил, оставили интересные воспоминания.

Тэффи приняла Аверченко за Корнфельда.

— Очень приятно, мы уж с вами говорили насчет вашего журнала, — сказала она.

— Когда? — удивился Аркадий Тимофеевич.

— Да недели две тому назад. Ведь вы же у меня были.

— Нет, это был Корнфельд.

— Неужели? А я думала, что это тот же самый.

— Вы, значит, находите, что мы очень похожи?

— В том-то и дело, что нет, но раз мне сказали, что вы тоже Стрекоза, то я и решила, что я просто не разглядела. Значит, вы не Корнфельд?

— Нет, я Аверченко.

Затем посетитель долго рассказывал о замечательных перспективах, которые вскоре откроются перед «Стрекозой». Он совершенно обаял Тэффи и, наконец, уговорил! Более того, покорил на долгие годы!

Сатирик О. Л. Д'Ор описывал первую встречу с Аверченко с большим юмором:

«Ко мне пришел молодой человек лет двадцати восьми-тридцати. Был он высокий, толстый, рыхлый, бритый по-актерски, в пенсне. На нем был чистенький новенький сюртук. Под сюртуком виднелся модный „штучный“ жилет.

— Позвольте представиться! — сказал молодой человек шутливо. — Аркадий Аверченко.

Он улыбался добродушно, лукаво, ехидно, иронически, почтительно и фамильярно. Все это как-то совмещалось воедино. В его улыбке можно было прочесть:

— Я — парень хороший и товарищ отменный, но пальца в рот, пожалуйста, очень прошу вас, не кладите. Против воли откушу. У меня широкая рука: когда что есть — поделюсь. Но своего не спущу. В ресторан же всегда готов.

Далее пришедший сообщил:

— Был я редактором журнальчика „Штык“, в Харькове это было. Так вот, понимаете, не читали его. Я приехал сюда, в Питер. Нашел тоже один журнал, которого тоже не читают, и решил заняться им. „Стрекоза“ этот журнал. У нас подобралась кучечка изумительных художников. Теперь очередь за писателями. Вы, Дымов, Тэффи, Саша Чёрный… Дайте материал хороший. Это главное. Не в вывеске дело, а в товаре, вот увидите» (Старый журналист [О..Л. Д'Ор]. Литературный путь дореволюционного журналиста. М., 1930).

И «товар» действительно пошел качественный. Один из рассказов нового сотрудника «Стрекозы» Аркадия Аверченко как-то попался в руки Александру Куприну, когда тот лениво читал журнал, сидя в пивной на углу Чернышева переулка и Фонтанки. Отодвинув на время бокал и тарелку с вареными раками, Куприн, по его словам, «взволновался, умилился, рассмеялся и обрадовался». Для себя решил, что появился «новый Чехов».

Однако Аркадий Тимофеевич ошибался, когда говорил, что «не в вывеске дело». Именно она все портила: несмотря на качественно новое содержание, читатели не хотели покупать старую форму под названием «Стрекоза». Аверченко вспоминал: «Даже в момент моего первого появления в „Стрекозе“, когда она уже была серьезно реформирована, когда ее печатали в несколько красок, когда уже большинство будущих сатириконцев работало в ней — она все же не вызывала ничьего внимания, ни один новый читатель не заинтересовался ею» («Автобиография»).

Корнфельд, пытаясь «реанимировать» журнал, сменил редактора, предложив это место Аверченко. Произошло нечто совершенно невероятное: с двадцать третьего номера недавний харьковский провинциал сменил достаточно известного в Петербурге художника! Современники объясняли это тем, что деловые качества Радакова, при всем его таланте и остроумии, все же оставляли желать лучшего. Богема есть богема! Однако и новое назначение Аркадия не могло спасти «Стрекозу». «Мы уже не имеем ничего общего с прежней „Стрекозой“, по крайней мере, в отношении рисунков… Слово „Стрекоза“ все портит», — часто повторял Аверченко. И вот на одном из очередных совещаний сотрудникам пришла в голову мысль основать совершенно новый журнал. Свежий, острый, политический и сатирический, для передовых читателей!

Дело оставалось за названием. Его предложил Радаков: «Назовем „Сатирикон“! В честь книги Петрония!» После долгих прений идею и новое название утвердили.

Так было принято историческое решение: в Петербурге появился журнал, который в ближайшее десятилетие будет неизменно занимать верхние позиции в шкале читательских симпатий. Он объединит лучшие сатирико-юмористические и литературные силы страны: Александра Куприна, Владимира Маяковского, Александра Грина, Осипа Мандельштама, Николая Гумилёва, Тэффи, Сашу Чёрного. В 1913 году «Сатирикон» даст название торговому дому, а в 1915-м — большому издательству. Его логотипу и стилю будет подражать дореволюционная провинциальная пресса. В 1920-е годы его рубрики позаимствуют советские издания, а бывшие сатириконцы встанут у истоков «новой» революционной сатиры. В 1931 году его попытаются возродить в Париже писатели-эмигранты. У художников-сатириконцев будут учиться классики советской карикатуры, например Борис Ефимов. «Я любил рассматривать иллюстрации в „Сатириконе“ <…> — писал он. — Особенно привлекали карикатуры, даже пытался копировать их. Мне и в голову не приходило, что искусство карикатуры станет моим призванием и основным занятием <…> Я… увлекался „Сатириконом“, мечтал увидеть в нем собственный рисунок». Сам же Аверченко с гордостью скажет о своем журнале: «Мы подняли упавший, скитавшийся до того по задворкам портерных русский юмор на недосягаемую высоту». Но все это впереди, а пока…

Пока 1 апреля 1908 года, в День смеха, вышел в свет первый номер «Сатирикона». Его сотрудники во многом стали преемниками коллег из «Simplicissimus». Они провозгласили следующую идейно-художественную программу: моральное исправление общества путем сатиры на нравы плюс попытка посмотреть на пошлый и жуткий мир глазами спокойного ироничного наблюдателя. (Многие сатириконцы и в первую очередь сам Аверченко заимствовали маску простодушного рассказчика.) «Сатирикон», по замыслу редакции, должен был соединять олимпийскую мудрость, жизнестойкость, ясность и здравый смысл с критическим изображением современных событий. В первом же номере был опубликован манифест редакции: «Мы будем хлестко и безжалостно бичевать все беззакония, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и общественной жизни… Смех, ужасный ядовитый смех, подобный жалам скорпионов, будет нашим оружием».

Фирменное шрифтовое написание заголовка журнала было придумано художником Мстиславом Добужинским. Со временем

у «Сатирикона» появилась и собственная фирменная марка: толстячок-сатир в виньетке (Виктор Шкловский однажды обозвал его «фавном, объевшимся булками», а Саша Чёрный — «толстым дьяволом-балдой»). Этот «тотем» был обязан своим рождением слепому случаю. Ре-Ми однажды в шутку придумал и нарисовал забавного инфернального человечка — Сатира — в витой рамочке. Картинка настолько всем понравилась, что ее единодушно решили использовать в качестве издательской марки, олицетворяющей «Сатирикон»[18].

В издании широко пропагандировался иностранный юмор, перепечатывались карикатуры из «Simplicissimus», «Fliegende Blatter», «Meggendorfers Blatter», «Kladderadatsch», «Jugend».

Два месяца параллельно выходили совершенно идентичные журналы: «Сатирикон» («Стрекоза») и собственно «Сатирикон». Так аудиторию постепенно приучали к новому названию. Наконец «Стрекоза» вовсе прекратила свое существование. По словам Аверченко, подписчики «Стрекозы» опомниться не успели, как превратились в подписчиков «Сатирикона», который быстро набирал популярность. Аркадий Тимофеевич стал его бессменным редактором.

«Сатирикон» выходил еженедельно сначала на двенадцати, а затем на шестнадцати страницах. Одним из тысяч его подписчиков был юный Евгений Шварц (будущий писатель и драматург), который впоследствии вспоминал: «…началось у меня увлечение „Сатириконом“… Я с нетерпением ждал того дня недели, в который он обычно приходил… Сначала я рассматривал только рисунки — Реми, Радакова <…> А затем принимался за чтение. Рассказы Аверченко, Ландау, позже — Аркадия Бухова. Отдел вырезок под названием „Перья из хвоста“… И так далее, вплоть до почтового ящика» (Шварц Е. Живу беспокойно… Л., 1990).

Действительно, в журнале постепенно сформировался постоянный набор рубрик: «Перья из хвоста» (здесь публиковались короткие цитаты из газет и журналов, к которым составитель отдела давал остроумные комментарии, высмеивая неуклюжесть языка или нелепость сообщения), «Волчьи ягоды» (сатирико-юмористические отзывы на общественные события), «Почтовый ящик» (ответы редактора на присылаемые в «Сатирикон» рукописи) и сложились свои традиции (например, тематические номера). Последние страницы отводились под рекламные объявления (с неизменными пилюлями от ожирения, «благовонным туалетным мылом высшего достоинства», мазью «Мазолин» и т. д.).

Большинство материала для «Сатирикона» писал сам

Аверченко, пользуясь псевдонимами «Ave», «Фальстаф», «Фома Опискин», «Медуза-Горгона» (подробный перечень псевдонимов сатирика, приводимый в словаре И. Ф. Масанова, насчитывает в обшей сложности 48 разных вариаций). Многим читателям особенно запомнилось «скромное» Ave (по первым буквам фамилии), что в переводе с латыни означает «славься, да здравствует».

Корнфельд умело организовал реализацию «Сатирикона». Приведем свидетельство писателя Михаила Слонимского, бывшего в те годы питерским сорванцом: «В годы реакции, после поражения революции пятого года <…> расцветала беллетристика, напичканная всякими модными проблемами, из коих едва ли не главной почитался „половой вопрос“, иногда же просто безличная, но с этакой многозначительной задумчивостью. Литературные дельцы, уловившие, так сказать, „дух времени“, изготовляли общедоступное варево из всех „проклятых“ вопросов сразу и продавали по сходной цене на всех литературных перекрестках. Едва оперившиеся юнцы искали „озарений“ и „бездн“ в публичных домах и „кружках самоубийц“. Не так-то легко было в те далекие времена <…> мальчишке найти в этой неразберихе хорошую книгу. А дурная книга зазывала в рекламах, в диспутах, в разговорах. Спасибо, что „Сатирикон“ сам шел в руки на каждом углу, — он был, во всяком случае, остроумен. Аверченко, Тэффи, Саша Чёрный с азартом читались всеми возрастами» (Слонимский Мих. Завтра. Проза. Воспоминания. Л., 1992).

В унисон со Слонимским, одобрявшим здоровый, оптимистический дух творчества Аверченко, мыслил Сергей Горный: «Я помню его появление в Питере. Такое нежданное и победное <…> Он был здоров. В нем не было „измов“, городских изломов, „тонкостей“, „меткостей“, „едкостей“ <…> Картина была любопытна: в среду, заполненную спорами об извивах, всяких „фокусах-покусах“ по Пшибышевскому и Тэтмайеру, последних „изысках“ Вячеслава Иванова, — в среду, разъеденную спорами о „мистическом анархизме“ Чулкова, дуэлями задорно-упругого Петра Пильского с коллективом „Литературного распада“ — в такую среду вдруг сваливается откуда-то из харьковских „бахчей“, с какой-то станции Алмазной, из неторопливой, по-доброму хитрой — и по-хитрому — умной Хохляндии — какой-то молодой детина, с белыми, крепкими зубами, с голосом вкрадчивым и порой мягко (этот недостаток к нему „шел“) спотыкающимся, еле приметно заикающимся <…> Этот детина явно не знает, о чем говорил в прошлую среду Вячеслав Иванов, и даже не знает, что такое „оргиазм“. Не знает,

кроме того, наизусть финала „Де профундиа“ Пшибышевского <…> И самое замечательное — не очень огорчается своим незнанием <…> Здоров, весел, ярок. Полон солнца и звенящей бездонной капели <…> Настоящий, божьей милостью талант. Видящий как-то по-своему грани и глыбы жизни. И приемлющий мир, любящий его нежно и сыновне» (Горный Сергей. Памяти А. Т. Аверченко // Руль. 1936. 28 апреля).

Атмосфера веселого творчества и оптимизма, царившая в редакции «Сатирикона», вполне объяснима: и издатель, и редактор, и сотрудники были людьми молодыми. Корнфельду в момент основания журнала было 24 года, Аверченко — 28 лет, Аркадию Бухову — 19 лет, Петру Потёмкину — 22 года… Поэт Саша Чёрный — ровесник Аверченко — очень зримо и иронично воссоздал жизнь редакции в стихотворении «Сатирикон» (1925):

Над Фонтанкой сизо-серой
В старом добром Петербурге,
В низких комнатках уютных
Расцветал «Сатирикон»[19].
За окном пестрели барки
С белоствольными дровами,
А напротив Двор Апраксин
Впился охрой в небосклон.

В низких комнатках уютных
Было шумно и привольно…
Сумасбродные рисунки
Разлеглись по всем столам.
На окне сидел художник
И, закинув кверху гриву.
Дул калинкинское пиво
Со слюною пополам.

На диване два поэта,
Как беспечные кентавры,
Хохотали до упаду
Над какой-то ерундой…
Почтальон стоял у стойки
И посматривал тревожно
На огромные плакаты
С толстым дьяволом-балдой.

Тихий, вежливый издатель,
Деликатного сложенья,

Пробегал из кабинета,
Как взволнованная мышь…
Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами
За издателем помчался,
Чтоб сорвать с него бакшиш…

А в сторонке, в кабинете,
Грузный, медленный Аркадий,
Наклонясь над грудой писем,
Почту свежую вскрывал:
Сотни диких графоманов
Изо всех уездных щелей
Насылали горы хлама,
Что ни день — бумажный вал.

Ну и чушь… В зрачках хохлацких
Искры хитрые дрожали:
В первом ящике почтовом
Вздернет на кол — и прощай.
Четким почерком кудрявым
Плел он вязь, глаза прищурив,
И, свирепо чертыхаясь,
Пил и пил холодный чай.

Ровно в полдень встанет. Баста.
Сатирическая банда,
Гулко топая ногами,
Вдоль Фонтанки цугом шла
К Чернышеву переулку…
Там в гостинице «Московской»
Можно вдосталь съесть и выпить,
Поорать вокруг стола.

Хвост прохожих возле сквера
Оборачивался в страхе,
Дети, бросив свой песочек,
Мчались к нянькам поскорей:
Кто такие? Что за хохот?
Что за странные манеры?
Мексиканские ковбои?
Укротители зверей?

А под аркой министерства

Околоточный знакомый,
Добродушно ухмыляясь,
Рявкал басом, как медведь:
«Как, Аркадий Тимофеич,
Драгоценное здоровье?» —
«Ничего, живем — не тужим,
До ста лет решил скрипеть».

В «сатирической банде», о которой пишет Саша Чёрный, неизменно присутствовали самые близкие друзья Аверченко — ведущие художники «Сатирикона» Радаков и Ре-Ми, те самые, что поначалу приняли его в штыки.

Аверченко, Радакова и Ре-Ми смело можно сравнить с тремя мушкетерами Александра Дюма. Первый, разумеется, был в компании Д'Артаньяном (лидером), второй — Портосом, третий — Арамисом. Подобно этим героям, которые, если кого-то из них приглашали обедать, приходили все вместе, сатириконцы втроем являлись в ту редакцию, которая предлагала сотрудничество кому-то одному из них.

Алексей Радаков был похож на Портоса даже внешне: очень высокий рост, плотное телосложение. Как и Портос, любивший наряжаться и хвастаться золотой перевязью, Радаков стремился выглядеть эффектно: он носил широкие пальто и широкие шляпы, под которые как-то особенно укладывал волосы, чтобы они выглядывали из-под полей крупными кольцами. Снимая шляпу в помещении, Радаков так подправлял свою пышную шевелюру, что она начинала походить на лавровый венок. Чтобы еще более выделяться на фоне остальных сатириконцев, Алексей Александрович носил пышные «пушкинские» бакенбарды. Однако все его притязания на внешний лоск упирались в одно «но»: Радаков был «человеком-катастрофой». У него постоянно отрывались пуговицы, развязывались шнурки, вместо носового платка выпадала испачканная красками тряпка и т. д. Не удивительно, что и его архив в РГАЛИ такой же «катастрофический»: альбом с фотографиями разваливается на части, сами снимки явно хранились посреди холстов и красок (некоторые по краям покусаны кошкой…).

Добавим к портрету Радакова непостоянство, вспыльчивость, громогласность, восторженность и добродушие. Саша Чёрный писал об Алексее Александровиче с юмором:

Добродушен и коварен,
Невоздержан на язык —
Иногда рубаха-парень,

Иногда упрям, как бык.
В четырех рисунках сжатых
Снимет скальп со ста врагов,
Но подметки сапогов
Все же будут, как квадраты.
В хмеле смеха он частенько
Врет, над тремами скользя.
Не любить его нельзя,
Полюбить его трудненько!

Сам Аркадий Аверченко так описывал характер своего друга: «Он много ест, много спит, еще больше работает, а еще больше лентяйничает, хохочет без умолку, в глубине сердца чрезвычайно деликатен, но на ногу наступить себе не позволит. При необходимости, полезет в драку или в огонь, без необходимости — проваляется на диване неделю, читая какую-нибудь „Эволюцию эстетики“ или „Собрание светских анекдотов на предмет веселья“. Иногда не прочь, ради курьеза, соврать, но, уличенный, не спорит, а вместо этого бросается на уличителя и начинает его щекотать и тормошить, заискивающе хихикая. В жизни неприхотлив. Спокойно доливает поданную чашку кофе — пивом, размешивает его с сахаром, а если тут же стоит молоко, то и молоко переливается в чашку. Пепел, упавший случайно в эту бурду, размешивается ложечкой для того, „чтобы не было заметно“. Любит задавать официантам нелепые, бессмысленные вопросы. Раздеваясь у ресторанной вешалки, обязательно осведомится: приходил ли Жюль Верн?» («Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова»).

По воспоминаниям сатириконца Василия Князева, Радаков любил и выпить, но он был «над виноградным вином хозяин, а не виноградное вино над ним!».

Однажды упомянутый Князев (рядовой сотрудник журнала), обнаглев, назвал Алексея Александровича в глаза Лешей. Радаков, как и Портос, не терпел фамильярности.

— Господин Князев, — возмутился он, — для кого-нибудь другого я, может быть, и Леша, но для вас я, прежде всего, Алексей Александрович Радаков. Запомните!

Радаков был прекрасным рассказчиком. Некоторые его «словечки» («Жуть! Мрак! Подумаешь! Знаменито! Кр-р-расо-та!») стали бессмертными благодаря Ильфу и Петрову, которые вложили их в уста Эллочки-людоедки. Многим запомнился один его анекдот: как-то художника пригласили к богатому купцу для

заказа. У купца была картина, изображающая море, кисти чуть ли не самого Айвазовского. Хозяин за большие деньги просил дописать на картине воздушный шар, а в корзине нарисовать его — владельца. Когда Радаков выполнил просьбу, купец запил. Он сидел против картины, пил и плакал: «Ведь ежели я теперь с шара упаду — утону же!»

Николай Владимирович Ремизов (настоящая фамилия Ремизов-Васильев), которого мы сравнили с Арамисом, был намного моложе своих друзей, поэтому они называли его Коленькой. Однако, несмотря на это, он пользовался большим уважением своих старших товарищей, так как уже был женат, имел сына и привык нести ответственность за других. Вот как его охарактеризовал Аверченко: «Я не встречал человека рассудительнее, осмотрительнее и осведомленнее его. Этот юноша все видел, все знает — ни природа, ни техника не являются для него книгой тайн. Ему 25 лет, но по спокойному достоинству его манер и мудрости суждений — ему можно дать 50 <…> Все у него зашито, прилажено, манжеты аккуратно высовываются из рукавов, не прячась внутрь и не вылезая за четверть аршина, воротничок рассудительно подпирает щеки, и шея подвязана настоящим галстуком…» («Экспедиция в Западную Европу…»)[20].

Как и подобает Арамису, Ре-Ми был меланхоличен, замкнут, скрытен, смотрел на мир скептически, редко покидал свою квартиру и не любил шумных компаний. Аверченко шутил, что Ре-Ми отличался от них с Радаковым тем, что они любили жить, а он боялся умереть.

Иногда Ре-Ми обнаруживал полное отсутствие чувства юмора и тогда старшие товарищи беззлобно подшучивали над ним. Как-то на редакционном совещании Аверченко положил перед собой лист со списком тем для рисунков и задумчиво сказал Ремизову:

— Вот, Коленька, думаю, что для тебя будет тема. Понимаешь, сидит негр на корточках, испражняется, пыжится, кряхтит и говорит: «Ох, не перевариваю я этих миссионеров».

Ремизов тут же старательно изобразил на бумаге сидящего на корточках нефа, затем поднял карандаш, о чем-то задумался и, наконец, спросил:

— Аркадий, а удобно ли это для печати?

Дружный хохот потряс комнату.

Ре-Ми обладал феноменальной зрительной памятью. Глаза его за точность друзья называли «кодаками». Это внимание к деталям однажды сыграло с ним злую шутку. Работая над портретом Владимира Галактионовича Короленко, Ре-Ми узнал у Чуковского точное время возвращения писателя из Петербурга на

дачу в Финляндии и несколько раз пристраивался напротив него в вагоне, зарисовывая каждую черточку лица. Когда некоторое время спустя Корней Иванович стал знакомить сатириконцев с Короленко, последний сразу узнал Ре-Ми:

— Мы уже с вами встречались… в поезде Финляндской железной дороги.

— Да, Владимир Галактионович. Я работал над вашим портретом — хотелось покрепче запомнить каждую черточку на вашем лице.

— Вот потому-то, — сказал Короленко, — мне и запомнилась каждая черточка на вашем лице. Только (извините, пожалуйста), заметив, что вы всякий раз норовите устроиться поближе ко мне и потом всю дорогу не спускаете с меня своих въедливых глаз, я подумал (только не сердитесь, пожалуйста), что у вас другая профессия…

Короленко намекал на «филеров».

Описанная нами троица — Аверченко, Радаков, Ре-Ми — своими остротами, дурачествами и взаимными колкостями могла довести до исступления любого неподготовленного человека: «… для смеха этих вечно острящих весельчаков не было ничего святого <…> ради красного словца не жалели матери» (В. Князев). Однажды они ехали втроем в купе, и к ним подсел сумрачный старичок. Он начал сурово прислушиваться к разговору. Постепенно морщины на его лице стали разглаживаться, через пять минут он стал усмехаться, а через полтора часа хохотал как сумасшедший. Радуясь, что попал в такую хорошую компанию, в начале второго часа смех его заменился легкой, немного усталой усмешкой, а в середине второго часа усмешка сбежала с лица, и весь он осунулся, со страхом поглядывая на Аверченко и его товарищей, а к исходу второго часа побежал искать другое купе.

Аркадий Тимофеевич настолько любил своих друзей, что уже в 1910 году изобразил их под именами Клинкова (Радаков) и Громова (Ре-Ми) в рассказе «Молодость». Главного героя — Подходцева — он «срисовал» с себя. Эти персонажи стали сквозными в ряде рассказов писателя, появлявшихся в период с 1913 по 1916 год. В 1917 году Аверченко объединил их в книгу «Подходцев и двое других», рассказывающую о веселой богемной жизни трех друзей в Петербурге.

Вместе с Радаковым и Ре-Ми Аверченко участвовал в различных литературно-художественных проектах. В 1908 году ими был подготовлен прекрасно иллюстрированный юмористический путеводитель по столице «Современный Всепетербург». К 1910 году Корнфельд уже имел собственное

издательство, в котором регулярно стали выходить «коллективные» книги. Это, прежде всего, бешено популярная «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“ под его углом зрения» (1910), а также «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова» (1911), которую по сей день цитируют преподаватели вузовских курсов по страноведению. Моментально был раскуплен и альбом «Сокровища искусств в шаржах художников А. Радакова, Ре-Ми, А. Юнгера, А. Яковлева» (1912), «гвоздем» которого была беременная Джоконда с улыбкой олигофрена. И это весьма неполный перечень.

Провозгласив иронически-благодушное отношение к жизни единственно верным, сатириконцы не могли не высмеивать проявлений утверждавшейся культуры модерна: мистицизма и пессимизма символистов, экзотизма акмеистов, эпатажа и всеотрицания футуристов. Когда в 1909 году вышел первый номер художественно-литературного журнала «Аполлон» (стихи и проза символистов, акмеистов, критические статьи о современных литературе, музыке, живописи, театре), Аверченко тут же высмеял его в фельетоне «Аполлон». Выбрав из журнала три особенно замечательные статьи — «О современном лиризме» Иннокентия Анненского, «В ожидании гимна Аполлону» Александра Бенуа и «О театре» Всеволода Мейерхольда, — сатирик обрушился на них, иронизируя по поводу заумной и «метафизической» манеры выражаться. Особенно досталось Анненскому:

«Первая статья, которую я начал читать — Иннокентия Анненского, — называлась „О современном лиризме“.

Первая фраза была такая:

„Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро…“

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а, отчасти, было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку… Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался, и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины „лиризма“, тоже не развеселила меня.

„В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, это буржуазнейшего из Антисмертинов“… Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи „О современном лиризме“».

Однако критическое отношение редактора «Сатирикона» к содержанию «Аполлона» ничуть не вредило дружбе с его издателем Сергеем Константиновичем Маковским. Михаил

Корнфельд вспоминал:

«Мы были обязаны С. К. Маковскому и его журналу „Аполлон“ включением „Сатирикона“ в круг подлинных ревнителей литературы и графики. Однажды ко мне заехал Сергей Константинович, с которым меня связывала долголетняя дружба до самой его смерти. Мы заговорили о современной русской графике и о том, как мало ею интересуется русская публика.

— Отчего бы вам не устроить выставки оригинальных рисунков, — спросил меня С. К., — из числа появившихся в „Сатириконе“ за последние два-три года? Развешанные по стенам, они произведут куда большее впечатление, нежели на страницах журнала или книги.

Я сказал, что сатириконцы будут с радостью приветствовать эту идею, нам было бы гораздо понятнее, если бы инициатива такой выставки исходила бы от „Аполлона“ и его вдохновителя С. К. Маковского.

С. К. любезно согласился взять на себя устройство выставки и предоставить в наше распоряжение необходимое помещение в редакции „Аполлона“.

Выставка была организована без промедления и имела настолько большой успех, что мы решили после ее закрытия в Петербурге перевезти ее в Москву, куда я и отправился на этот предмет в сопровождении Ре-Ми. В Москве, где выставка открылась на Мясницкой, мы получили предложение от большой харьковской газеты устроить выставку „Сатирикона“ в Харькове, где, кстати, гастролировал в это время наш приятель Гибшман[21], который мечтал воспользоваться нашим присутствием в Харькове, чтобы организовать под флагом „Сатирикона“ большой юмористический спектакль с участием столичных гастролеров. Этот блестящий вечер состоялся и послужил финалом выставки „Сатирикона“» (Корнфельд М. Г. Воспоминания).

Идейный вдохновитель этих мероприятий С. К. Маковский вспоминал о выставке 1910 года: «…Одним из видных экспонатов на ней оказался злостный шарж Ремизова на меня самого — устроителя выставки. Шарж безжалостный, язвительней не придумать, да еще чуть ли не трех аршин в высоту!»

Аркадий Аверченко, иногда иронизируя над акмеистами, тем не менее активно сотрудничал с ними: печатал стихотворения Николая Гумилёва, Сергея Городецкого, Осипа Мандельштама. Анна Ахматова, по воспоминаниям музееведа Н. П. Пахомова, включала имя Аверченко в пятерку лучших писателей своего времени. Но были и стычки. Об одной из них вспоминал Чуковский: «Помню: стоит в редакции „Аполлона“ круглый

трехногий столик, за столиком сидит Гумилёв, перед ним груда каких-то пушистых, узорчатых шкурок, и он своим торжественным, немного напыщенным голосом повествует собравшимся… сколько пристрелил он в Абиссинии разных диковинных зверей и зверушек, чтобы добыть ту или иную из этих экзотических шкурок. Вдруг встает редактор „Сатирикона“ Аркадий Аверченко — неутомимый остряк, и, заявив, что он внимательно осмотрел эти шкурки, спрашивает у докладчика очень учтиво, почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо петербургского Городского ломбарда. В зале поднялось хихиканье — очень ехидное, ибо из вопроса сатириконского насмешника следовало, что все африканские похождения Гумилёва — миф, сочиненный им здесь, в Петербурге. Гумилёв ни слова не сказал остряку. На самом деле, печати на шкурках были поставлены отнюдь не ломбардом, а музеем Академии наук, которому пожертвовал их Гумилёв» (Чуковский К. И. Современники. Портреты и этюды. М., 1962). Что могло заставить Аверченко — необыкновенно деликатного человека — публично задеть Гумилёва? Вероятно, «торжественный, немного напыщенный» тон последнего. Что поделаешь, Аверченко был чувствителен к позе и фальши!

Именно поэтому он от души забавлялся над футуризмом, получившим наиболее яркое выражение в живописи и поэзии, и его представителями. «До сих пор, при встречах с модернистами, я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы», — читаем в «Истории одной картины» (1910).

Самый известный фельетон Аверченко о футуристах — «Крыса на подносе» (1912). Простодушного рассказчика приглашают на выставку «нового искусства». Сначала он видит в раме на стене изображение пятиногой голубой свиньи под названием «Свинья как таковая», затем «металлический черный поднос, посредине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически красовались две конфетные бумажки и четыре обгорелые спички, расположенные очень приятного вида зигзагом».

Рассказчик разговорился с автором «шедевра»:

«— <…> Крысу сами поймали?

— Сам.

— Чудесное животное. Жаль, что дохлое. Можно погладить?

— Пожалуйста. <…>

— А как жаль, что подобное произведение непрочно… Какой-нибудь там Веласкес или Рембрандт живет сотни лет, а этот

шедевр в два-три дня, гляди, и испортился.

— Да, — согласился художник, заботливо поглядывая на крысу. — Она уже, кажется, разлагается. А всего только два дня и провисела. Не купите ли? <…>

— Куплю. Сколько хотите?

— Да что же с вас взять? Четыреста… — Он вздрогнул, опасливо поглядел на меня и со вздохом докончил: — Четыреста… копеек».

Футуристы не преминули ответить на подобные «уколы». Имя Аверченко упоминается в их знаменитом манифесте «Пощечина общественному вкусу» (1912) — в ряду тех писателей, которым «нужна лишь дача на реке».

Впрочем, Аверченко симпатизировал эгофутуристу Игорю Северянину и часто цитировал его «Увертюру» (1915):

> Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
> Удивительно вкусно, искристо, остро!
> Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
> Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Это стихотворение импонировало Аркадию Тимофеевичу, очевидно, своим эпикурейским духом.

Говоря о литературной жизни серебряного века, вспомним и о том, что это было время расцвета бульварной журналистики. «Сатирикон» внес свой вклад в ее развенчание. Приведем фрагмент фельетона Аверченко «Желтая пресса» (1913):

«Сам он розовый, пиджак на нем серый, галстук красный, а пресса, в которой он работает, желтая. О себе он говорит всегда искренно и веско:

— Я выколачиваю денежки на бульваре, чтоб его черти побрали!

— На каком бульваре?

— Газетка наша бульварная. Не понимаю, как публика читает такую мерзость…

— А что?

— Да ведь ее, газетку эту, составляют каторжники. Вы не верите? Ей-богу! Любой сотрудник способен на шантаж, воровство, а если вы гарантируете ему безопасность, то и на убийство. Редактор мошенник.

— Ну да!

— Без сомнения.

— Зачем же вы там работаете?

— Работа легкая. Пиши о чем хочешь, измышляй что угодно и получай денежки. Ей-богу!

Я недоверчиво спросил:

— Неужели можно измыслить что угодно?

— Уверяю вас. Ну что вы, например, хотите, чтобы было о вас завтра в газете?

Я рассмеялся.

— Напишите, что я очень люблю устриц.

— Хорошо! Устрицы — так устрицы.

На другой день я прочел, к своему удивлению, в газете, в которой работал розовый молодой человек, следующее:

„АНКЕТА

Являются ли устрицы полезным блюдом?

Ввиду свирепствующей теперь эпидемии холеры мы занялись вопросом, не вредны ли в этом смысле устрицы. С этим вопросом мы и обратились к доктору Копытову.

— Видите ли, — сказал симпатичный медик, — в сущности, устрицы являются полезным, питательным блюдом, но, конечно, неумеренное их употребление может привести к нежелательным последствиям.

Спрошенная по этому поводу популярная певица И. О. Смяткина сказала следующее:

— Не знаю. Я не ем устриц. Несколько раз меня хотели приучить к ним, но, увы, безнадежно.

И. О. засмеялась.

После поездки в Мариенбад И. О. очень поправилась и выглядит прекрасно.

— Ну, как за границей? — спросили мы.

Она улыбнулась.

— Да ничего.

Третьим, к кому мы обратились с интересовавшим нас вопросом, был редактор сатирического журнала г. Аверченко.

— Устрицы! — воскликнул г. Аверченко. — Я очень люблю их. Едва ли они могут быть вредными. Конечно, я говорю о свежих устрицах.

— Ну, как цензура?.. Прижимает? — спросили мы редактора.

Он усмехнулся.

— Еще как!“

При встрече со мной розовый молодой человек засмеялся, пожал мне руку и спросил:

— Читали?

— Однако! Неужели вы беседовали по этому вопросу и с доктором Копытовым и с певицей Смяткиной?

— Ребенок! Доктор живет на Васильевском Острове, а дача Смяткиной в Новой Деревне. Одни извозчики стоили бы мне 2 р.

— А… как же вы?..

— Да ничего. Сам. Им же лучше. Все-таки реклама. И я своё заработал. Спасибо вам за устрицы. Хотите, еще что-нибудь сделаем?

— Нет, благодарю вас».

В герое этого фельетона угадывается известный тогда всей России журналист Василий Регинин. Они с Аверченко были близко знакомы: Регинин в 1910-е годы редактировал «желтые» издания — «Аргус» и «Синий журнал», которые выпускал Корнфельд.

Имя Регинина было нарицательным. Для подъема тиража этот журналист мог объявить конкурс гримас, а однажды заявил, что войдет в клетку с тиграми в цирке Чинизелли, выпьет чашечку кофе и выйдет невредимым. Фотоотчет будет опубликован только в «Синем журнале». И Регинин сделал это! (После революции он будет редактировать журнал «30 дней» и единственный решится напечатать, впервые, «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» Ильфа и Петрова.)

О беспринципности Василия Регинина ходили легенды. Вот одна из них: он якобы ежемесячно платил 30 рублей редакционному сторожу «Сатирикона» за то, чтобы тот не уничтожал содержимого корзины для непринятых рукописей, стоявшей под столом у Аверченко, а добросовестно приносил в «Синий журнал». Добрая часть этих рукописей удостаивалась тиснения на страницах «Синего журнала» под теми фамилиями, которые наиболее нравились редактору.

Много лет спустя Аверченко в романе «Шутка Мецената» (1923) поместит пародию на разговорную манеру Регинина: «Здравствуйте, красавец! Зарабатываете? Красота! А галстучек-то! Мода! Король Эдуард пуговицу на жилетке для моды расстегивал! Англичане! Гибралтарский вопрос! Думаю в Испанию поехать — кастаньеты, танцовщицы, в „Аквариуме“ давно были? Осетрина беарнез чудная! Рыбный вопрос! Думаю рыбной ловлей заняться! Море — Черное — Каспийское — Нефтяные вышки — Нобель — керосиновый король — красавец — зарабатывает!!».

По свидетельству Виктора Шкловского, однажды Регинин превратил журнал «Аргус» в переносной памятник Аверченко. На обложке были напечатаны широкое лицо Аркадия Тимофеевича и тулья соломенной шляпы. В номер вкладывался кусочек картона в форме полей канотье. Номер сгибался, поля надевались сверху, и цилиндрический бумажный памятник Аверченко стоял на каждом углу, у каждого газетчика. Это доказательство популярности не могло не радовать Аркадия Тимофеевича.

Все современники отмечают колоссальную скорость, с которой Аверченко завоевал литературный олимп. Приведем

несколько свидетельств.

Писатель Степан Петров-Скиталец: «Нравился только что появившийся тогда весельчак Аверченко и вся забубенная компания „Сатирикона“»; «Он быстро сделался всеобщим любимцем широкой публики» (Скиталец [Петров С. Г.]. Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960).

Александр Куприн: «Аверченко сразу нашел себя, свое русло, свой тон, свою марку. Читатели же — чуткая середина — необыкновенно быстро открыли его и сразу из уст в уста сделали ему большое и хорошее имя. Тут был и мой, не писательский, а читательский голос»; «Книги Аверченко шли потоками по всей России. Ими зачитывались и в Сибири, и в черте оседлости, и, во многих переводах, за границей» (Куприн А. Аверченко и «Сатирикон» // Сегодня. 1925. 29 марта).

Широкой популярности юмориста способствовали не столько публикации в прессе, сколько выход в 1910–1911 годах его сатирико-юмористических сборников: Рассказы (юмористические). Книга первая. СПб., 1910; Веселые устрицы. Юмористические рассказы. СПб., 1910; Зайчики на стене. Рассказы (юмористические). Книга вторая. СПб., 1910; Рассказы (юмористические). Книга третья. СПб., 1911.

За этими книгами последовали и другие, выходившие огромными тиражами и выдерживавшие по несколько переизданий (одни «Веселые устрицы» переиздавались до революции 24 (!) раза). Все они раскупались мгновенно и принесли Аверченко огромную и поистине всенародную славу. Однако в то время недостаточно было быть просто популярным. В моде были «королевские» титулы: «королева экрана» Вера Холодная, «король фельетона» Влас Дорошевич, «король поэтов» Игорь Северянин, «король сенсаций» Абрам Дранков…

Аркадий Тимофеевич Аверченко единодушно был признан «королем смеха».

## Свита короля

«Королю смеха» Аверченко повезло: ему удалось привлечь к работе в «Сатириконе» «королеву смеха» — Надежду Александровну Лохвицкую (литературный псевдоним — Тэффи). Что и говорить, женщина в юмористике — явление уникальное в мировой литературе (других примеров как-то не находится!). Тэффи вошла в историю русской художественной словесности вместе со своей сестрой — поэтессой Миррой Лохвицкой, носившей титул «русской Сафо» и пленившей Константина Бальмонта и Игоря Северянина. Тэффи тоже начинала как

поэтесса, но оказалось, что ее призвание — сатирико-юмористическая проза, которой она увлеклась под влиянием творчества А. П. Чехова. Первая ее книга — «Юмористические рассказы» (1910) принесла Тэффи широкую известность. В Петербурге ее стали называть «Чеховым в юбке», а ее многочисленных поклонниц — «рабынями». Случалось, какая-нибудь из них преданно располагалась у ног кумира. В Петербурге выпускались конфеты и духи, носившие название «Тэффи». По легенде, при подготовке юбилейного альбома, посвященного 300-летию царствования дома Романовых, Николай II выразил желание видеть в нем Тэффи и воскликнул: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!»

Интересно, что имя Надежды Александровны встречается в «донжуанском» списке Аверченко, о котором пойдет речь ниже. Был ли у них роман? Сложно сказать: когда двадцатисемилетний Аркадий приехал в Петербург, Тэффи было тридцать шесть лет, однако она была свободна (разошлась с мужем в 1900 году) и восхищала мужчин остроумием и красотой.

Несмотря на то, что у них были теплые и уважительные отношения, в городе почему-то ходили слухи, будто они не ладят. Тэффи вспоминала:

«Читатели, видя наши имена так часто вместе, глубокомысленно решили, что мы должны непременно ненавидеть друг друга и друг другу завидовать. Поэтому, посылая восторженное письмо мне по поводу какого-нибудь понравившегося рассказа, не забывали прибавить: „Далеко до вас Аверченке“. А поклонники Аверченко бранили меня. Помню, как-то дама, ехавшая со мной в одном купе и не знавшая, кто я, очень ярко рассказывала мне об этом нашем соревновании:

— Они слышать друг о друге не могут, так прямо с лица и почернеют!

Я слушала ее с большим интересом и угощала конфетами, принесенными мне на дорогу Аверченкой. Он был чудесный человек и прекрасный товарищ» (Тэффи. Мои современники).

Как-то они вместе были приглашены в гости на дачу, где устроили настоящее состязание в остроумии. Хозяева оставили их ночевать. Тэффи постелили на втором этаже, а Аверченко на первом, прямо под ее комнатой.

— Что же вы мне пожелаете на ночь, Аркадий Тимофеевич? — спросила Тэффи.

— Чтоб вы провалились, — был ответ.

Наутро выяснилось, что юмористку уложили на короткую постель, а в комнате у нее в белую ночь не было занавесок.

— Ну, как спалось? — спросил ее Аверченко.

— Коротко и ясно, — ответила Тэффи.

Если Аверченко был «королем» «Сатирикона», а Тэффи — «королевой», то титул «наследного принца», безусловно, мог бы принадлежать писателю-юмористу Аркадию Сергеевичу Бухову. Аверченко и Бухова в Петербурге так и называли: «Аркадий I» и «Аркадий II».

Аркадий Сергеевич уже был сотрудником «Стрекозы», когда там появился Аверченко. Несмотря на разницу в возрасте (Бухову было всего 19 лет), они подружились и более не расставались. Молодой коллега импонировал Аверченко, вероятно, тем, что уже имел за плечами некоторый жизненный опыт: с юридического факультета Казанского университета Бухов был отчислен по политической статье и выслан на золотые прииски Кочкарь на Урале. После окончания ссылки он продолжал учиться в Петербургском университете, но бросил его после четвертого курса и посвятил себя литературе.

В «Стрекозе», а затем и в «Сатириконе» Бухов работал во многих жанрах: сатирико-юмористического рассказа и стихотворения, пародии, фельетона, скетча. Некоторые его рассказы сюжетно перекликались с Аверченко, что позволило Ефиму Зозуле считать Бухова подражателем своего шефа:

«Писал он (Бухов. — В. М.) крупноватым и кругловатым почерком — без помарок — рассказы, всегда в одном стиле, в одной манере — исключительного, рабского, доходящего до простого копирования — подражания Аверченко. Это <…> черта, характеризующая с хорошей стороны последнего. Он не только не сердился на столь беззастенчивое подражание, но сердился, когда ему говорили об этом.

— Ну что вы, в самом деле, — добродушно огрызался он, — каждый пишет, как может! И почему вы это мне говорите? При чем тут я? Говорите ему» (Зозуля Е. Д. Сатириконцы // Русская литература. 2005. № 3).

Мнение Зозули нельзя назвать единичным. Журналист Александр Гидони высказывался в том же духе:

«Мало-помалу Аркадия Сергеевича стали выпускать дублером под Аркадия главного.

Правда, Аркадий первый был несомненно талантлив, а Аркадий второй только старателен, но, набив руку и наловчившись в умении нанизывать чепуху на чепуху, Аркадий Сергеевич вполне преуспевал <…>

Аверченко спасал талант <…> Образцу Аркадия Тимофеевича слепо следовал Аркадий Сергеевич, — во всем, кроме диапазона дарования» (Искандер-Бек [А. И. Гидони]. Всем сестрам по серьгам // День. 1922. 17 сентября).

Высказывание Зозули мы склонны объяснить обыкновенной профессиональной завистью, ведь Аверченко настолько доверял Бухову, что часто даже не читал его рукописи, и тем не менее немедленно отправлял в печать все, что тот приносил! Что касается второго суждения, то у Гидони были с Буховым личные счеты. Мы же, неплохо зная творчество Аркадия Бухова, никак не можем согласиться с тем, что он был эпигоном Аверченко. Желающим проверить наше утверждение советуем приобрести сборник его произведений, выпущенный московским издательством «Эксмо» в серии «Антология сатиры и юмора России XX века» (2005). У Бухова была своя творческая манера: преобладание облегченного синтаксиса («телеграфный стиль»), необыкновенно афористичный язык (произведения Аверченко как раз этим не отличались). В качестве иллюстрации хотелось бы привести выдержки из юмористического очерка «Мученики» (1916), посвященного проблеме полноты, которая была актуальна и для самого Бухова, и для его друга Аверченко:

«Ни с одним из физических недостатков люди так неохотно не мирятся, как с толщиной <…>

Человек с оторванным ухом просто забывает о нем и очень сухо принимает все сожаления окружающих:

— На мой век и одного хватит. У рыбы совсем нет, а пойдите, приступитесь к ней. Осетрина — три рубля фунт, а в фунте и смотреть нечего. Кожа да жир…

Толстяки, наоборот, вечные мученики <…>

Толстый человек не имеет права страдать <…>

Если он задумчиво облокотится на кресло, оно медленно поедет на своих колесиках по полу. Если он встанет у стены, фигура его крупным и сочным пятном на светлом фоне обоев подчеркнет свою расплывчатость.

Он неминуемо должен опуститься на стул. Сразу, как опытный пловец, выныривает из-под воротничка лишний подбородок. Шея утолщается, и весь он приобретает вид случайного мешка с картофелем.

Сочувствия он не вызывает ни в ком. <…>

А если толстый человек окончательно захандрит <…> никто не подойдет к нему с таким же чувством, как к худому.

Только <…> развязный гость похлопает по плечу и <…> оповестит окружающих:

— Переел наш Арсений Никитич…<…>

Толстому человеку вообще очень тяжело».

В сатириконском коллективе Бухов занимал значительное место: с середины мая 1917 года и вплоть до закрытия журнала он был соредактором «Нового Сатирикона». Максим Горький

читал Бухова, когда у него болели зубы, и только так спасался! Имя этого писателя-юмориста хорошо знал Петербург.

В 1923 году, уже находясь в эмиграции, Бухов писал Аверченко:

«Года 3½ —4 тому назад в Гродно стою я во время спектакля в нашем театре — был свободен после второго акта — и наблюдаю за порядком (мы это делали по очереди). Подходят ко мне два лощеных офицера — бывшие наши гусары или уланы. Один из них спрашивает:

— Скажите, вы Аркадий Бухов?

— Я.

— Вы действительно настоящий, из Петербурга?

— Да.

Подумал, посмотрел на меня исподлобья, повернулся и другому говорит вполголоса:

— Врет, сволочь. Станет Бухов в Гродно трепаться»[22].

Когда в 1971 году в Советском Союзе после долгого перерыва был переиздан буховский сборник «Жуки на булавках» (М.: Художественная литература), читатели немедленно и дружно украли его из большинства библиотек страны.

Были у Аверченко, как и подобает «королю», и свои придворные «пииты». Пальма первенства среди них принадлежала Саше Чёрному (Александру Михайловичу Гликбергу). Он был уроженцем Одессы, которая уже в то время славилась своими юмористами. Но популярность и несколько скандальная слава пришли к Чёрному в Петербурге: первая его публикация — политическая сатира «Чепуха» (Зритель. 1905. 27 ноября) — привела к закрытию журнала!

Псевдоним «Чёрный» полностью соответствовал мрачному и замкнутому характеру этого человека. О его «непробиваемости» ходили легенды; шутили: «Чёрный оживился настолько, что даже поднял глаза». Поэт писал о себе:

В литературном прейскуранте
Я занесен на скорбный лист:
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

Приведем одно из самых известных дореволюционных стихотворений Чёрного — «Жалобы обывателя» (1906), — высмеивающее политизированность российского общества:

Моя жена — наседка,
Мой сын, увы, эсер,

Моя сестра — кадетка,
Мой дворник — старовер.

Кухарка — монархистка,
Аристократ — свояк,
Мамаша — анархистка,
А я — я просто так…

Дочурка — гимназистка
(Всего ей десять лет!)
И та социалистка, —
Таков уж нынче свет!

От самого рассвета
Сойдутся и визжат, —
Но мне комедья эта,
Поверьте, сущий ад.

Сестра кричит: «Поправим!»
Сынок кричит: «Снесем!»,
Свояк вопит: «Натравим!»,
А дворник: «Донесем!»
……
Молю тебя, Создатель
(Совсем я не шучу),
*Я русский обыватель —*
*Я просто жить хочу!* (Курсив Чёрного. — В. М.)

Три года (1908–1911) Чёрный сотрудничал с Аверченко, однако в «Сатириконе» не задержался. Причины ухода туманны. Корней Чуковский уверял, что поэт чувствовал себя там чужим: «Целый год, а, пожалуй, и дольше, тянулись его распри с редакцией, и, в конце концов, он покинул ее».

«Королева» Тэффи, «наследный принц» Бухов и «придворный поэт» Саша Чёрный были фигурами самостоятельными и никогда не входили в свиту «короля смеха» Аверченко. Но такая свита была. О ней писал Корней Чуковский, часто встречавший сатириконцев: «Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных. Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодовитый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала. Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими

пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потёмкина, и над всеми возвышался Ре-Ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист — с милым, нелепым, курносым лицом» (Чуковский К. И. Современники. Портреты и этюды).

С Радаковым и Ре-Ми (верными Портосом и Арамисом) читатель уже знаком. Кто же такой Потёмкин?

Пётр Петрович Потёмкин стал одним из сотрудников «Сатирикона» в 22 года. Михаил Корнфельд вспоминал о нем как о застенчивом юноше в сюртуке студента Петербургского университета, робко просившем напечатать его стихи. В 1908 году вышел первый поэтический сборник Потёмкина «Смешная любовь», в котором воспевалась ночная жизнь главной артерии Петербурга — Невского проспекта. На экземпляре, подаренном Аверченко, поэт сделал дарственную надпись: «Богообразному Аверченко с дружбой. Потёмкин». Судя по этому ироническому посвящению, бывший скромный студент уже считал себя другом редактора «Сатирикона». Большую славу Потёмкину принес второй поэтический сборник «Герань» (1912), получивший название по одному из стихотворений:

В утреннем рождающемся блеске
Солнечная трепыхалась рань…
На кисейном фоне занавески
Расцветала алая герань.
Сердце жило, кто его осудит:
Заплатило злу и благу дань…
Сердцу мило то, чего не будет,
То, что было — русская герань.

После выхода этой книги Потёмкина прозвали «Кустодиевым русской поэзии» за умение красочно и выпукло изображать городской быт. Приобретя широкую популярность, Потёмкин стал вести богемный образ жизни и сильно изменился внутренне и внешне. Анна Ахматова, часто встречавшаяся с ним в артистическом кафе «Бродячая собака», вспоминала, что он был громадного роста, силач, борец, пьяница, и страшно дебоширил, когда напивался. Поэтому за ним всегда присматривали приятели и не давали ему слишком увлекаться коньяком. Петр Потёмкин был влюблен в Ахматову, но говорил своим друзьям и даже одной из ее подруг, что она никогда об этом не узнает. Много лет спустя на вопрос о том, был ли Петр Потёмкин одним из влюбленных в нее поклонников, Анна Андреевна отвечала, что ничего об этом не знает, но потом добавляла, что, действительно, Потёмкин,

бывало, подсаживался к ней за столик в «Бродячей собаке» и говорил какие-то многозначительные и непонятные вещи.

Что сближало Аверченко и Потёмкина? Оба много сил отдавали театрам миниатюр. Еще в 1908 году Всеволод Мейерхольд обратил внимание на одноактную пьесу Потёмкина «Петрушка», а несколько позднее он поставил в Александринке драму Харти «Шут Тантрис» в переводе Потёмкина. Была у Аверченко и Потёмкина еще одна большая общая страсть: шахматы.

В состав свиты «короля смеха» входил и молодой поэт Николай Яковлевич Агнивцев, который прославился как автор сборника «Студенческие песни. Сатира и юмор» (СПб., 1913). Университетский быт обрисован в этой книге реалистично и с иронией:

На катар давно патент
Взял студент со злобы!
Ну-ка, где такой студент,
Без катара чтобы?

Каша гречневая — 3,
Полбитка — 13,
Хлеб же даром! Знай бери!
Итого — 16.

Если ж вздумаешь когда
Тихо лопнуть с жиру,
То возьми еще тогда
На пятак — гарниру!

Ну, а если твой бюджет
С горя деликатно
Объявил нейтралитет,
Помни: хлеб — бесплатно!

Для студента-голяка
Много ли потребно?
Каша с хлебом, полбитка,
И — великолепно!

(«В университетской столовке»)

Помимо сотрудничества в «Сатириконе» и других изданиях Агнивцев писал тексты эстрадных песен, звучавших в литературных и артистических кафе, театрах-кабаре. Среди его

заказчиков был Александр Вертинский («Баллада о короле»):

Затянут шелком тронный зал,
На всю страну сегодня
Король дает бессчетный бал
По милости Господней.

В 1920-е годы несколько стихотворений Агнивцева положил на музыку Исаак Дунаевский; особенно популярна была песня «Дымок от папиросы»:

Дымок от папиросы
Взвивается и тает,
Дымок голубоватый,
Призрачный, как радость
В тени мечтаний.

В январе 1917 года Агнивцев вместе с режиссером Константином Марджановым и актером Федором Курихиным создали собственный театр-кабаре «Би-ба-бо», который после революционного 1917 года переименуют в «Кривого Джимми» и с которым будут гастролировать по белому югу…

Редактор «Сатирикона» Аркадий Аверченко особенно благоволил поэту Василию Князеву, о котором следует говорить особо. Этот человек стоил Аркадию Тимофеевичу больших нервов, так как ни минуты не мог прожить без криков и скандала. Неуемность характера понуждала его бегать даже на кулачные бои — у него были выбиты все передние зубы. Князев уверял коллег, что не может писать стихи, если не побуйствует и не подерется. Он же позволял себе оскорблять Аверченко прямо в глаза, называл его буржуем и постоянно требовал денег. Сотрудники журнала недоумевали, почему редактор это терпит. Между тем Аверченко ценил талант Князева и как-то написал ему: «…сам я не большой поклонник стихов, и если люблю поэзию, то такую, как у Вас — здоровую, „от земли“, чуждую всякой изломанности и манерности»[23].

Приведем здесь стихотворение Князева «С натуры» (1909) на извечную российскую тему о «народных защитниках». (Прочитав эти строки, написанные ровно сто лет назад, мы невольно вспомнили аналогичные диалоги депутатов Пронина и Мамонова из современного российского скетч-шоу «Наша Russia».)

После сытного обеда

В кабинете у Володи
Долго шла у нас беседа
О страдающем народе.

«Да, — вздохнув, промолвил Фатов,
Развалившись на диване, —
Гибнут в царстве плутократов,
Гибнут русские крестьяне». —

«Что поделать? — отозвался
Князь Павлуша Длинноногий. —
Я работал, я пытался…
Но налоги…» — «Ах, налоги!» —

«Да, налоги, и при этом —
Темнота, разврат и пьянство!
Проследите — по газетам:
Вырождается крестьянство!..»

После сытного обеда
(Ну и повар у Володи!)
Долго шла у нас беседа
О страдающем народе…

В 1920-е годы, став одним из революционных поэтов, Василий Князев продолжал обливать грязью Аверченко, чем возмутил Аркадия Бухова. Тот писал:

«…один человек вместо благодарности плюнул в лицо ему (Аверченко. — В. М.). Это нынешняя знаменитость советская — Василий Князев. Вытащенный Аверченко, что называется, за уши, обласканный им морально, вечно поддерживаемый материально, Князев в момент нашего общего ухода из старого „Сатирикона“ в собственный „Новый Сатирикон“ побежал с жалобой на Аверченко в участок. В поданном доносе Князев обвинял Аркадия Тимофеевича „в краже конторских книг“. Позже, когда настал большевизм и Князев был почетным членом редакции „Красной газеты“, он писал в ней:

— Помните, что Аверченко еще скрывается в Петрограде.

Но даже и тут Аверченко остался Аверченкой. Когда один из нынешних сменовеховцев, а тогда свободный литератор, с возмущением показывал ему эту заметку, Аркадий Тимофеевич улыбнулся и заметил:

— Что же: иметь такого врага, как Князев — это даже льстит

самолюбию порядочного человека» (Бухов Арк. Что вспоминается // Эхо. 1925. 1 марта).

Иногда печатался в «Сатириконе» и Александр Иванович Куприн, с которым у Аверченко сложились дружеские отношения. Куприн посвятил Аркадию Тимофеевичу замечательный рассказ «Белая акация» (1911). Он написан в форме письма неудачно женившегося человека своему холостому другу. Автор письма непостижимым для себя образом влюбился в Одессе в женщину, которая год спустя вызывает в нем ужас. Виной всему несчастный считает одуряющий запах белой акации, от которого нигде нет спасения и «весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки». Приезжему человеку, особенно северянину, весенние цветы белой акации сулят преждевременную гибель. «Завидую вашей холостой свободе, и да хранит вас аллах от чар белой акации» — так заканчивается письмо.

Аверченко был частым гостем в гатчинском доме Куприна. Поскольку оба они увлекались авиацией, то совершали прогулки налетное поле военно-авиационной школы. Гатчинским соседом Куприна был известный в те годы карикатурист Павел Егорович Щербов, которого Чуковский как-то назвал «бородатым чудаком, смесью художника, дикаря и ребенка». Этот фантазер построил себе дачу в стиле северного модерна (в виде некого гриба), и она также нередко принимала под своей крышей Аркадия Тимофеевича.

Как и у Аверченко, у Куприна была своя свита: мелкие литераторы Петр Маныч, Александр Котылев, критик Петр Пильский, клоун цирка Чинизелли Жакомино. Обе свиты перезнакомились и подружились. В севастопольском фельетоне «Моя старая шкатулка» (1920) Аверченко рассказывает о том, как разбирал случайно уцелевшие петербургские бумаги и едва не плакал над этой, навсегда ушедшей, жизнью. В числе прочих сатирик приводит текст такой записки: «Аркадий, выкупай заложников… Сидим у Давыдки, в безумной оргии прокутили 7 р. 20 коп., а нет ни соверена. Твои заложники жизни П. Маныч, Сергей Соломин и др.».

«Давыдка» (или «Капернаум») — это разговорное название ресторана Давыдова (Владимирский проспект, 7), где собирались представители богемы и петербургские журналисты. Свита как известно, изрядно подпортила репутацию замечательно талантливого Куприна: провоцировала его на бешеные траты денег, попойки с цыганами, хулиганские выходки. Корней Чуковский вспоминал:

«Так приманчива была для него скитальческая, свободная от

всякого регламента жизнь, что, если бы даже он не был писателем, он все равно <…> не мог бы обойтись без „Золотого якоря“, „Капернаума“ (он же „Давыдка“) и „Вены“, где его все тесней окружала всякая трактирная „шпана“. Мария Карловна (первая жена Куприна. — В. М.) в своих воспоминаниях пишет, что, в конце концов, его „адъютантами“ стали сотрудники мелких бульварных газет и хулиганского „Синего журнала“. Все больше он сходился с такими людьми, как критик Петр Пильский, поэт Александр Рославлев <…> эти загубленные водкой писатели. Пильский был темпераментный и бойкий писатель, отлично владевший пером, но бретер, самохвал, забияка, кабацкий драчун <…> Рославлев, третьестепенный эпигон символистов, не бывал трезвым уже несколько лет. Больно было видеть среди этих людей Куприна, отяжелевшего, с остекленелым лицом. Он грузно и мешковато сидел у стола, уставленного пустыми бутылками, и разбухшая, багровая шея мало-помалу становилась у него неподвижной. Он уже не поворачивал ее ни вправо, ни влево, весь какой-то оцепенелый и скованный <…> Для меня всегда оставалось загадкой, почему человек, безбоязненно входивший в клетку к тиграм, не может вырваться из пьяной, забубённой среды и преодолеть ее жестокое влияние. Обыватели злорадно глумились над этой слабостью большого писателя. По городу в то время ходили стишки:

Если истина в вине,
Сколько истин в Куприне!

Водочка откупорена,
Плещется в графине.
Не позвать ли Куприна
По этой причине?

Карикатурист Ре-Ми на знаменитой сатириконской картине „Салон ее светлости русской литературы“ изобразил Александра Ивановича бражником, которому в пьяном бреду примерещился чертик (в облике писателя Алексея Ремизова)» (Чуковский К. Современники. Портреты и этюды).

У читателя может возникнуть вопрос: для чего мы останавливаемся на этой, не самой достойной уважения, странице жизни Куприна? Да потому, что Аверченко порой принимал участие в пьяных оргиях Куприна и компании. Об одной из них рассказывает, к примеру, «потаенный» стих литератора Е. И. Вашкова, разысканный в фондах РГАЛИ профессором Сергеем Николаевичем Тяпковым. Этот «опус»

насчитывает 96 строк, из которых мы приводим здесь наиболее благопристойные:

В «ГИГИЕНЕ»[24]
Дружеские вирши

На кровати
Возле Кати
Спит Потёмкин крепким сном,
А Аверченко Аркадий
С длинногрудой рыжей Надей
Что-то делает тайком
……..
А в углу, обнявши деву,
Точно рыцарь королеву,
Спит растерзанный Куприн.
Дальше — тело Котылева
Без малейшего покрова…[25]

Несмотря на любовь к веселым застольям, Аркадий Тимофеевич всегда знал чувство меры, не забывал о своей репутации и главным в жизни считал работу. Поэтому однажды он сказал Куприну, пришедшему совершенно пьяным в редакцию: «В таком виде не надо показываться на людях, а сидеть, спрятавшись, как медведь в берлоге». В ответственный момент Аверченко-приятеля немедленно сменял Аверченко-редактор.

## Господин редактор

О стиле работы Аверченко как редактора сохранилось множество воспоминаний, причем нам не удалось обнаружить ни одного отрицательного отзыва. Все мемуаристы в один голос утверждают, что Аркадий Тимофеевич был «на своем месте»: до мельчайших нюансов разбирался в редакционной «кухне», умело руководил коллективом. Уважали его и за то, что он был «свой» — не понаслышке знал обо всех проблемах, с которыми сталкиваются журналисты, поэты, писатели.

Аверченко был демократичным руководителем, поэтому сотрудники «Сатирикона» не ощущали над собой никакого творческого диктата. Редактор, напротив, любил жанровое разнообразие, пестроту и легко шел на эксперименты. Ефим Зозуля как-то пожаловался на то, что у него в записной книжке накопилось много тем, но на них как-то не хочется сочинять рассказы. Аверченко попросил показать книжку ему.

«Он начал читать. Лицо его сделалось серьезным, вдумчивым, удивительным — каким оно часто бывало, когда он читал, писал или говорил о чем-нибудь, что интересовало его. Обычно в такие минуты он не острил и говорил, стараясь подобрать выражения точные, прямые, ясные, немного торжественные.

— Знаете что, — сказал он <…> Я предлагаю вам следующее: давайте в журнал эти записи в таком виде, в каком они здесь записаны, и мы так и назовем их — „Недоношенные рассказы“. Да. И под этим постоянным заголовком мы будем печатать ваши рассказы. Мне они нравятся. <…>

Я много видел на своем веку редакторов, и должен сказать, что Аверченко был одним ид самых острых и чутких», — заключает Зозуля (Зозуля Е. Д. Сатириконцы).

О. Л. Д'Ор вспоминал, что работалось в «Сатириконе» очень легко:

«Я не помню случая, когда бы Аверченко выбросил из моего фельетона или хотя бы изменил одну строчку. Не всегда он даже читал произведения тех, у которых было некоторое „имя“.

— Каждый сам за себя отвечает! — говорил он. — Напишет несколько раз плохо, перестанем печатать.

И каждый „сам за себя отвечал“. Сами себя редактировали жестче, чем любой редактор. О халтуре мы тогда не слыхали» (Старый журналист [О. Л. Д'Ор]. Литературный путь дореволюционного журналиста).

Аверченко никогда ни на кого не «давил» и однажды пошутил: «Когда я умру, пусть напишут на моей могиле: здесь покоится деликатный человек». Однако иногда от него требовалась и жесткость. Как-то Василий Князев до одури надоел всем в редакции, выпрашивая тему для стихов. Аркадий Тимофеевич, не меняя приветливого выражения лица, поднялся, взял его за плечи, втолкнул в чулан с бракованными номерами журнала и продержал там до конца рабочего дня.

Однако подобные случаи были единичными: Аверченко со всеми ладил и умел найти подход к любому из своих подчиненных. Атмосфера в редакции всегда была здоровая, дружеская, творческая. Задавал такой тон общения не только жанр, в котором работали сатириконцы, но и редактор журнала. Его человеческие качества немало способствовали этому.

Аверченко всегда сохранял ровное и спокойное расположение духа, часто повторяя: «Я кисель, никакой бритвой меня не разрежешь». Он никогда не кричал, не паниковал, ни с кем не конфликтовал и не выходил из себя. Никогда никого не воспитывал.

О невозмутимости редактора «Сатирикона» ходили легенды.

Однажды ему позвонили со склада, где хранился весь тираж его нового сборника, и сообщили о пожаре.

— Да что вы, этого не может быть! — спокойно заметил Аркадий Тимофеевич и продолжал так же сидеть на стуле. Даже не двинулся.

А весь тираж действительно сгорел.

Близкие друзья и те, к кому он был расположен, знали его как неистощимого весельчака, выдумщика, фантазера и мальчишку. «Когда я познакомился поближе с Аркадием Тимофеевичем, я убедился, что юмор был его природной стихией и что он воспринимал и комментировал любой факт, любую ситуацию не иначе как в плане безмятежного юмора. Но это не все: Аверченко был стопроцентным оптимистом, причем его оптимизм распространялся на все его окружение», — вспоминал Михаил Корнфельд (Корнфельд М. Г. Воспоминания). В чужой же и незнакомой компании писатель надевал маску флегматичности и вялости. Поэтому о его манере поведения сохранились диаметрально противоположные свидетельства.

От Аверченко зависели судьбы: его журнал процветал, поэтому любое имя, прозвучавшее на его страницах, запоминалось миллионами читателей. Да и гонорары были высокими.

Именно таким — «судьбоносным» — он изображен в экспромте поэта Красного (настоящее имя К. М. Антипов) «Редактору, читающему рукопись»:

Ты читаешь. И в осанке
И в лице твоем — бесстрастье,
Ты — что птичка на шарманке,
Вынимающая счастье…

Поэт-футурист Бенедикт Лившиц вспоминал, как Аверченко в буквальном смысле слова спас его от голода: «Я не ел уже два дня <…> Телефонный звонок Аркадия Аверченко <…> сообщавший, что я могу зайти в редакцию „Сатирикона“ за получением сторублевого аванса, знаменовал для меня начало новой эры…» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л., 1989).

Аркадий Тимофеевич многим дал «путевку в жизнь». По свидетельству Аркадия Бухова, если «около Аверченки в „Сатириконе“, что называется, „вплотную“ работали, предположим, пятнадцать человек — из них наверняка десять человек были вытащены из провинциального небытия или бестолкового мыканья по чуждым для них редакциям. Пользуясь

своими литературными связями, Аверченко доводил с ними дело до конца и каждого устраивал не только в „Сатирикон“, но и в других редакциях и издательствах: этого Аверченке не забудут многие» (Бухов Арк. Что вспоминается). Если человека не удавалось пристроить в столичных изданиях, Аркадий Тимофеевич мог помочь с работой в газетах провинциальных. Так произошло в 1912 году с журналистом Николаем Вержбицким, который получил от редактора «Сатирикона» рекомендательное письмо в газету «Пятигорский курьер».

Аверченко безошибочно угадывал в человеке литературный талант, бездарность же ненавидел, поэтому смертельно уставал от графоманов. Особенно от тех, кто, не сомневаясь в собственной гениальности, требовал объявить сумму гонорара. Эти последние пролезали и в редакцию, и в квартиру, просовывали рукописи во все щели. Аверченко старался все читать, а особо «гениальные» цитаты отбирал для «Почтового ящика», через который вел со своими неведомыми корреспондентами бесконечные переговоры. Подписчики, получив журнал, читали его с конца (там находился «Почтовый ящик») и хохотали над комментариями Ave:

* * *

— Вы беспокоитесь: «Получена ли моя рукопись? Не затерялась ли?»

— Если бы затерялась!.. А то получена!!!

* * *

— «За гонораром не гонюсь».

— Он за вами тоже.

* * *

— «Скоро ли вы меня тиснете?»

— Ах! Сударыня, оставьте это.

* * *

— «Стихи мне даются легко…»

— Может быть, даются. Но не берутся.

* * *

— «…По бокам броненосца зияли пушки…»
— Пушка зиять не может. Не пушкино это дело — зиять…

* * *

— «Писать в рифму для меня — сущая чепуха…»
— Если бы вы знали, как это чувствуется!

* * *

— «Есть ли в продаже карточки Арк. Аверченко и как (?) это сделать?»

— Ввиду того, что названный писатель не является предметом первой необходимости — карточная система к нему еще не применена.

* * *

— «Ужасное чудовище полз и полз дальше», — пишете вы посреди рассказа.

— Так как вы написало этот рассказ безграмотно, то редактор ему уничтожила.

* * *

Этот поэт жалуется: «Дома все наши смотрят на мои писанья, как на глупость». Поверьте, что в нашем журнале вы почувствуете себя, как дома.

* * *

Читатели «Сатирикона» отказывались верить в то, что это действительно цитаты из писем и рукописей — слишком они были нелепы, а порой чудовищны. Ave же убеждал: «Господа! Неужели вы не понимаете, что самый изощренный юморист не выдумает того, что дает прочный союз безграмотности с бесталанностью, пошлости — с претензией, напыщенности — с глупостью».

Иногда Аверченко доверял вести эту рубрику другим сатириконцам. Так, поэт Евгений Венский однажды комментировал рассказ, присланный очередным графоманом с сопроводительным письмом: «Может быть, рассказ мой и не очень хорош, но ведь и ваш Аверченко иной раз такое отмочит…» Венский ответил: «Сами знаем про Аверченко. Но не гнать же нам человека. Не звери же».

У Аверченко есть целый цикл юмористических миниатюр, которые строятся на диалоге Редактора и Автора. Последний,

обычно изображаемый самоуверенной бездарностью, то приносит порнографические сцены из жизни мух («Неизлечимые»), то ужасающие стихи наподобие:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать…

(«Поэт»)

Хотелось бы привести фрагмент замечательной новеллы «Секретарь из почтового ящика» (1909), завязка сюжета которой такова: к Редактору приходит очередной «гений», пишущий под псевдонимом «царь Эдип».

«— Здравствуйте, здравствуйте! — снисходительно сказал он, усаживаясь. — Вы, конечно, помните Царя Эдипа по почтовому ящику.

— Ну, не только по почтовому ящику, — возразил я.

Он удивился.

— Как, неужели вы еще где-нибудь встречали мое имя?

— Да, встречал… Грек там был один такой, Эдип. Потом Антигона.

— Миф, — отрубил он. — А хороший я себе псевдоним выбрал? Э?

— Недурной.

— Заковыристый, а?

— Заковыристый, — согласился я.

— Забористый псевдонимчик. Вы, наверно, были удивлены, когда отвечали первый раз в почтовом ящике. Что, бишь, вы тогда ответили?

— Если не ошибаюсь так: „Здесь. Царю Эдипу. Написано с царственной небрежностью. Уничтожили“.

— Да, кажется, так. А второй раз написали: „Никакая ‘голова’, кроме вашей, быть может, не рифмуется со словом ‘солома’“. Это у меня стихи такие были:

Повсюду лишь пустырь один,
Куда ни взглянет голова,
И преждевременных седин
Повсюду веет солома.

Здорово вы мне в почтовом ящике тогда ответили.

— Вы что же, — осторожно спросил я, — по поводу этого

ответа и пришли со мной объясниться?!

— Нет, не по поводу этого. Я пришел к вам по поводу третьего вашего ответа. Вы тогда написали в этаком серьезном духе: „Оставьте навсегда сочинение стихов. По-дружески советуем заняться чем-нибудь другим…“ Чем же?

— Что чем же?

— Чем же мне заняться?

— А я почему знаю?

— Нет, — возражал он все более и более веско. — Так же нельзя. Раз вы так категорически советуете мне в одном направлении, вы должны посоветовать и в другом направлении. Согласитесь сами, что, отговорив меня от поэтических занятий, вы, так сказать, взяли на себя дальнейшую судьбу.

— Я бы, конечно, мог вам посоветовать что-нибудь в выборе вашей карьеры, но для этого я должен знать, что вы собой представляете и на что способны.

— На все, — снова отрубил он.

— Это слишком много и иногда даже опасно».

Диалог, описанный в этой новелле, вполне мог быть «срисован с натуры», так как широкая популярность сыграла с Аверченко злую шутку. К нему стали обращаться с просьбами научить жить, дать совет. С одной стороны, писателю это льстило (он упивался своим успехом и часто повторял: «Я хочу славы, как пьяница водки!»), а с другой — он от души этим забавлялся, потому что был еще достаточно молодым человеком и сам нуждался в советах.

Однажды в редакцию пришло такое письмо: «Милостивый государь господин Аверченко. Обращаюсь к Вам как ученик жизни к учителю жизни. Помогите мне разобраться в сложном психологическом процессе души моей жены. Положение безвыходное. Вы один как учитель жизни можете направить и спасти. С Вашего разрешения позвоню Вам сегодня по телефону. Благодарный заранее А. Б. P. S. Мне сорок шесть лет, но положение требует немедленного облегчения. А. Б.».

— Вот, — сказал Аркадий Тимофеевич коллегам, — все, наверное, воображают, что только к Толстому да к Достоевскому шли читатели обнажать душу и спрашивать указаний. Вот это уже не первое письмо в таком роде.

— Что же вы — примете этого А. Б.? — спросила присутствовавшая при этом разговоре Тэффи.

— Придется принять. Посоветую ему что-нибудь.

— Что же, например?

— А это зависит от случая. Может быть, просто — дать денег на «Сатирикон».

— Всё-таки следовало бы отнестись серьезнее к этому делу, — сказал кто-то из коллектива. — Человек идет к вам душу выворачивать, так высмеивать его грех.

— С чего вы взяли, что я буду его высмеивать? — с достоинством ответил Аверченко. — Я намерен именно отнестись вполне серьезно.

— Вот это было бы интересно послушать, — сказала Тэффи.

— Отлично. Приходите в редакцию к четырем часам. Будете присутствовать при разговоре и потом можете засвидетельствовать мое серьезное отношение к делу.

— Да ведь он, пожалуй, не согласится открывать при мне свою душу.

— А уж это я берусь уладить.

На другой день ровно в четыре часа в редакторский кабинет зашел тот самый А. Б. — пожилой человек с рыжеватой бородкой, в руках форменная фуражка с кантиками. Тэффи сидела тут же, в кабинете, погрузившись в какую-то рукопись.

— Я вам писал, — начал человек плаксивым тоном. — Я — Баллюстрадов! А. Б.!

— Да-да, — отвечал Аверченко. — Я готов вас выслушать.

— Но я… я хочу наедине.

— Можете не стесняться, — перебил его Аверченко. — Эта дама — моя секретарша. Она глухонемая. Разве вы не видите? Ну-с, приступим к делу. На что вы жалуетесь? — спросил он тоном врача по внутренним болезням.

— Я жалуюсь, увы, на жену! Это остро психологический случай. Женат я два года на младшей дочери протоиерея. И вот особа эта, забыв сан своего отца, ведет себя крайне легкомысленно. С утра поёт, приплясывает и даже, видите ли, свистит.

— С утра? — мрачно сдвинул брови Аверченко.

— С утра. С утра до вечера. Бегает в кинематограф, в оперетку, и всё с мальчишками, всё с мальчишками. Треплет, одним словом, мое имя. Я человек занятой, у меня служба. Я попросил племянника, студента, присмотреть за ней. А она его потащила на каток, да оба и пропали до вечера! Укажите мне, где здесь справедливость и где здесь выход?

— Так вы говорите — потащила племянника на каток? — переспросил Аверченко и покачал головой. — Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Куда мы идем! Ведь эдак недолго и расшатать окончательно семейные устои, на которых зиждется государство. Это все ужасно. А скажите, она хорошенькая, ваша жена? Или, чтоб вам было понятнее, — обладает ли она внешней красивостью?

— Д-да! — горестно выдавил из себя чиновник. — Этим

делом она вполне обладает.

— Брюнетка? — очень строго спросил Аверченко.

— Д-да!

— Скольких лет?

— Двадцати двух.

— Это уж форменное безобразие! Ну и что же вы намерены делать?

— Вся надежда на вас, господин Аверченко. Вы учитель жизни, вы читаете в душах, вы все можете.

— Пожалуй, я действительно кое-что смог бы. Вот что, дорогой мой, пришлите-ка вы ее ко мне. Я ее хорошенько проберу. В самом деле — что же это такое! Куда мы идем! Какой пример! Действительно, тяжелая картина! Непременно пришлите ее ко мне. Может быть, еще не поздно.

— Я знал, что в вас я не ошибусь! — воскликнул Баллюстрадов. — Завтра же виновница торжества — впрочем, какое уж тут торжество! — завтра же она будет у вас. Я ее заставлю. Спасибо, спасибо, спасибо! Низко кланяюсь. Объясните вашей глухонемой, чтоб она никому ничего.

Странный визитер действительно прислал к Аверченко свою жену, которая оказалась весьма недурна собой. Писатель немедленно затеял с ней легкий флирт…

Разумеется, Аркадий Тимофеевич поступил с Баллюстрадовым не очень хорошо. Но с другой стороны — дураков нужно учить! В любом случае, эта история говорит об авторитете Аверченко как редактора и известности его как писателя. Популярность, помимо морального удовлетворения, принесла Аркадию Тимофеевичу и материальное благополучие.

Отдав многие годы своей жизни скучной и мало оплачиваемой работе конторщика, он наконец получил возможность зарабатывать большие деньги трудом, который приносил ему удовольствие. Журналистам (особенно известным и популярным) в дореволюционной России платили хорошо: от 50 копеек до рубля за строчку. Соответственно за произведение среднего объема в 200 строк Аркадий Тимофеевич получал от 100 до 200 рублей. Для сравнения скажем, что празднование собственных именин с двадцатью четырьмя приглашенными в ресторане «Вена» в эти годы обошлось ему в 270 рублей (то есть писатель вполне мог оплатить целый банкет гонораром за один фельетон).

В 1909–1910 годах доходы Аверченко достигали 10 тысяч рублей в год — по тем временам это была огромная сумма[26]. Как-то он встретился в поезде со своим бывшим начальником с Брянского рудника. Тот был чрезвычайно далек от литературы и

укорял Аркадия за легкомысленный уход со службы:

— Вы могли бы получать уже тысячи полторы в год, а теперь воображаю, на каких грошах вы сидите.

— Нет, все-таки больше, — скромно отвечал Аверченко.

— Ну, неужто до двух тысяч выгоняете? Быть не может! Я сам зарабатываю не больше.

— Нет, я около двух тысяч, только в месяц, а не в год.

Собеседник писателя только махнул рукой, не приняв его слова всерьез.

Аверченко, безусловно, знал цену деньгам. Этот момент впоследствии выпячивался некоторыми советскими мемуаристами. Так, Виктор Шкловский в книге «Жили-были» (М., 1966) попытался представить Аркадия Тимофеевича этаким коммерсантом от литературы: «Богом там (в „Сатириконе“. — В. М.) был одноглазый, умеющий смешить Аверченко, человек без совести, рано научившийся хорошо жить, толстый, любящий индейку с каштанами и умеющий работать. Он уже был предпринимателем». Биограф Маяковского В. О. Перцов в книге «Маяковский. Жизнь и творчество (до Великой Октябрьской социалистической революции)» (М., 1951) называл Аверченко «прожженным дельцом, превратившим свой талант в источник наживы».

Оставим подобные мнения на совести Шкловского и Перцова, тем более что в злой реплике первого чувствуется какая-то личная обида, а второй ничего другого в 1950-е годы написать просто не мог. Гораздо более неприятно то, что аналогичные суждения высказывали и бывшие сатириконцы Василий Князев и Алексей Радаков.

Князев в рукописи конца 1930-х годов «Радаков и Аверченко»[27] дал весьма нелестную характеристику Аркадию Тимофеевичу. Он считал, что сатириконцы делились на две группы: «культурную и мелкокультурную». К первой он относил Сашу Чёрного, Тэффи. Ко второй прежде всего Аверченко: «Аверченко (вне того, что он создал) это — чудо, как чудо — Гоголь, как чудо — Пушкин, как чудо — Лев Николаевич Толстой. Крым, Украина, Черноморское побережье — (откуда он родом?) — эти места, может быть, долгие десятки лет скапливали, конденсировали стихийную творческую энергию, чтобы чудесным образом вся она до последнего электрона уместилась в крови и мозговой коробке этого харьковского полуграмотного (в смысле истинной интеллигентности) рудникового какого-то, кажется, конторщика. Конторщиком Аверченко так и остался на всю жизнь!»

Далее Князев утверждал, что Аверченко своим дурным

воспитанием портил Радакова, который был «неизмеримо выше» и талантливее. Когда Аверченко появился в Петербурге, он якобы «очень скоро, перешагнув через гиппопотамную тушу» и «трон Радакова», прорвался к власти, однако и «на троне оставался малокультурным конторщиком». В письме Аркадию Бухову от 28 мая 1935 года Князев охарактеризовал талант Аверченко как «топорно-рубаночно-стамеско-грубопилочный», вероятно, намекая на ремесленно-механический (количественный) подход к делу[28].

Сам Алексей Радаков, по воспоминаниям его жены Е. Л. Гальпериной, считал Аверченко человеком очень талантливым, но с обывательским вкусом: «Он был прежде всего делец — исходил прежде всего из критерия тиража журнала, т. е. вида широкой читающей публики»[29]. По свидетельству Н. А. Черемных, в конце 1920-х годов, когда Аверченко уже не было в живых, Радаков любил порассказать о своем сатириконском прошлом и неизменно утверждал, что своим успехом журнал был обязан исключительно ему! (Черемных Н. А. Алексей Александрович Радаков // Мастера советской карикатуры. М., 1978).

Жаль, что мы уже не можем спросить у обоих сатириконцев, где бы они были, если бы не «конторщик» Аверченко. Почему ни высокообразованный Радаков, ни Князев (кстати, не окончивший даже гимназии и исключенный из Петербургской земской учительской семинарии «за политику» и тем не менее, по-видимому, причислявший себя к «культурной» разновидности сатириконцев) не смогли создать, развивать и в течение десяти лет удерживать на плаву «Сатирикон»? Хорошо им было судачить о «полуграмотности» Аверченко, регулярно получая один — гонорары, а другой — долю от прибыли (в то время как Аверченко лавировал между различными политическими партиями, цензорами, поставщиками, старался ни с кем не поссориться и за все «отвечал головой»). Подобные мемуарные свидетельства, намеренно порочащие писателя-эмигранта (кстати, для Князева он был шефом и благодетелем, а для Радакова — близким другом), вызывают у нас грустные мысли о человеческой неблагодарности, возможно, и черной зависти. А уж Аверченко завидовали многие!

Уже в первые петербургские годы он приобрел недоброжелателей и врагов. Так, в 1908 году, вскоре после приезда, Аркадий Тимофеевич познакомился с Корнеем Чуковским, которого очень уважал и кому посвятил фельетон «Большой человек». Однако Чуковский, как известно, был критиком не по профессии, а по складу характера. «У Корнея Ивановича никогда не было друзей и близких, — вспоминал

Евгений Шварц. — Он бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего голоса, без любви, без веры, с силой, не открывшей настоящего, равного себе выражения, и потому недоброй» (Шварц Е. Белый волк // http://chukovskiy.ouc.ru). Даже поддерживая хорошие отношения с Аверченко, Чуковский не удержался от резких выпадов в его адрес.

В августе 1909 года в газете «Речь» он опубликовал злой фельетон «Современные Ювеналы», в котором назвал «Сатирикон» «погремушкой малых литературных щекотальщиков, развлекателей „чуткой публики“». Наибольшим нападкам критик подверг творчество Саши Чёрного — по его словам, поэта микроскопического, худосочного самоедика с лимонным сердцем и лимонной головой, который только и делает, что скулит, хнычет, насквозь прокисливая души читающим его сатиры; его любимым занятием является самооплевывание — как он только не называет себя: «идиотом», «ослом», «истуканом», «овцой»!.. Чуковский сам боялся последствий своей статьи: «Я пишу это впопыхах, и боюсь, что в спешном наброске многое сказалось не так и многое совсем не сказалось». Он боялся не зря: Саша Чёрный был сильно обижен и отомстил стихотворением «Корней Белинский» с подзаголовком «Опыт критического шаржа». Стихотворение было опубликовано в «Сатириконе» в 1911 году. Война разгорелась не на шутку. Вскоре в нее включился и Аверченко, который всегда активно защищал своих сотрудников: он написал «Ответ читателю Дремлюгину», где, в свою очередь, нападал на Чуковского.

Чуковский отвечает статьей «Устрицы и океан» (Речь. 1911. 20 марта), тон которой был уже просто непозволительным. «Иногда мне приходит в голову: уж не Байрон ли — редактор нашего „Сатирикона“? — восклицал критик. — Уж не Генрик ли Ибсен? Быть может, это только пишется: „Аркадий Аверченко“, а читать надлежит: „Фридрих Ницше“?» Неудовольствие Чуковского было вызвано тем, что Аверченко якобы слишком презрительно относился к «серым людям толпы», называя их «устрицами» и «мокрицами». Аркадий Тимофеевич был чрезвычайно обижен на Чуковского, переписка между ними закончилась навсегда.

Впоследствии Корней Чуковский неизменно отзывался об Аркадии Аверченко с раздражением. Досталось от него и Радакову, которого в своих «Дневниках. 1901–1929» (М., 1991) он называл неряхой и лентяем. Уважал Корней Иванович одного Ре-Ми, потому что тот в 1917 году иллюстрировал его сказку «Крокодил». Чуковский как-то всегда считал, что Ре-Ми только этим и прославился, что это его единственный серьезный вклад в

историю русской сатирической графики. Кстати, именно Ре-Ми первым придумал на иллюстрациях изображать самого Чуковского как персонажа произведения (потом эту традицию подхватили другие художники и позднее — мультипликаторы).

Особую группу недоброжелателей Аверченко составляли сотрудники так называемых консервативных изданий, особенно газеты «Новое время» почвеннического направления. «Сатирикон» регулярно издевался над ее издателем А. С. Сувориным и ее главным публицистом М. О. Меньшиковым, который печатал свои материалы под названием «Письма к ближним». Аверченко же в шутку переименовал корреспонденции Меньшикова в «Письма к недалеким».

Несмотря на стычки с Сувориным, Аркадий Тимофеевич посчитал своим долгом прийти на его похороны в 1912 году. Некоторые расценили присутствие редактора «Сатирикона» на этом мероприятии как неуместное. Журналист Николай Иорданский даже печатно упрекнул Аверченко. Тот ответил в «Сатириконе»: «На похоронах был, не отрекаюсь. Для вашего утешения могу сказать, что на ваших похоронах буду с еще большим удовольствием». Эта реплика, дерзкая до неприличия, вызвала месть журналистов, разделявших черносотенные настроения: они пустили в Петербурге слух о том, будто настоящая фамилия писателя Лифшиц. Аверченко по поводу своего «еврейства» шутил так: «До революции одесские евреи говорили обо мне: „Аверченко так хорошо пишет, потому что он еврей“, а черносотенцы писали: „Аверченко пишет хорошо, хотя он еврей“. Я должен сознаться в том, что я ввел в заблуждение и тех, и других: я русский». (Существующая в севастопольском архиве метрика о рождении писателя полностью подтверждает его слова). В 1922 году одна из чехословацких газет так писала о национальности русского «короля смеха»: «Аверченко сам — не „москаль“, но коренной малоросс <…> К малорусскому сепаратизму, т<ак> з<ваному> украинизму, относится с самой отрицательной точки зрения» (Г. С — ычъ. Аверченко среди нас // Русская земля. 1922. 18 (31) августа). Иногда на вопрос — а не еврей ли вы? — Аверченко отвечал: «Опять раздеваться?..»

Аркадий Тимофеевич и как писатель, и как редактор «Сатирикона» боролся с любыми проявлениями национализма. Еврейскому вопросу он посвятил тематический номер журнала (№ 47 за 1909 год), а в 1911 году планировал издать спецвыпуск, посвященный скандальному делу Бейлиса[30], однако он был запрещен цензурой, которая доставляла Аркадию Тимофеевичу массу хлопот.

Макет каждого номера «Сатирикона» по четвергам

представлялся в Петербургский цензурный комитет на рассмотрение цензора графа Головина. Два дня спустя, субботним утром, Аверченко шел «на ковер». Головин был человеком нерешительным, поэтому нередко направлял редактора «Сатирикона» «выше»: к начальнику Главного управления по делам печати Алексею Валериановичу Бельгардту — сенатору и личному другу Петра Аркадьевича Столыпина. Этот человек, понимавший и ценивший юмор, спас многие спорные рисунки благодаря личному вмешательству российского премьер-министра. Однако и последний был бессилен, когда речь заходила о карикатурах или сатирических выпадах в адрес Григория Распутина. Однажды Столыпин показал Бельгардту записку Николая II, в которой император требовал прекратить «преследования» Распутина в печати, а в 1912 году он же поручил Бельгардту воспрепятствовать Аверченко в выпуске номера «Сатирикона», который, судя по анонсу, должен был быть целиком посвящен Распутину. Алексею Валериановичу удалось, пользуясь своими хорошими деловыми отношениями с Аркадием Тимофеевичем, упросить его сделать ему это личное одолжение.

«Сатирикон» часто выходил с белыми пятнами вместо «зарезанных» фельетонов или рисунков, под которыми стояла подпись: «Снят по независящим от редакции обстоятельствам». Сложную историю взаимоотношений Аверченко с властями превосходно иллюстрируют, к примеру, документы Главного управления печати Министерства внутренних дел. Согласно им, в 1912 году Аверченко был оштрафован на 300 рублей (с заменой двухмесячным арестом) за статью «Доклад министра Сазонова», В 1913 году против редактора «Сатирикона» было возбуждено уголовное преследование по статье 1001 Уголовного уложения за публикацию заметки «Лошадиная комиссия». Она высмеивала промах приемщиков курмышского земства, купивших на пункте кастрированного жеребца. Чиновники комитета по печати усмотрели во фразе: «„Новый Сатирикон“ не уверен, конечно, но подозревает, что приемная комиссия состояла из трех институток Кшесинского института и искренне сочувствует дорогим институткам в их горе» — неприличное «издевательство над чувством благопристойности и стыдливости»! Только благодаря вмешательству Санкт-Петербургского окружного суда почти через месяц постановление об аресте было отменено, а уголовное дело прекращено. В июне 1914 года Аверченко был оштрафован на 250 рублей за публикацию в «Новом Сатириконе» статьи «Юбилей».

Аркадий Тимофеевич нередко сетовал на то, что в Цензурном комитете сидят одни дураки: «Какое-то сплошное безысходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов.

Расцвет русской металлургии». Во время Первой мировой войны по Петрограду ходил такой анекдот: Аверченко прислал цензору рассказ на военную тему. Тот пропустил рассказ в печать, вычеркнув единственную фразу: «Небо было синее». Когда удивленный писатель поинтересовался о причинах, побудивших чиновника сделать это изъятие, тот ответил, что такая фраза может навести противника на мысль о том, что действие рассказа происходило на южном участке фронта, а это уже является государственной тайной.

В 1919 году Аверченко вспоминал: «Я имел удовольствие редактировать свой „Сатирикон“ <…> при золотопогонниках <…> Ах, как меня жали золотопогонники… Бывало, выругаешь генерал-губернатора или министра — штраф. Целых 500 рублей. Нарисуешь карикатуру на Распутина — с цензурой целый день приходится торговаться, пока пропустят… Как, бывало, острая политическая тема — так мы торговались с цензурой, будто два маклака из-за кривой лошади» («Две власти: золотопогонники и рабоче-крестьянская»).

Аркадий Тимофеевич за пять лет редактирования «Сатирикона» успел сделать очень много. В 1913 году, подводя итоги работы своей и коллектива, он сам был поражен масштабам этой деятельности:

«…мы устраивали „сатириконские балы“, ухитряясь в неделю записывать декоративные полотна во всю величину Дворянского собрания, устраивали вечера, юмористические лекции, выставки карикатур, совершали „образовательные“ экспедиции за границу и выпускали книги.

Поверит ли кто-нибудь, что нами за эти пять лет, совместно с М. Г. Корнфельдом, было выпущено на рынок свыше двух миллионов книг.

Не верится? Увы… Цифра эта точна.

Это уже сделано. Это позади.

А если бы пять лет тому назад пришел какой-нибудь провидец и сказал бы: „Господа! Вы должны за пять лет сделать следующее:

1. Составить 300 номеров журнала.

2. Выпустить 2 000 000 книг.

3. Писать пьесы, декорации к ним, устраивать выставки, балы, над которыми возни 2–3 месяца, колесить по Европе, негодовать, возмущаться, бороться с цензурой и сверх всего этого — обязательно сохранять хорошее, ровное расположение духа, без которого ‘веселая’ работа немыслима“. Если бы все это сказал нам пять лет тому назад провидец, каждый из нас выслушал бы его, молча повернулся спиной, выбрал бы по крепкой, прочной

веревке — и сразу освободился бы и от книг, и от журнала, и от всего другого.

Теперь все это позади. Хорошо!» («Мы за пять лет»).

Однако не стоит думать, что работа отнимала все время Аркадия Аверченко. Отнюдь нет — он любил и умел отдыхать.

## Забавы короля

Лучший отдых — путешествие.

В летнее время Петербург пустел. Отправлялась в Ливадию императорская семья, вслед за ней в Крым устремлялась русская знать и богема.

По свидетельству племянника Аркадия Аверченко Игоря Константиновича Гаврилова, его дядя хотел купить дом на Южном берегу Крыма, перевезти туда свою маму и приезжать отдыхать. Однако эта мечта не осуществилась. Почему? Об этом рассказывает фельетон «Хлопотливая нация» (1910):

«Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на Южный берег Крыма.

— Идея, — похвалили друзья. — Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.

— Похлопочи? Как так похлопочи?

— Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.

— Как же они хлопочут? — заинтересовался я.

— Да так. Как обыкновенно хлопочут <…>

— Ну, что ж, — вздохнул я. — Похлопочу и я.

С этим решением я и поехал в Крым».

Далее рассказчик сообщает, что, приступив к осуществлению задуманного, он наткнулся на непрошибаемую стену упорства некоего, не называемого, ялтинского генерал-губернатора. Писателю отказали в праве проживания в окрестностях Ялты «на основании чрезвычайной охраны»:

«Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:

— Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что — это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли — ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной — за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой? Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:

— Могу».

Объект сатиры здесь очевиден — «главноначальствующий» Ялты генерал Иван Антонович Думбадзе, назначенный после объявления города на положении чрезвычайной охраны (1906). Этот человек, имея сильных покровителей в Петербурге, действовал в Ялте совершенно самостоятельно и создал своеобразный диктаторский режим. Он преследовал и высылал корреспондентов столичных газет, в которых появлялись статьи о нем. Думбадзе не только запрещал печатание в местной газете сведений или статей, ему не нравившихся, но под угрозой закрытия газеты и ареста редактора требовал обязательного помещения произведений, присылаемых им. Он даже принимал к разбору гражданские иски и вмешивался в семейные ссоры крымчан. Боевая организация партии эсэров вынесла генералу смертный приговор, но покушение оказалось неудачным.

У Думбадзе были веские основания для отказа редактору «Сатирикона». Он хорошо помнил, какие миниатюры он читал на страницах журнала:

«— Вы русский подданный? — Нет, ялтинский»;

«В Ялте расцвел Думбадзе и позеленело население»;

«Генерал Думбадзе выслал в 24 часа из Ялты свою собственную шинель за ношение красной подкладки» и пр.

Так что Аверченко мог бы даже и не «хлопотать»!

Однако писателю очень хотелось к морю. Летом 1910 года он едет в Одессу.

«В Одессе мне до сих пор не приходилось бывать, — писал Аркадий Тимофеевич в фельетоне „Одесса“. — <…>…я подъезжал к ней на пароходе — славном симпатичном черноморском пароходе, — и, увидев вдали зеленые одесские берега, обратился к своему соседу (мы в то время стояли рядом, опершись на перила, и поплевывали в воду) за некоторыми справками. Я рассчитывал услышать от него самое настоящее мнение об Одессе. <…>

— Скажите, — обратился я к нему, — вы не одессит?

— А что? Может быть, я по ошибке надел, вместо своей, вашу шляпу?

— Нет, нет… что вы!

— Может быть, — тревожно спросил он, — я нечаянно сунул себе в карман ваш портсигар?

— При чем здесь портсигар? Я просто так спрашиваю.

— Просто так? Ну, да. Я одессит.

— Хороший город — Одесса?

— А вы никогда в ней не были?

— Еду первый раз.

— Гм… На вид вам лет тридцать. Что же вы делали эти

тридцать лет, что не видели Одессы?».

Вопрос поставил Аверченко в тупик. Действительно, странно: «король смеха», а в Одессе не бывал!

Писатель внимательно присматривался и прислушивался к одесситам — их привычкам, словечкам, говору. Свои наблюдения он суммировал в небольшой книжечке «Одесские рассказы» («Дешевая библиотека „Сатирикона“», 1911):

в Одессе никто не работает. Улицы наполнены «праздным народом, который бредет по тротуарам ленивыми, заплетающимися шагами, останавливается у всякой витрины, у всякого окна и с каким-то упорным равнодушием заинтересовывается каждой мелочью, каждым пустяковым случаем, на который петербуржец не обратил бы никакого внимания». Следовательно: «Нет лучшего города для лентяя, чем Одесса. Поэтому здесь, вероятно, так много у всех времени и так мало денег»;

одессит — маньяк общения: «Нет более общительного, разбитного человека, чем одессит. Когда люди незнакомы между собой — это ему действует на нервы. Климат здесь жаркий, и поэтому все созревает с головокружительной быстротой. Для того, чтобы подружиться с петербуржцем, нужно от двух до трех лет. В Одессе мне это удавалось проделывать в такое же количество часов»;

одесситы разговаривают на забавнейшем языке, они «не умеют говорить по-русски, но так как они разговаривают больше руками, этот недостаток не так бросается в глаза».

Прощаясь с замечательным городом, Аверченко иронизировал над особенностями местного произношения — говорить «и» вместо «ы» — и пожелал преподнести одесситам «в вечное и постоянное пользование букву „ы“».

Дружба Аркадия Аверченко с Одессой стала тесной и многолетней. Он регулярно печатался в здешних газетах, его пьесы ставил местный театр миниатюр. Наконец, его обожали легендарные одесситы — Сергей Уточкин и Леонид Утёсов. Последний писал в книге «Спасибо, сердце!» (М., 1976): «Когда я думаю о писателях-юмористах, которых знал лично, в памяти, прежде всего, встают две фигуры — Аркадий Аверченко и Михаил Зощенко. И на стене моего рабочего кабинета до сих пор их портреты всегда висят рядом, как хранятся они в моей памяти». Утёсов был хорошо знаком с творчеством Аверченко и в юности даже прославился в качестве чтеца его рассказа «Рыцарь индустрии».

Анна Ревельс (вторая жена Утёсова) вспоминала один диалог, о котором ей рассказывал муж.

— Странно, что вы не одессит, — заметил как-то Утёсов.

— Слава Богу, — ответил Аверченко, — иначе мое собрание сочинений составило бы сто томов…

Та же Ревельс свидетельствует, что Леонид Осипович часто думал об Аверченко в последние годы и очень болел за его несчастливую судьбу. Он то сожалел, что Аркадий Тимофеевич покинул родину, то резко осуждал его.

Год спустя после поездки в Одессу, летом 1911 года, Аверченко отправляется в первое в своей жизни заграничное путешествие. Его сопровождают верные «мушкетеры» Радаков и Ре-Ми. Более того, буквально накануне отъезда из Петербурга в этой компании появилось недостающее звено — Атос! Мы склонны называть так начинающего писателя Георгия Ландау. Однажды он послал в «Сатирикон» свои рассказы, редактору они понравились. Аверченко практически сразу их напечатал, пригласил автора к себе и с ходу спросил:

— Хотите у нас работать?

— Но я служу в ведомстве путей сообщения, — робко возразил Ландау.

— За пару недель разделаетесь?

Ландау замялся.

— Кстати, какие языки знаете? — снова спросил Аркадий Тимофеевич.

— Французский, немецкий, неплохо английский…

— Ну, в общем, вы нам годитесь. Тут мы собрались проехаться по Европе — Радаков, Ре-Ми, я, а с языками у нас немного не того…

Так в веселую компанию и попал Ландау, который смотрел на мир с философской усталостью, свойственной мушкетеру Атосу. Ландау, по словам Аверченко, был таков: это был «человек, у которого хватило энергии только на то, чтобы родиться, и совершенно ее не хватало, чтобы продолжать жить. Его нельзя было назвать ленивым <…> как нельзя назвать ленивыми часы, которые идут, но в то же время регулярно отстают каждый час на двадцать минут.

Я полагаю, что хотя ему в действительности и 26 лет, но он тянул эти годы лет сорок» («Экспедиция в Западную Европу…»).

Аркадий Тимофеевич всегда симпатизировал ленивым людям. Видимо, Ландау стал ему близок, потому что он рассказывал о нем в письмах, посылаемых маме в Севастополь: «Дражайшие мои! Сейчас поедем из Неаполя в Геную на таком большом пароходе, что он даже не поместится в вашей комнате. Видели Везувий и развалины Помпеи. Это вовсе не смешно, а скорее грустно. Есть мумии помпейцев, которые совершенно

умерли. Ландау плакал, как ребенок…»[31]

Путешествие сатириконцев было одновременно деловой командировкой. Читателям «Сатирикона» пообещали, что при подписке на следующий, 1911 год они получат в подарок «роскошно иллюстрированный» юмористический путеводитель по Европе. Подписчики журнала не были разочарованы: по итогам заграничного турне друзья выпустили красочный альбом «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова». Текст писали Аверченко и Ландау[32], а Ре-Ми и Радаков зарисовывали. Несмотря на то, что участники поездки выведены в книге под псевдонимами, современники без труда их узнавали, тем более что Аверченко изменил только фамилии, а имена-отчества оставил подлинными. Южакин — это он сам, Крысаков — Радаков, Мифасов — Ремизов, Сандерс — Ландау. Первая фамилия совершенно объяснима, вторая явно основана на комическом созвучии, третья, вероятно, «нотно-музыкальная»: Ре-Ми(зов)/Ми-фа(сов). Насчет Сандерса — вопрос…

Маршрут путешествия был насыщенным и проходил через крупнейшие и интереснейшие города Германии, Италии и Франции. Книгу предваряло достаточно пространное авторское введение о пользе путешествий, откровенно выдержанное в духе Джерома. Далее следовало юмористическое описание Европы, изобилующее сентенциями вроде: «Европа лежит между 36-й и 71-й параллелями Северного полушария. Мы собственными глазами видели это. Берега Европы омывают два океана сразу: Северный Ледовитый и Атлантический. Не знаю, как омывает Европу Ледовитый океан, но Атлантический — особой тщательностью в возложенной на него работе не отличается — грязи на берегу сколько угодно» и пр.

Самое сильное впечатление на Аверченко произвела Венеция. Он писал: «Когда я приехал в Венецию, я подумал: „Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте иссушила бы сердце“. Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врезалась в память неизгладимо, я по ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает меня снова счастливым».

В окрестностях Венеции, между Венецианской лагуной и Адриатическим морем, расположен остров Лидо с песчаными пляжами (в наши дни здесь проводится Венецианский кинофестиваль). Сюда сатириконцы ездили купаться. Об этом

месте Аверченко напишет: «Небо, какого нет нигде, вода, которой нет нигде, и берег, которого нет нигде». Здесь в кабинке для переодевания писатель подслушал забавный разговор:

«Незнакомый сиплый голос говорил:

— Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.

Голос слуги при кабинках — старого, выжженного солнцем итальянца-старика в матроске… отвечал:

— Нон каписко.

— Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермут принеси, понимаешь? винца!

— Нон каписко.

— Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю… и т. д.

— Слушайте! — крикнул я. — Вы русский?

— Да, конечно! Кажется, русским языком говоришь этому ослу…

— На них это не действует… Скажите ему по-итальянски…

— Да я не умею.

— Как-нибудь… „прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермуто…“. Только ударение на „у“ ставьте. А то не поймет.

— Ага! Мерси. Эй ты, смейся паяччио! Дате мио, как говорится, вермуто. Да живо! — Субито, синьоре, — обрадовался итальянец.

— То-то, брат. Морген фри» («Экспедиция сатириконцев…»).

На острове Лидо Аверченко понравилось настолько, что через год он приезжал туда один и жил около месяца.

Ярким эпизодом путешествия сатириконцев стал визит к Горькому на Капри.

Как установил литературовед Дмитрий Викторович Неустроев, Горький был хорошо знаком с творчеством Аверченко.

10 марта 1910 года в письме С. П. Боголюбову Алексей Максимович просил прислать ему номера «Сатирикона» за 1908 год и крышки журнала за 1909 год, а также хотел ознакомиться с «Современным Всепетербургом». Выслать ему «Веселые устрицы» Горький поручил А. Н. Первухину.

Судя по переписке Горького с Александром Амфитеатровым, сатириконцы были у него в конце июня или в первых числах июля. Приведем выдержки из горьковского письма, отправленного с Капри в Петербург 4/5 июля 1911 года:

«Дорогой Александр Валентинович!

<…> Установилась здесь отличная погода: не жарко, а тепло, светло, тихо и ласково. Были „сатириконцы“ вчетвером,

интересные и, действительно, веселые ребята <…>».

7 июля Амфитеатров отвечал: «Дорогой Алексей Максимович! <…> С сатириконцами в журнале их я незнаком, а в газетах они меня не восхищают. Нутряной гогот какой-то. Аверченко же в последнее время повторяется прескучно <…>» (Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. Литературное наследство. М., 1988).

Писатель Илья Сургучёв, гостивший в этот момент у Горького, вспоминал осенью 1911 года в письме В. А. и Е. В. Тихоновым: «Сидим мы там у него — вдруг прикатывает вся редакция „Сатирикона“: Аверченко, Радаков, Ремизов, Ландау. Повел нас Горький в „Gaudeamus“ — такой ресторан на Капри есть <…> Весело было удивительно!»[33]

Можно предположить, что Аверченко придавал этому посещению особое значение: для него это был своеобразный «матч-реванш», учитывая уже известное нам неверие Горького в его литературный талант. В одном из поздних интервью он рассказывал, как напомнил Алексею Максимовичу о нелестном совете, полученном от него в юности. Горький сделал вид, будто забыл об этом эпизоде, и ответил, что если он и давал такой совет, то Аверченко молодец, что не послушался…

На Капри гостили пару дней.

«До сих пор не могу сказать точно, — какое впечатление произвели мы на Максима Горького, — читаем в „Экспедиции…“. — Говорю это потому, что знаю — порознь каждый из нас сносный человек, но все мы in corpore — представляем собою потрясающее зрелище. Человек с самыми крепкими нервами выносит пребывание в нашей компании не больше двух-трех часов. Шутки и веселье хороши, как приправа, но если устроить человеку обед из трех блюд: на первое соль, на второе горчица и на третье уксус — он на половине обеда взвоет и сбежит». Что поделаешь — остроумие было визитной карточкой сатириконцев!

Время для путешествий у Аверченко выдавалось летом. А как же он отдыхал зимой?

По словам Тэффи, писатель быстро полюбил «петербургскую угарную жизнь, ресторан „Вена“, веселые компании, интересных актрис». Все, что происходило в городе занимательного, не ускользало от его внимания.

В 1910-х годах Аверченко увлекся катанием на роликовых коньках и описал это занятие в рассказе «Без почвы» (1910): «Положив руки назад, я неожиданным ураганом ринулся в толпу катающихся. Я упал всего два раза, но сбил с ног человек десять, опрокинул неизвестного толстяка на барьер и, сопровождаемый

разными пожеланиями и комплиментами, усталый, довольный собой отправился снимать коньки». Действие рассказа происходит на Марсовом поле, где было построено железобетонное здание скейтинг-ринка. Вокруг площадки для катания немедленно расцвели рестораны, в которых даже официанты передвигались на роликах. Благовоспитанные горожане называли это сооружение «дворцом пьяноблудия» и возмущались тем, что под вывеской скейтинг-ринка вырос грандиозный ресторан для веселого времяпрепровождения с шампанским, отдельными кабинетами и торговлей до часу ночи.

Скейтинг-ринк мог привлекать Аркадия Тимофеевича и по другой причине — здесь устраивались чемпионаты по французской борьбе, которой он увлекался. Состязания проводились также в летнем саду «Фарс», в цирке Чинизелли.

…Гудит цирк Чинизелли. Аверченко и «свита» восседают в первом ряду. Лучшие места им предоставил Куприн — он сегодня сидит в жюри чемпионата по французской борьбе. Публика узнала писателя и скандирует: «Ку-прин!!! Ку-прин!!!» Затаив дыхание, все ждут выхода на арену борцов. Но арбитр — известный всей России «дядя Ваня» (Иван Лебедев) — тянет время. Увидев Аверченко, он кланяется ему лично. На арбитре русская поддевка, лакированные сапоги, поверх жилета массивная золотая цепочка с множеством брелоков. На голове у «Дяди Вани» студенческая фуражка — когда-то он учился в Петербургском университете.

Прекрасно поставленным голосом арбитр объявляет, что сегодня в первом отделении выступит Иван Поддубный. И вот под несмолкаемый крик атлет с мировой славой носит на плечах якорь весом в 25 пудов, на тех же плечах гнут железную балку и ломают телеграфный столб! Затем связывают друг с другом трех человек. Поддубный с удивительной легкостью подымает их вверх на вытянутой руке и носит вокруг арены. Затаив дыхание, Аверченко наблюдает за приготовлениями к следующему аттракциону: на лежащего Поддубного кладут доски и по ним проезжает автомобиль с пассажирами. Оркестр надрывается: «Эх, дубинушка, ухнем».

Под громкую музыку проходит и второе отделение — состязания по французской борьбе. После парада-алле борются атлеты, лица которых скрывают маски. «Красная маска», «Черная», «Инженер», «Металлист», «Красный полумесяц» — всё это интригует публику. По правилам, маску снимают в случае поражения атлета.

Зрители неистовствуют. Солидные буржуа рядом с Аверченко колотят кулаками по барьеру лож и кричат: «Неправильно!!» Их

осыпанные бриллиантами супруги ведут себя не лучше.

Сам Аркадий Тимофеевич, даже увлекаясь чем-то, обычно вел себя сдержанно. Он всегда знал чувство меры и высмеивал любые проявления фанатизма. В скетче «Горе профессионала» (1912), изобилующем именами силачей Пахуты, Эмиля де Бена, Папа-Костоцуло, Ильяшенко, Фосса, он изобразил своеобразный моральный поединок едущих в одном купе писателя и известного борца. Последний, привыкший к всеобщему экзальтированному поклонению, удивляется, что его сосед совершенно им не интересуется.

«Чемпион мира искоса наблюдал за мной; потом не выдержал и, потрепав меня по плечу, сказал:

— Вы меня удивляете.

— Чем?

— Первый раз такого человека встречаю. Обыкновенно мы, борцы, несчастные люди. Стоит только какому-нибудь новому знакомому узнать о нашей профессии, как этот субъект считает своим долгом пощупать у нас на руках мускулы и потом завести длиннейший разговор о борцах, о физической силе, о каких-то самородных чудесных силачах, ломовиках из народа и о прочем таком. Он думает, что ни о чем другом мы разговаривать не можем <…> Вы, кажется, первый человек, который по-настоящему отнесся ко мне. Остальные же считают каким-то хорошим тоном говорить с человеком о том, что у того и так вот тут сидит <…> Прямо-таки вы первый человек такой особенный.

— Ну, — возразил я, улыбнувшись, — должна же моя профессия научить меня такту, чутью и оригинальности…

— А вы, простите, чем занимаетесь?

— Я — писатель.

— Неужели? Где же вы пишете?

— В журналах, газетах…»

После этого признания борец, забыв, как ему самому неприятны расспросы о профессиональной деятельности, начал засыпать писателя вопросами:

«— У меня в Лодзи был один знакомый писатель — Коля Вычегодзе. Может быть, знаете?

— Нет, не слыхал.

— Он тоже рассказы, стихи писал. Слушайте… вот скажите ваше мнение: здорово ведь писал Некрасов?

— Да, хорошо.

— Мне тоже нравится. А скажите, правда, что он драл своих крестьян и проигрывал их в карты?

— Ну, это так… сплетни.

— Вы и стихи пишете?

— Нет, не пишу…

— Труднее. Вот этот Коля Вычегодзе и стихи писал <…> А где сейчас Куприн?

— Не знаю, кажется, за границей.

— Слушайте, а вот Андреев… Что он хотел сказать своей Анатемой… Я, собственно, так и не понял.

Я устало взглянул на него. Нехотя промямлил:

— Вещь глубокая, философская…

— Тэ-эк-с, тэ-эк-с. А скажите, Горький что-нибудь теперь пишет? Вот ведь гремел когда-то. Не правда ли?

— Да, — подтвердил я. — Гремел. Они с Фоссом гремели. Слушайте, кстати, правда, что Фосс мог на плечах шестьдесят пудов выдержать?

Чемпион мира сразу осунулся и скучающе пожал плечами.

— Шестьдесят пудов, это можно выдержать.

— Слушайте, а где теперь Абс?

— Умер.

— Неужели? А Лурих где борется?

Чемпион ничего не ответил. Он мрачно встал и принялся укладывать вещи.

Это, вероятно, был первый случай, когда чемпион мира был побежден, был положен на обе лопатки мирным, слабым писателем».

О своем отношении к спорту Аркадий Аверченко высказался в анкете, заполненной им в 1914 году для популярного спортивного журнала «Геркулес»:

«Я люблю спорт во всех его видах, где преследуются исключительно цели физического развития. Сам в свое время очень занимался тренировкой гирями, но, к сожалению, теперешняя работа не позволяет мне продолжать это полезное и интересное удовольствие. Написал несколько рассказов из спортивной жизни.

К счастью, у нас теперь на спорт обратили надлежащее внимание и содействуют его развитию. В этом отношении очень много делает молодой журнал „Геркулес“, прекрасно руководимый И. В. Лебедевым — „Дядей Ваней“, которому, как самому ему, так и журналу от души желаю громадного и вполне заслуженного успеха».

В то время интерес к спорту и тяжелой атлетике был повальным — в одном Петербурге насчитывалось свыше 30 спортивных организаций. Есть сведения о том, что Аркадий Тимофеевич посещал общество физического развития «Санитас», открытое в 1912 году атлетом Людвигом Чаплинским на Троицкой улице, 15 (по этому адресу писатель в следующем году

снимет квартиру). Атлетическим телосложением Аверченко наделил двух своих автобиографических литературных героев — Южакина («Экспедиция сатириконцев в Западную Европу») и Подходцева («Подходцев и двое других»). Первый, голодая в Париже, размышляет о том, чем бы подработать: «Я мог бы на какой-нибудь площади показать работу гирями…» Подходцев же, оголив руку, демонстрирует двуглавый мускул.

Не меньше, чем борьбой, Аверченко увлекался скачками. Аркадий Бухов вспоминал о совместном посещении ипподрома сатириконцами и «купринцами»: «Павильон на скачках. Пестро. Шумно. Толпа. Один из последних заездов. На скамейке, чтобы что-нибудь увидеть, стоим мы <…> Каждый переживает разное <…> Я молчу: уговорил Александра Ивановича поставить на другую лошадь, нагло расхвалил ее и теперь она идет, танцуя какую-то польку, совсем в хвосте. Но больше всех волнуется и горячится Александр Иванович. На его лице — тяжелейшая обида. Я знаю, что в эту минуту он ненавидит и меня, и лошадь и чувствует искреннее отчаяние, что промахнулся» (Бухов Арк. Александр Иванович // Эхо. 1924. 20 декабря).

Азартный Куприн заразил Аверченко еще одним увлечением — авиацией, познакомил его с летчиком-одесситом Сергеем Уточкиным. Один из первых русских авиаторов и одновременно поэт-футурист Василий Каменский и вовсе жил с Аркадием Тимофеевичем в одной квартире. Вот что он вспоминал о своем первом удачном полете: «Я вернулся домой, в Петербург, именинником, сразу влетел в комнату работавшего Аркадия Аверченко и ему первому поведал восторги. Аверченко прокричал „ура“, схватил с полки свою новую книгу рассказов, подписал: „От земного Аркадия — небесному Василию“, подарил с объятиями, и мы отправились в „Вену“ справить торжество. Едва чокнулись перед устрицами, подвалили сатириконцы: развеселый Алексей Радаков с бакенбардами Пушкина, долговязый черный Реми, европеец Яковлев, всегда всклоченный, „точно с постели сброшенный“ поэт В. Воинов, тихий, но острый, как шило, В. Князев и совсем тихий, флегматичный Саша Чёрный. Перед сном Аверченко прошептал: „В этот час все желают друг другу спокойной ночи. Ничего подобного, я прошу, в случае смертельного падения с аэроплана, черкнуть мне открытку с того света: не пожелают ли там подписаться на „Сатирикон““. Я обещал» (Каменский В. В. Степан Разин, Пушкин и Дантес. Художественная проза и мемуары. М., 1991).

В кругу друзей Аркадия Аверченко были не только авиаторы, но и заядлые шахматисты. Один из них — поэт Петр Потёмкин — занимал призовые места на соревнованиях, вел шахматный

раздел в одном из петербургских журналов. Однажды Аверченко приехал проведать больного Корнфельда на дачу и подарил ему книгу Ж. Дюфрена «Руководство к изучению шахматной игры», на которой оставил дарственную надпись: «В дни принужденного лежания, да послужит сие руководство дорогому Михаилу Германовичу, как руководство к полному выздоровлению. Его толстый старый редактор Ave». В автобиографическом романе Аверченко «Шутка Мецената» воспроизведены остроумные реплики героев о шахматах, которые пестрят специальными терминами и понятиями (конь «делает королю и королеве „вилку“», «король открывается», «я вам дам вперед королеву», «желаете ли на квит без форы?»). Один из персонажей романа, Кузя, изрекает замечательный афоризм: «Шахматный ум… в обычной жизни дремлет».

Летом 1912 года внимание Аркадия Тимофеевича привлек огромный «Луна-Парк», открытый на территории петербургского Демидова сада. Наблюдая за теми, кто тратил деньги на «Чертовы колеса», «Американские горы», «Пьяные лестницы», «Мельницы любви», «Сомалийские деревни», Аверченко пришел к выводу, что «Луна-Парк — рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело…» («Чертово колесо»). После событий 1917 года он будет сравнивать с аттракционами петербургского «Луна-Парка» события русской революции.

При «Луна-Парке» работал Новый Драматический театр, в котором с 1909 года играла возлюбленная писателя Александра Садовская. Он бывал на спектаклях с ее участием. Встречался он здесь и с шансонеткой Изой Кремер, своей приятельницей.

Музыку Аверченко любил всякую, в том числе и серьезную. В фельетоне «Публика» (1913) он рассказывал о концертах приезжей знаменитости — восьмилетнего ребенка-дирижера Вилли Ферреро. Свой первый концерт в российской столице мальчик дал в зале Дворянского собрания с симфоническим оркестром Мариинского театра. В программу выступления входили произведения Бетховена, Вагнера, Берлиоза. Успех был колоссальный. По городу начала ходить легенда, будто бы сам государь, однажды повстречав Вилли Ферреро и потрепав мальчишку по головке, высочайше напутствовал юного гения. Но в этот восторженный хор вторгались и голоса скептиков. А кто-то из особо недоверчивых пустил слух, будто на самом деле оркестром управляет вовсе не Вилли, а невидимый для зрителя взрослый капельмейстер. Эти сплетни Аверченко и пересказал:

«…я сидел в зале Дворянского собрания на красном бархатном диване и слушал концерт симфонического оркестра, которым дирижировал восьмилетний Вилли Ферреро. Я не

стенограф, но память у меня хорошая… Поэтому постараюсь стенографически передать тот разговор, который велся сзади меня зрителями, тоже сидевшими на красных бархатных диванах.

— Слушайте, — спросил один господин своего знакомого, прослушав гениально проведенный гениальным дирижером „Танец Анитры“. — Чем вы это объясняете?

— Что?

— Да вот то, что он так замечательно дирижирует.

— Простой карлик.

— То есть, что вы этим хотите сказать?

— Говорю, что этот Ферреро — карлик. Ему, может быть, лет сорок. Его лет тридцать учили-учили, а теперь вот — выпустили».

Далее двое собеседников, раздражая Аверченко своей тупостью и цинизмом, продолжали строить догадки: мальчик под гипнозом; его специально мучили, чтобы он от страха развил в себе сверхспособности; в выступлении применяются последние завоевания оптической техники… Совершенно рассвирепев, Аверченко вмешался в разговор:

«— Эй, вы, господа! Все, что вы говорили, может быть, очень мило, но почему вам не предположить что-либо более простое, чем электрические провода и система зеркал…

— Именно?

— Именно, что мальчик — просто гениален!

— Ну, извините, — возразил старик — автор теории об истязании. — Вот именно, что это было бы слишком простое объяснение!»

Кроме симфонической музыки, писатель интересовался оперой. Он хорошо знал творчество Леонида Собинова, иногда гостил на даче профессора пения Ферии Джеральдони в Мустомяках.

Уважал Аверченко исполнителей народной городской песни и романсов Надежду Плевицкую, Марию Комарову, Александра Вертинского, Анну Степовую…

Плевицкая пройдет с ним через «врангелевское сидение», затем через Константинополь. В 1923 году Аркадий Бухов будет писать Аверченко: «Если ты увидишь Плевицкую — поклонись ей от меня. Она очень милый человек».

Комарова в эмиграции будет обращаться к Аверченко с просьбами похлопотать за нее и организовать ее выступления в Праге.

Вертинский будет поддерживать с Аркадием Тимофеевичем приятельские отношения в Севастополе 1919–1920 годов и вспомнит о нем в своих мемуарах «Дорогой длинною».

Наконец, Степовая тоже запомнится всем прошедшим через

Гражданскую войну. Максимилиан Волошин напишет, что Анна Степовая «прекрасно пела популярную в те времена песенку: „Ботиночки“. Под эту песенку, сделанную с большим вкусом, сдавались красным один за другим все южные города: Харьков, Ростов, Одесса». В эмиграции певица будет служить в труппе берлинского театра-кабаре «Карусель» и ее очень невзлюбит актриса Раиса Раич — последняя любовь Аверченко.

Итак, у Аркадия Аверченко было множество увлечений: путешествия, шахматы, авиация, спорт, музыка. Им он отдавался всей душой, о них писал, но до настоящего пафоса, как иронически заметил В. И. Ленин, писатель поднимался лишь тогда, когда говорил о еде. С мнением Ленина не поспоришь, ведь Аркадий Аверченко часто повторял: «Для меня ресторан — мой дом». Ради вкусного ужина в компании добрых приятелей он мог пренебречь многим, ибо был гурманом. По многочисленным свидетельствам, к приему пищи писатель относился как к священнодействию. «Любо смотреть было, как он ест, отдаваясь процессу чревоугодия и порой зажмуривая глаза», — писал Н. Н. Брешко-Брешковский. Филологами давно доказано, что в отечественной литературе XX столетия никто так не поэтизировал еду, как Аверченко и Булгаков! (В этом они стали продолжателями Н. В. Гоголя.)

Разве не завораживает хотя бы этот (один из многих) гурманский текст:

«Пять лет тому назад <…> заказал я у „Альбера“ навагу, фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки, — крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез… Только взять его в руку и подавить над рыбиной <…> Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях… в сухарях, — я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы… И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата, — выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская этакая, и ешь ее, ешь, пышную с этой рыбкой» («Поэма о голодном человеке»). Эти строки написаны в 1920 году в Севастополе, когда воспоминания об исчезнувшей еде были особенно яркими и вдохновляли писателя на создание поистине поэтических описаний застолий.

Об отношении Аверченко к еде красноречиво свидетельствует

один случай, описанный Зозулей. Обедали они как-то вдвоем в ресторане «Медведь». Пили водку и вино, было множество разных закусок. Потом подали какой-то очень изысканный суп, приготовленный по сложному рецепту. В нем было тесто, которое нужно было съесть после супа, полив уксусом. Зозуля, не придав этому значения, все тесто съел сразу. Аверченко, увидев это, обомлел.

— Что вы сделали! — шутливо и одновременно огорченно спросил он. — Ведь не полагается… Это совсем не то… Ведь мне-то все равно… Я о вас мнения не изменю… Но… понимаете…

Они продолжали обедать и весело беседовать, но Зозуля почувствовал, что в глазах Аверченко он что-то потерял…

Рестораны — отдельная тема биографии писателя. Если кто-нибудь когда-нибудь станет составлять карту «Петербург Аверченко», то на ней будут преобладать координаты ресторанов! «Вилла Родэ», «Принц Альберт», «Медведь», «Фелисьен», «Пивато», ресторан гостиницы «Московская»… В каждом из них на стене около телефонного аппарата был нацарапан номер Аверченко. Его записывали на всякий случай друзья, которым часто приходило в голову вызвать Аркадия Тимофеевича, если подбиралась подходящая компания.

Однако слава заведения, в котором Аверченко был «магнитом», по праву будет принадлежать только знаменитому ресторану литературной богемы «Вена»! Он был открыт 31 мая 1903 года в бельэтаже на углу улиц Гоголя, 13 (Малой Морской) и Гороховой, 8. Владелец — Иван Сергеевич Соколов — пригласил на освящение самого Иоанна Кронштадтского!

Распорядок дня в «Вене» был такой: открытие ровно в полдень одновременно с выстрелом «петропавловской» пушки. До 15 часов подавали завтрак, после чего до 18 часов — обеды. Затем ресторан затихал, посетители разъезжались по театрам, концертам, редакциям, но к 23 часам возвращались. К полуночи столик достать уже было нельзя. Жизнь кипела до трех часов утра. Принципиально не было музыки, что позволяло спокойно общаться. По воспоминаниям современников, уходили из «Вены» неохотно. Все медлили. Только настойчивые просьбы самого Соколова заставляли посетителей подыматься с насиженных мест.

В меню были представлены русская, украинская, грузинская и другие национальные кухни. Многие блюда имели фирменное «Венское» качество («Венский пунш» со льдом, сосиски…). Весной подавали популярный коктейль «Майтранк»: белое вино в зеленоватых бокалах, на поверхности которого плавали листочки петрушки. Посетители имели право фантазировать, предлагать свои особые рецепты салатов, супов, мясных блюд. Изыски кухни

«Вены» вызывали стихотворные восторги, к примеру, Александра Куприна, который посвятил «венскому» хозяину следующие строки:

Известный гастроном, наш друг Иван Сергеев,
Губитель птичьих душ, убийца многих мяс,
Всех православных друг, но друг и иудеев
В заботах кухонных ты с головой увяз.
Случалося, над залой вскользь пореяв,
Он иногда кормил так изобильно нас,
Как женский монастырь не кормит архиреев,
И даже критиков кормил ты про запас!
Сконгломерировав актеров и поэтов,
Художников, певцов и прочих темных лиц,
Поистине собрал музей ты раритетов.
От имени мужчин, от дам и от девиц
Богема шлет тебе шестьсот и шесть приветов…
Нет… «Вена» все-таки столица из столиц!

В окрестностях ресторана располагалось множество редакций («Сатирикона» в том числе), поэтому в неформальной обстановке в «Вене» можно было увидеть всех тех, кто задавал тон в тогдашней литературе, музыке, театре, журналистике. Предприимчивый Соколов в рекламных объявлениях упирал именно на то, что любому посетителю гарантирована здесь «встреча с писателями и артистами». Вот как выглядела реклама «Вены» в «Сатириконе»:

ГДЕ БЫВАЮТ АРТИСТЫ И ПИСАТЕЛИ
ЗА ЗАВТРАКОМ, ОБЕДОМ И УЖИНОМ?
В ресторане «Вена»
улица Гоголя, 21. Телефоны 477–35, 29–65 и 182–22
Комфортабельные кабинеты Торговля до 3-х часов ночи

Илья Василевский (Не-Буква) говорил, что «будущий историк отметит особый „Венский период“ русской литературы». Поэт-сатириконец Евгений Пяткин даже взял себе псевдоним «Венский» в честь этого ресторана. Здесь бывали Блок, Горький, Маяковский, Андреев, Тэффи, Алексей Толстой, Арцыбашев, Северянин, Городецкий… С ними соседствовали Шаляпин, Собинов, «премьер» Александринки Николай Ходотов. Аборигеном ресторана был Куприн, который пировал здесь с «коноводом

литературной богемы» Петром Манычем, Коты-левым, Жакомино, Иваном Заикиным, Сергеем Уточкиным. В 1910-е годы по Петербургу даже ходила эпиграмма:

Ах, в «Вене» множество закусок и вина.
Вторая родина она для Куприна…

Аверченко до 1913 года жил через дом от «Вены» — в меблированных комнатах по улице Гоголя, 9. Он приходил в ресторан вечером, зачастую сбегая из дома от докучливых графоманов, газетчиков и поклонниц. Однако они поджидали его у входа и немедленно на него набрасывались.

Предприимчивый И. С..Соколов придумал для посетителей ресторана определенный ритуал: каждый должен был время от времени оставлять либо свой автограф, либо шарж, карикатуру, четверостишие, несколько тактов из новой песни или романса. Все это богатство поступало отнюдь не в «фонды», а с большим вкусом развешивалось на стенах всех четырех залов «Вены», образуя таким образом настоящий литературно-художественный музей, чьи «экспонаты» почти всегда были талантливой импровизацией… Так и сложились своеобразные «венские» афоризмы, которые были написаны на висевших в ресторане плакатах:

«Быть причастным к литературе и не побывать в „Вене“ — все равно, что быть в Риме и не видеть Папы Римского»;

«Ни в редакции, ни в конторе, ни на квартире не переговоришь так с нужным человеком, не отдохнешь так, как в „Вене“»;

«Если ты трубочист — то лезь на крышу, если пожарный — то стой на каланче, а если литератор или журналист — ступай в „Вену“»;

«Кто не пил вина, не любил женщин и не бывал в „Вене“, тот так дураком и умрет» и др.

Был среди них и афоризм Аверченко: «Утверждаю: тот, кто взамен „Вены“ захочет открыть себе „Артерию“ — будет глуп и безграмотен».

Эти высказывания в 1913 году были выпущены в виде набора открыток «Экспромты и наброски гостей „Вены“». В том же году Соколов решил издать иллюстрированный рекламный альбом «Десятилетие ресторана „Вена“. Литературно-художественный сборник». Книга вышла на мелованной бумаге формата in folio со множеством фотографий и факсимильно воспроизведенных автографов гостей ресторана, с их воспоминаниями и отзывами о встречах, шутками, посвящениями, каламбурами, эпиграммами и

карикатурами на постоянных посетителей. Одна из ее главок, написанная Петром Пильским, называлась кратко — «А. Т. Аверченко». Вот она:

«Аверченко — магнит „Вены“. Где Аверченко — там хохот, грохот, веселье, озорства и компания.

Юморист живет рядом с „Веной“, всего только через дом, и не было того дня, чтобы он не зашел в ресторан.

Сатириконцы напрасно ищут днем своего „батьку“, трещат в телефон, рыщут на извозчиках и моторах, из редакции в контору, в типографию, в театр, на квартиру.

Где он пропадает — неизвестно.

Но вечером Аверченко найти — штука нехитрая. По простоте души, как медведь, он ходит одной тропой, и всегда по вечерам его можно поймать в „Вене“. Тут он не увильнет ни от начинающего сатирика, ни от ловкого издателя, ни от южанина-антрепренера, и сатириконского батьку можно брать простыми руками.

Иногда русский Твен приходит один. Тогда его со всех сторон облипают, как мухи, не сатириконцы, его верноподданные, а просто беллетристы, поэты, артисты и художники.

Но большей частью он является во главе шумной, остроумной, грохочущей компании сатириконцев.

Тут — поэт людского безобразия, человеческой пошлости и пакости — высокий, тонкий, сдержанный Ре-ми; шумный, гремящий „коновод“ „галчонка“ Радаков, вечно веселый, всегда остроумный, всегда жизнерадостный… <…>

Сатирическая компания сразу занимает три-четыре столика, и немедленно же начинается несмолкаемый „дебош“. Остроты, эпиграммы, каламбуры сыпятся, как из громадного мешка. Одно пустяшное замечание, движение рукой, поза — все дает им тему для остроумия — легкого, свободного, ненатянутого.

Стихами сатириконцы говорят, как прозой.

Кто-то уронил часы под стол, поднял их и стал рассматривать. Красный серьезно дает рифмованный совет:

Теперь излишни ох и ах.
Но и дурак ведь каждый ведает:
Стоять возможно на часах,
Но наступать на них не следует.

Князев сообщает, что на днях у него выходит книга о народной поэзии — частушке[34].

Батька благодушно поощряет:

Твое творенье, милый друг,
Достойно всяких восхищений,
Недаром все кричат вокруг,
Что это целый воз хищений.

Шум вокруг столика стоит невообразимый. Голос Радакова слышен чуть ли не до выхода.

Художники, между тем, в балагурстве и празднословии обсуждают темы и рисунки для следующего номера, поэты и прозаики выслушивают „проказы“ батьки… Совершенно незаметно, шутя, составляется номер. Каждый знает, что ему нужно подготовить к четвергу.

Красный вскользь сообщает о том, что едет в Харьков в кабаре „Голубой Глаз“.

Батька высказывает соображение:

— Значит, харьковцы увидят бревно в своем „глазу“…

И оба чокаются ликером.

Прибывает публика после спектаклей. Разговор в зале становится общим. Остроты и экспромты летят из угла в угол и покрываются дружным хохотом.

Декадентский поэт читает свои новые стихи и заканчивает:

Мои стихи уйдут в века…

Сатириконский батька и тут добродушно кивает головой, но поправляет декадента-приятеля:

Твои стихи уйдут в века, —
Сказал ты это молодецки.
Но эти самые „W. К.“
Пиши ты все же по-немецки[35].

В интимном кружке на участников иногда нападает „стих“ Козьмы Пруткова, и тогда сверкают оригинальные афоризмы и блестки остроумия, на что особенно щедр сатириконский батька.

Храни заветы старины —
Носи со штрипками штаны… —

советует он В. К-ву, сидящему в слишком коротких брюках.

Дает общее наставление, смеется глазами, но, как истый

хохол-юморист, имея совершенно серьезное лицо:

Когда тебе безмерно любы
Литавры, лавры и почет —
Ты вынь глаза, возьми их в зубы
И плавно двигайся вперед…

Вася Регинин сентенциозно замечает:

Наплюй на жизнь слепых кротов,
Люби изломы линий,
Люби игру живых цветов,
А между ними „Синий“[36]…

Гасят люстры и лампионы, но никто еще не хочет уходить по домам. Все медлят. Нужны усиленные просьбы самого Ивана Сергеевича, и только напоминание о том, что официанты устали и барышни за буфетом падают от усталости, заставляют юмористов, беллетристов и поэтов подняться с насиженных мест.

На дворе бурлит вьюга. За снегом холодно мигают фонари. Несколько извозчиков и моторов нагружаются к Ходотову. Богема собирается куда-то на Фонтанку в чайную варить свежую уху с поплавка, остальные мирно разъезжаются по домам.

Сатириконцы с несмолкаемым хохотом провожают своего батьку до его подъезда и садятся в моторы» (Ирошников Ю. «Сконгломерировав актеров и поэтов…» (Ресторан «Вена»: из истории российской литературной богемы начала века) // Вопросы литературы. 1993. № 5).

Забавный эпизод из «венской» жизни вспоминал литератор Е. И. Вашков в рукописи «Литературные брызги», до сих пор не опубликованной[37]. Однажды разговор в компании перешел на тему, что легче писать — стихи или прозу. Поспорили Аверченко и поэт Александр Рославлев, колоссального роста и колоссальной же толщины человек, который часто повторял: «Я в литературу животом пройду».

— Прозу каждый отходник может писать! — заявил Рославлев.

— А стихи, — продолжил Аверченко, — даже Рославлев! Подумаешь, трудность какая — сочинять рифмованную дребедень!

— Попробуй, сочини!

— Изволь!

Аверченко тут же на скатерти написал: «Возле сена спит

собака, утомленная от дел, стережет его, однако, чтобы Р**о**рославлев не съел!» Все засмеялись, а Рославлев, пощипывая козлиную бородку, произнес:

— Глупо! Да это стихотворение и не кончено. Конец вот такой. «А Аверченко во мраке точно уж пополз под стог, к удивлению собаки слопал сена целый клок!»

— Вы, так называемые поэты, — продолжил Аверченко, — напоминаете мне простых наборщиков, только в кассе перед вами лежат не отдельные буквы, а готовые, захватанные многочисленными руками рифмы. Написал, например, «стол», и уже пальцы тянутся к готовому «пол», «весна» — «луна». В стихах должна быть виртуозность… Вот я вам сейчас задам рифму, так вы у меня зачихаете! Предлагаю гонорар — за каждую строчку — рюмку коньяку… Только я уверен, никто из вас и не понюхает этого коньяку…

— Ну, говори, — нетерпеливо перебил Рославлев, которому очень хотелось доказать свою виртуозность.

— Ну-с! Приготовляйтесь чихать, — произнес Аверченко, — вот вам слово — «прихоть».

— Чепуха! — уверенно сказал Рославлев. — Сейчас будет готово, а ты готовь коньяк.

Все наклонились над листами бумаги, придумывая рифмы.

— Есть! — весело воскликнул Рославлев и прочел:

У Кузьмы такая прихоть,
Если он напьется пьян,
То начнет по шее «быхать»
Всех своих односельчан.

Все с большим изумлением взглянули на торжествующего автора.

— А что же это за такое слово «быхать»? — спросил Аверченко. — Это, собственно, на каком же языке?

— Как на каком? — в свою очередь удивился Рославлев. — Конечно, на русском! Ты не слыхал такого слова?

— Не слыхал! И уверен, что никто не слыхал… Нет такого слова.

— Есть! — уверенно отрезал Рославлев. — Если ты не знаешь, то это еще ничего не значит! Мало ли ты чего не знаешь, ты вот, например, алгебры не знаешь, а алгебра все-таки существует! Открой словарь Даля, и ты там это слово найдешь.

— Нет там такого слова!

— Есть! Я тебе могу доказать…

— Врешь! Я тебе докажу, что врешь. Пиши сейчас же записку

своей жене, чтобы она отдала словарь — я за свой счет пошлю швейцара на извозчике взад и вперед. Если там такое слово есть, я вместо одной рюмки за строчку плачу по десяти! Пиши!

Рославлев замялся.

— Пиши! — настаивал Аверченко. — Или сознавайся, что это слово ты тут же сочинил.

Рославлеву ничего иного не оставалось, как сознаться, что такого слова действительно нет.

В другой раз Аркадий Тимофеевич публично объявил в «Вене», что подарит бутылку шампанского тому, кто подберет наиболее удачную рифму к его фамилии. Молодой писатель Лев Никулин, придя домой, набросал:

Ты поди уверь щенка, что
Мешает он Аверченко.

Однако эти строки ему самому показались не особенно удачными, и он так и не показал их Аверченко. Уже после революции Никулин как-то встретил Маяковского. Они разговорились, стали вспоминать былые дни, «Новый Сатирикон», и тогда Никулин продекламировал своего «щенка»… Маяковский поморщился и сказал:

— Плохо.

— Потому что «щ»? — спросил Никулин.

— Нет, потому что мягкий знак, — отшутился поэт.

Тем не менее Маяковский и сам тогда увлекся поиском рифмы к фамилии своего шефа. Когда нашел, продемонстрировал ее в стихотворении «Пустяк у Оки» (1915):

Нежно говорил ей —
мы у реки
шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки.
Будто наполнена Ока мышами.
А в небе, лучик сережкой вдев в ушко,
звезда, как вы, хорошая, — не звезда, а девушка…
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко…
Вы прекрасно картавите.
Только жалко Италию…»
Она: «Ах, зачем вы давите
и локоть и талию.

Вы мне мешаете
у камыша идти…»

Рифма «заверчен, как — Аверченко» вызвала неудовольствие одного из тогдашних критиков «Кокетнуть рифмой — это приятно. Но зачем на небе строчка из Аверченко? Не называй ее небесной и от земли не отнимай» (Без подписи. Воспарение // Журнал журналов. 1915. № 18).

Интересно, что почти аналогичную рифму подобрал и Василий Князев. Его вдохновил следующий случай: однажды ни свет ни заря поэт явился к Аверченко домой требовать гонорар. Аркадий Тимофеевич, никого не принимавший по утрам, к нему не вышел. Князев от злости чуть не разбил дорогую вазу и написал такие стихи:

Крючок приверчен ко
Двери. Дверь заперта. Чудесно!
Твори, Аверченко!
Твори!
Бумага бессловесна.

Кто у кого позаимствовал рифму — Маяковский у Князева либо наоборот, — утверждать не беремся, а возвращаясь к ресторану «Вена», скажем, что многим запомнились банкеты, которые Аверченко закатывал здесь на свои именины — 26 января. Ему пекли огромный торт с надписью шоколадными буквами «Аркадию Сатириконскому». Пиво Аверченко пил из собственной именной кружки. Однажды Соколов украсил место именинника цветами и за свой счет, в виде подарка, отпечатал юмористическое меню: «Закуски острые, сатириконские; водка горькая, как цензура; борщок авансовый; осетрина по-русски без опечаток; утка — не газетная; трубочки с кремом a la годовой подписчик».

Сегодня в бывших помещениях ресторана разместился мини-отель «Старая Вена» с тематическими номерами. Один из них посвящен А. Т. Аверченко.

Увлечения Аркадия Тимофеевича были разнообразны. Одно из них, о котором речь пойдет ниже, постепенно стало для него профессией. Это — театр.

## Старая театральная крыса

*Между корью и сценой*

*существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть.*

*А. Аверченко*

*Потребность в театре миниатюр присуща всякому народу.*

*А. Р. Кугель*[38]

Как мы уже знаем, первой публикацией Аверченко после приезда в Петербург стала театральная рецензия в «Стрекозе». К этому жанру он обращался и впоследствии, подписывая отзывы на спектакли псевдонимом «Старая театральная крыса». Аркадий Тимофеевич мечтал писать для театра, но имел для этого своеобразные возможности: во-первых, он был мастером малой формы, во-вторых, он был юмористом. Его талант был незаменим в театрах миниатюр, подражавших европейским кабаре. Репертуар этих заведений строился по принципу мозаичности, пестроты, коллажа. Главным требованием, предъявляемым к номерам, была зрелищность. Представления имели «кинематографическую» структуру — дробность, мелькание, монтаж. Жанр миниатюры, как его понимали в те годы, не был ограничен никакими рамками, подходило все: и маленькая драма, и водевиль, и оперетта, и рассказ в лицах, и бытовая картинка, и танцы, и акробатические номера…

Одноактные пьесы Аверченко шли на сценах петербургских Литейного и Троицкого театров миниатюр. Большой популярностью у петербургского зрителя пользовались его мини-комедии «Ключ» и «Старики».

«Ключ» был переделан из рассказа «Случай с Патлецовыми», созданного по мотивам реального забавного происшествия. Как-то ночью Аверченко весьма нетрезвый вернулся домой и обнаружил, что потерял ключ. Он долго стучал в дверь, надеясь, что откроет сосед по квартире. Отчаявшись, он отправился на извозчике в какую-то ночлежку искать «специалиста», который мог бы открыть дверь, не ломая ее. Ему указали на совершенно криминального типа, тут же согласившегося помочь. Обрадованный писатель хорошо заплатил ему за услугу. «Да, если что, приходите туда же. Всегда помогу — меня зовут Мишка Саматоха», — сказал необычный помощник.

Утром Аверченко рассказал о своем ночном приключении соседу. Тот очень испугался, что Саматоха вернется уже без приглашения, и умолял сообщить в полицию. Аверченко в тот же

день написал одноактную комедию «Без ключа» («Ключ»), не изменив имени главного героя. Эту пьесу он посвятил своей возлюбленной — актрисе Александре Яковлевне Садовской.

Пьесу «Старики», также переделанную из одноименного рассказа, с грустью вспоминали впоследствии русские эмигранты. «Разве забудешь <…> его бессмертных „Стариков“, архитектора Макосова и слугу Перепелицына, эту масляную в густых мазках почти скульптурную картину, — фигуры словно с квадратных маленьких полотен Маковского, но еще живее, экспрессивнее!» — восклицал Сергей Горный. Он же свидетельствовал, что у Аверченко была «ясность и благость (какая-то трогательная) к старости» (Горный Сергей. Памяти А. Т. Аверченко).

В миниатюре всего два действующих лица: барин, архитектор Макосов, и его старый слуга Перепелицын. Под воздействием алкогольных паров они выясняют друг с другом отношения. Претензии старческие, вздорные, но накипевшие! Одним из блестящих исполнителей роли Макосова был писатель Илья Сургучёв.

В Троицком театре миниатюр ставились пьесы Аверченко о детях, например «Нянька Галочка»: маленькая девочка, смышленая не по годам, устраивает личную жизнь своего старшего брата Кольки. С 1916 года роль Галочки талантливо исполняла актриса-травести Александра Перегонец. Ни один уважающий себя театрал не проходил мимо постановки «Няньки Галочки».

Аркадий Аверченко был дорогим гостем и в знаменитом петербургском театре «пародий и общественной сатиры» «Кривое зеркало», основанном в 1908 году Александром Рафаиловичем Кугелем и его женой, актрисой Зинаидой Холмской. Правда, Аверченко был несколько недоволен местоположением театра — на Екатерининском канале, между Вознесенским проспектом и Подьяческой, совершенно на отлёте, вдали от трамвайных линий. Приходилось ходить туда пешком. Зачастую, едва переступив порог и войдя в уютное фойе, Аркадий Тимофеевич слышал, как кричит в зрительном зале худрук театра Кугель.

— Наш «неистовый Рафаилыч» опять вышел из себя! — сообщал писателю актер, пробегающий мимо.

— Снова недоволен Унгерном?

— Да. Никак не могут найти общего языка.

В зрительном зале шла баталия. Режиссер театра, немец Унгерн, кричал присутствовавшей в зале Холмской:

— Зинаида Васильевна, благоволите освободить меня от работы в вашем театре!

— Что такое, Рудольф Альфредович? — беспокоилась

актриса.

Вместо ответа Унгерн показывал рукой на сидящего боком к сцене мрачного, с надвинутой на глаза шляпой, нервно грызущего палку, Кугеля.

— Я просил Александра Рафаиловича не вмешиваться в мою работу, не прерывать меня, а свои критические замечания высказывать в момент перерыва!

— Я и не прерываю! — отвечал Кугель, порывисто вскакивая с кресла. — Я по делу говорю!

— А почему ты сидишь, демонстративно отвернувшись от сцены? Ты не смотришь на сцену, — мягко замечала Холмская.

— Потому что на сцене происходит форменный бедлам! — кричал Кугель, жестоко избивая палкой ни в чем не повинное кресло. — Потому что актеры делают совершенно не то, что надо!

Появление Аверченко обычно несколько разряжало атмосферу. Все актеры собирались на сцене, чтобы послушать принесенную им пьесу. Это была традиция «Кривого зеркала»: каждая новая пьеса, помимо одобрения Кугеля, должна была получить одобрение труппы. Особенно «кривозеркальцы» любили аверченковскую миниатюру «Коготок увяз, всей птичке пропасть» — пародию на жанр «Grand Guignol».

Пьеса начиналась выходом Режиссера, который предупреждал публику, что будущая драма «носит такой тяжелый, потрясающий характер, что едва ли лица с расшатанными больными нервами смогут ее смотреть без тех нежелательных эксцессов, которые вызывают все вообще драмы типа Гран-Гиньоль», и просил нервных покинуть зал. Затем появлялся главный герой — помещик Смиренномудрое, приехавший в гости к Хозяину. Он произносил патетически-жалобный монолог над несчастной мухой, прилипшей к бумаге, а затем случайно душил Хозяина насмерть в своих объятиях. В ужасе сажал труп на подоконник и задергивал занавеску, кровавое пятно на полу прикрывал подушкой. После этого в комнату последовательно входили Хозяйка, Горничная, Кухарка, гости — он убивал всех, неизменно повторяя: «Какая пытка!» Когда убивать было уже некого, вновь появлялся Режиссер.

«**Смиренномудров** (*нетерпеливо*). Почему никто больше не идет?

**Режиссер**. Да некому больше и идти… Всех поубивали…

**Смиренномудров** (*шепотом*). Не может быть… Там еще кто-нибудь остался… (По привычке.) Какая пытка!..

**Режиссер**. Уверяю вас, никого… Не выпускать же мне вам театрального плотника…

**Смиренномудров** (*мрачно*). Где же остальные актеры?

**Режиссер**. Да все они вон и лежат на сцене… вся труппа.

**Смиренномудров** (*молчит, потом презрительно*). Ну и труппочка… Полтора человека…»

В работе «Кривого зеркала» некоторое время принимал большое участие режиссер Николай Евреинов — культовая фигура дореволюционного драматического искусства. Первая программа, поставленная им в этом театре в 1910 году, открывалась «Прологом», написанным Аверченко. Эта сценка долгое время предваряла спектакли. Перед закрытым занавесом выходил к зрителям одетый в обычный костюм человек, «лицо от театра», и принимался читать вполне серьезную лекцию об истории «Кривого зеркала». Если особенно не вслушиваться в содержание того, что он, этот лектор, говорил, то бессмысленный набор слов, искусно организованный в речевую ткань, вполне мог показаться связным научным сообщением. Едва сбитая с толку публика приготовлялась выслушать этот доклад, как внезапно голос из зала бесцеремонно обрывал докладчика, советуя ему «заткнуться и убираться к чертовой матери». В сущности, «Пролог» был инсценированным скандалом, который начинала «подсадка», а публике отводилась роль одного из его участников, о чем она в своем простодушии, разумеется, не подозревала.

Аркадия Тимофеевича привлекал и академический театр. Дружеские отношения связывали его с популярным в те годы актером Александринки Николаем Ходотовым. Роли Карандышева в «Бесприданнице» и Жадова в «Доходном месте» А. Островского, Пети Трофимова в «Вишневом саду» А. Чехова, Раскольникова и князя Мышкина в «Преступлении и наказании» и «Идиоте» Ф. Достоевского принесли Ходотову славу одного из самых талантливых и тонких артистов своего времени.

Кроме работы в «историческом» театре Ходотов занимался концертной деятельностью, выступая в жанре мелодекламации вместе с пианистом Евгением Вильбушевичем. Исполнял он и песни на стихи Николая Агнивцева, который уже в эмиграции посвятил актеру замечательные строки:

Когда тебя увижу, вдруг,
Вмиг под дрожащей пеленою
Весь старый пышный Петербург
Встает, как призрак, предо мною
……
И — всех встречающий дом твой,
Где не слыхали слова: «Тише!»
И — неразрывные с тобой
Александринские афиши!..

Аверченко был частым гостем в квартире Ходотова (сначала на Боровой, а затем на Коломенской улице), которая всегда была полна народу: здесь проходили чтения новых пьес, собирались актеры, писатели, журналисты, художники (А. Куприн, И. Бунин, Л. Андреев, В. Качалов, Л. Липковская, Ф. Шаляпин, К. Чуковский). Бывая у Ходотова, Аверченко любовался его огромной библиотекой, ведь собирание книг было второй, после театра, сильной страстью актера. Сегодня его коллекция хранится в отделе рукописей и редких книг Театральной библиотеки Санкт-Петербурга. Здесь есть книги с дарственными надписями сатириконцев: Евгения Венского («Николаю Николаевичу Ходотову — Евгений Венский»), Василия Князева («Николаю Николаевичу Ходотову от веселого сверчка»), Петра Потёмкина («Николаю Николаевичу Ходотову, благодарный за „Тантрис“ и просто уважающий Потёмкин»)[39].

Миниатюры Аверченко были настолько популярны, что их начали ставить и провинциальные театры, и московские. Например, в Харькове с 1909 по 1911 год работал «театр художественной пародии, сатиры и миниатюры» «Голубой глаз». Он имел с «Сатириконом» договор о сотрудничестве и строил свой репертуар на творчестве Аверченко («Рыцарь индустрии», «Пинхус Розенберг», «Жертва цивилизации», «День в редакции, или Чего никогда не было») и других сатириконцев: Н. Тэффи («Страшный кабачок»), Саши Чёрного («Русский язык»).

В Москве писатель сотрудничал с Никольским театром миниатюр, со знаменитым кабаре «Летучая мышь», с «Передвижным театром миниатюр» в подмосковном селе Богородском…

Руководителю Никольского театра замечательному артисту Якову Южному особенно удавался скетч Аверченко «Одесситы в Петрограде» («Диабет»), Московская публика от души хохотала над этой миниатюрой.

Итак, представьте себе. 1915 год. Идет война. В спекулянтском «кафе на Невском, где „все покупают и все продают“», свои, далекие от военных, заботы. Два еврея обмениваются любезностями:

«— А! Канторович! Как ваше здоровье?

— Ничего себе, плохо.

— Слушайте, Канторович… Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я сейчас, Гендельман, больше всего занимаюсь диабетом.

— Он у вас есть?

— Ого!

— И много?

— То есть как много? Сколько угодно! Могу вам даже анализ показать.

— Хорошо, посидите. Я сейчас, может быть, все устрою».

И предприимчивый Гендельман развивает кипучую деятельность: ищет посредников, вагоны, торгуется о цене на диабет, пишет куртажные расписки, звонит в военно-промышленный комитет… Пока, наконец, кто-то не охлаждает его пыла: «…я вам скажу, что вы, Гендельман, не идиот — нет! Вы больше, чем идиот! Вы… вы… я прямо даже не знаю, что вы! Вы — максимум! Вы — форменный мизерабль! Вы знаете, что такое диабет, который есть у Канторовича „сколько угодно“?! Это сахарная болезнь».

Однако москвичи любили посмеяться не только над слабостями одесситов, но и над своими собственными. Публика обожала скетч Аверченко «Московское гостеприимство» (1914), построенный на «усеченном» диалоге:

«— А! Кузьма Иваныч!.. Как раз к обеду попали… садитесь. Что? Обедали? Вздор, вздор! И слушать не хочу. Рюмочку водки, балычку, а? Ни-ни! Не смейте отказываться… Вот чепуха… Еще раз пообедаете! Что? Нет-с, я вас не пущу! Агафья! Спрячь его шапку. Парфен, усаживай его! Да куда ж вы? Держите! Ха-ха… Удрать хотел… Не-ет, брат… Рюмку водки ты выпьешь! Голову ему держите… вот так! Рраз!.. Ничего, ничего. На вот, кулебякой закуси. Что? Ничего, что поперхнулся… Засовывайте ему в рот кулебяку. Где мадера? Лейте в рот мадеру! Да не рюмку! Стакан! Что? Не дышит? Ха-ха… Притворяется… Закинь ему голову, я зубровочки туда… Вот так! Парфен! Балыка кусок ему. Да не весь балык суй, дурья голова. Видишь — рот разодрал… Не проходит? Ты вилкой, вилкой ему запихивай. Место очищай… Так. Теперь ухи вкатывай… Что? Из носу льется? Зажми нос! Осетрину всунул? Пропихивай вилкой. Портвейном заливай. Ха-ха. Не дышит? А ты вилкой пропихни. Что?.. Ну, возьми подлиннее что-нибудь… Так… Приминай ее, приминай… Что? Неужто же не дышит? (Пауза.) Ме-ертвый! Ах ты ж оказия! С чего бы, кажется… Ну, как это говорится: царство ему небесное в селениях праведных… Упокой душу. Выпьем, Парфен, за новопреставленного».

Аверченко, как уже было сказано, сотрудничал и с московским кабаре «Летучая мышь» (1908–1918). Оно возникло из пародийно-шуточных представлений на «капустниках» Московского Художественного театра. Идея пришла в голову конферансье Никите Балиеву. Сначала «Летучая мышь» была закрытым кабаре артистов Московского Художественного театра,

куда допускался лишь узкий круг приглашенных зрителей. С 1910 года «Летучая мышь» стала ночным театром-кабаре для платной публики, а с 1912-го — театром миниатюр с ежевечерней большой программой.

С 1915 года Аркадий Тимофеевич с удовольствием посещал «Летучую мышь», которая переехала в подвал первого московского небоскреба — «дома Нирнзее» в Большом Гнездниковском переулке, 10. Аверченко одинаково восхищал и сам дом, который имел десять этажей, и великолепный ресторан у него на крыше.

Атмосферу проводимых в «Летучей мыши» вечеров описывал Иван Бунин в «Чистом понедельнике» (1944). Герои рассказа рассматривают «актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, <…> большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, — оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан <…> Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка».

В этом кабаре служила Мария Марадудина — первая в России женщина-конферансье. Она имела амплуа интеллигентной женщины, несколько склонной к эксцентризму. Появлялась на сцене в вечернем платье, с подкрашенными ярко-рыжими волосами, играя гостеприимную хозяйку, пригласившую гостей-зрителей. Чтобы им было интересно, рассказывала анекдотические истории, главным образом бытового содержания. Остроумно отвечала на реплики, поступавшие из зала. Создавалось впечатление, что эти разговоры ведутся экспромтом, хотя на самом деле они готовились заранее. Представляя артистов, Марадудина характеризовала их преимущественно с бытовой точки зрения.

Эта актриса очень дружила с Аркадием Аверченко (их дружба продолжится до конца его жизни). После представления она подсаживалась к писателю за столик и рассказывала забавные истории об общих знакомых. Одну из них записал Корней Чуковский в одном из модных игорных домов. Марадудина носила красивое кольцо с самоцветом, который называла сапфиром, а Куприн настаивал на том, что это желтый топаз. Они поспорили. Условия пари были закреплены в специальном документе, надиктованном Куприным Чуковскому: «Пари между А. И. Куприным и М. С. Марадудиной. Он, Куприн, утверждает, что камень, который она, М. С. Марадудина, носит на пальце, — желтый топаз. Она же в дерзостном и яростном ослеплении

утверждает, что камень этот — желтый сапфир. Выигравший требует с проигравшей стороны все, что хочет». Ниже — рукой Куприна: «Сие моей подписью удостоверяю. А. Куприн». Экспертиза установила, что камень — действительно топаз. Как именно проигравшая выполнила условия пари, история умалчивает.

Мария Марадудина была добрым другом Аверченко, а ведущей актрисой «Летучей мыши» Еленой Маршевой он некоторое время был увлечен (или она им). Он хранил ее портрет с достаточно интимной дарственной надписью: «Любимому, остроумцу, радующему душу и ухо, очаровательному мужчине, вкусно и волнующе пахнущему, радующему тело!»[40]

Маршева была замужем за племянником Саввы Морозова. Современники восхищались талантом этой актрисы: «У Маршевой — выразительный танец. Она то представляет севрскую статуэтку со старинных часов, то первая в сюжете синих Пьеро, одном из счастливых номеров „Мыши“, где столько увлекательной легкости, пленительной выдумки и веселой игры. Она же героиня „Похищения Европы“ — оживленного осколка античной вазы, она же негритенок» (Эфрос Н. Театр «Летучая мышь» Н. Ф. Балиева. 1908–1918. М., 1918).

После октября 1917 года Елена Маршева прошла тот же путь, что и Аверченко: бежала в Ростов-на-Дону, Харьков, Крым, а затем за границу.

Дружба с артистами и хорошее знакомство с законами сценического искусства позволили Аверченко и его сатириконцам устраивать собственные костюмированные балы! Начиная с 1909 года они арендовали для этой цели зал Дворянского собрания. В оформлении праздничного интерьера участвовали все художники «Сатирикона». Вместе с Аверченко они придумали развесить огромных картонных паяцев, от которых к публике спускались веревочки. Танцующие непрерывно дергали за них и создавалось впечатление всеобщей беспрерывной пляски. Сатириконские балы, по словам очевидца, «по уморительному убранству, занятным выдумкам мало уступали знаменитым парижским балам „Кам-з-ар“» (Хохлов Е. А. «Сатирикон» и сатириконцы // Русские новости. 1950. № 257).

Корнфельд вспоминал: «Бал „Сатирикона“ был событием, которое на следующий день подробно описывали все газеты. Все наши художники и наши друзья — артисты-комики всех петербургских театров приняли деятельное участие в декорации танцевального зала, в приеме гостей и художественно-артистической программе. Гвоздем нашей программы была постановка нового балета: „Карнавал“ Шумана в постановке

знаменитого балетмейстера Михаила Фокина, в оригинальных костюмах и декорациях Бакста и в исполнении артистов императорского балета, причем Арлекином был сам Фокин, Коломбиной — очаровательная Тамара Карсавина, а роль Пьеро (этому трудно поверить!) согласился взять на себя Мейерхольд (это было единственным в его жизни выступлением в балете)» (Корнфельд М. Г. Воспоминания).

Несколько иначе об этом же событии вспоминал художник Анненков: «Роль Пьеро <…> должна была остаться драматической, пантомимной, а не балетной, и <…> решили обратиться к Мейерхольду. Мейерхрльд <…> с удовольствием принял предложение». Сотрудничество с будущим великим режиссером не помешало, однако, Аверченко в 1910 году раскритиковать его спектакль «Шут Тантрис»: «…действующие лица все глупеют, дичают и поступки их постепенно лишаются простой здравой человеческой логики и смысла» («Шут Тантрис»).

Актерская среда быстро «засосала» редактора «Сатирикона». Он чувствовал себя за кулисами как рыба в воде и посвятил здешним нравам немало произведений («Преступление актрисы Марыськиной», «Подмостки», «Мой первый дебют»).

Аркадий Тимофеевич выделял три симптома заболевания сценой: исчезновение растительности на лице, маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и бредовую склонность брать у окружающих деньги без отдачи. Самому ему не было свойственно лишь последнее.

В биографии Аверченко можно выделить две стадии театральной «болезни»: первая — публичные выступления с чтением своих рассказов, вторая — участие в постановках по собственным пьесам в качестве актера (этим пришлось заниматься в эмиграции).

О публичных выступлениях Аркадия Аверченко (например, в Большом зале Благородного собрания, в московском литературно-художественном кружке) сохранились многочисленные отзывы. Большинство из них — негативные. Они свидетельствуют о том, что писатель читал свои рассказы тихо и невыразительно, явный дефект речи мешал восприятию, не удавались ему и речевые имитации (например, еврейский акцент). Неприятие у публики иногда вызывал и внешний вид Аверченко. Коллеги писателя (например, Зозуля) считали, что он заразился от актеров дурновкусием в одежде: «…они (актеры. — В. М.) узнали его слабую сторону и пользовались ею вовсю. Аверченко — очень неглупый и жизненно опытный человек — поддавался лести, как подвыпивший купчик. Правда, надо было знать, как льстить ему <…> Он расцветал, когда ему говорили, что он удивительно

ловко носит фрак (а фрак сидел на нем не так уж грациозно), что у него вкус к материям, костюмам, обуви, что он понимает толк в яствах, в винах, в светской жизни, в великосветских порядках… Тут он „таял“ от удовольствия. Ему, севастопольскому мещанину, получившему „великосветское образование“ в дешевых кабачках <…> — ему это льстило» (Зозуля Е. Д. Сатириконцы).

Обратим внимание на описание внешнего вида писателя образца 1914 года: «Когда глядишь из зрительного зала на сцену, на г. Аверченко, одетого в модный фрак с огромной розой в лацкане и в ажурных носках, то кажется, что перед глазами „душка“ опереточный тенор». Или другой отзыв того же времени: «Бинокль позволил мне разглядеть Аверченко и навсегда запомнить его <…> На нем была визитка, брюки в полоску, лаковые башмаки, серые гетры» (Поляновский М. А. Аверченко в советском телевидении).

Многие вспоминают, что в петлице всегда был цветок (это подтверждают и фотографии).

Выступления Аверченко иногда проваливались. Об одном таком случае вспоминал И. И. Шнейдер, помощник известного импресарио В. Н. Афанасьева:

«Летом 1915 года в Пятигорске после вечера юмора Аркадия Аверченко мы сидели с ним и Афанасьевым в ресторане пятигорского вокзала. Аверченко был мрачен. Две бутылки белого вина были выпиты. Разговор не клеился. На вечере Аверченко, как всегда, плохо читал свои полные юмора рассказы…

— Вот Лермонтов, — сказал он, — жил здесь долго, любил, страдал, ссорился, веселился. Здесь и погиб. Но вот не приходило же ему в голову устроить „вечер поэзии Лермонтова“… Шума здесь много, а скучно. Ночь теплая, а душа индевеет… Пойти бы на место дуэли Лермонтова и там застрелиться…»[41]

Но остались и положительные отзывы о выступлениях писателя. Вот один из них, принадлежащий украинскому журналисту Н. Полотаю: «Аверченко вышел на сцену и стал, как всегда, спокойно читать фельетон про одного сахарного спекулянта, а потом про дурака-городового. Публика заливалась смехом. Сам же Аверченко при чтении никогда не смеялся, только озорно поблескивали стекла его пенсне. После одной остроумной фразы раздались аплодисменты. Смеялись и хлопали все, кроме пристава, который жил на нашей улице. Он сидел красный, как рак, сконфуженно крякал и, видимо, пытался что-то сказать. Потом вдруг встал и, нарочито громко стуча сапогами и шашкой, двинулся к выходу. Когда он проходил мимо сцены, Аверченко шутливо скрестил на груди руки, слегка поклонился и, проводив пристава снисходительным взглядом, сказал приглушенно в

публику: „Не извольте беспокоиться, их сиятельство изволили торжественно отбыть по естественной полицейской нужде“» (цит. по: Шевелев Э. На перекрестках, или Размышления у могилы Аркадия Тимофеевича Аверченко // Аврора. 1987. № 3).

Возможно, Аверченко-чтец и был плох, но Аверченко-сценарист был популярен и всенародно признан. Когда он входил в зал Литейного театра, вся публика почтительно вставала…

Картина богемно-артистической жизни Петербурга 1910-х годов будет неполной без упоминания клуба-кабаре «Бродячая собака», открытого в ночь с 31 декабря 1911 года на 1 января 1912 года в подвале дома номер 5 на площади Искусств. Как и большинство кабачков-кабаре Западной Европы, российская «Бродячая собака» стала порождением романтических антибуржуазных настроений на буржуазной почве. Петербургская богема искала себе пристанища, где могла бы спастись от окружающих хаоса и дисгармонии. Таким пристанищем и стала знаменитая «Собака», просуществовавшая до 1915 года. В немыслимой тесноте погребка, душного и прокуренного, рождалось совершенно новое ощущение — свободы, тесной братской связанности с другими. Для веселого времяпрепровождения богеме нужны были деньги, ради которых на вечера «Собаки» приглашались богатые люди, далекие от искусства, но желавшие к нему «примазаться». Их в кафе презирали, называли «фармацевтами»[42], но терпели.

В кабаре собирались литераторы разных направлений — и футуристы, и акмеисты: В. Каменский, А. Кручёных, Б. Лившиц, В. Гнедов, В. Маяковский, В. Хлебников, Н. Гумилёв, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Кузмин, С. Городецкий. Граф Алексей Николаевич Толстой являлся одним из соучредителей.

Сатириконцы имели к «Собаке» самое непосредственное отношение. Петр Потёмкин был одним из активных участников мероприятий клуба. Вместе с женой, актрисой «Кривого зеркала» Евгенией Хованской, он часто исполнял в «Собаке» пародийные танцевальные номера. Постоянными посетителями были Радаков (он работал также сценографом и оформлял ширмы для выступлений Маяковского) и Тэффи. Они агитировали Аверченко сходить в «Собаку», но он отнекивался, потому что к этому времени далеко ушел от богемной роли «бродячего пса».

Все же в один из зимних вечеров Аркадий Тимофеевич с верным Ре-Ми, идя по Невскому, решили заглянуть в подвал на площади Искусств. Вход им преградил огромного роста оборванный человек в пенсне, который завопил во всю глотку:

— Фармацевтов не пускаем!!!

— Кого? — переспросил вежливый Ре-Ми.

— Фармацевтов!!! — негодовала загадочная фигура, в которой Аверченко начинал узнавать музыканта Николая Цыбульского по прозвищу «граф Оконтрер». — Фармацевтам нельзя!!! Также не пускаем Регинина и Брешко-Брешковского!!! Вы кто такие?!!

На минуту в душе Аркадия Аверченко проснулся отчаянный севастопольский мальчишка-хулиган и он со всей мочи дал Цыбульскому в ухо. Ре-Ми подключился. Началась драка — настоящее «ледовое побоище». Летели глыбы снега, бросались галошами. Цыбульскому разбили пенсне, от чего он протрезвел и понял свою ошибку.

Заглаживать вину перед Аверченко пришлось «хунд-директору» «Бродячей собаки» Борису Пронину, который просил ходатайствовать за себя Тэффи. «Потом все это уладилось, — вспоминал он, — так как Тэффи была всецело наша, бывала на собраниях, „Собаку“ очень любила; и потом Радаков и Ремизов стали частыми гостями, а Саша Чёрный и Аверченко заходили изредка» (цит. по: Шульц мл. С. С., Склярский В. А. Бродячая собака. СПб., 2003. С. 105).

С этих пор заманить редактора «Сатирикона» в подвал можно было разве что чем-то чрезвычайно экзотическим. Такой «приманкой» были для него футуристы. Однажды писатель получил официальное письмо с эмблемой «Бродячей собаки» (пес, поставивший правую переднюю лапу на античную маску) — его приглашали на вечер футуропоэзии. Среди выступавших Аверченко особенно привлек Василиск Гнедов — один из первых «Председателей земного шара», как его называл наряду с собой Велимир Хлебников. Аркадий Тимофеевич предвкушал веселый вечер.

К одиннадцати часам он спускался по узкой крутой лестнице под навесом, которую освещал красный фонарь. В гардеробной Аверченко встретил сам Борис Пронин. Он со всеми был на «ты»:

— Здравствуй, Аркадий Тимофеевич, — гостеприимно распахнул он объятия. — Как живешь? Что тебя давно не видно? Заходи, наши все собрались.

Пронин четко выдерживал основную концепцию общения в «Собаке» — «все между собой считаются знакомы».

Прежде чем войти в основной зал кабаре, Аверченко задержался у конторки, на которой лежала «Свиная книга». В ней посетители оставляли свои автографы, поэты — экспромты, художники — зарисовки. Эту книгу придумал и принес в подвал Алексей Толстой. На первой странице Аверченко увидел его стихи:

Поздней ночью город спит.
Лишь котам раздолье.
Путник с улицы глядит
В темное подполье…

Аркадий Тимофеевич занял свое место за круглым столом, над которым висела необычная люстра: деревянный круг с тринадцатью свечами на цепях. На этот круг были небрежно наброшены длинная белая перчатка и черная бархатная полумаска.

На эстраде в правом углу зала появился Василиск Гнедов и закричал:

Приползу к вам наглокрикий
Мрака бесного жилец,
Маяковисто великий,
Гнедопупистый и дикий,
Я Крученовасиликий
На все руки молодец.

Аверченко хохотал. «Поэму конца! Поэму конца!» — просил он Гнедова.

Гнедов объявил: «Поэма конца!» и сделал серьезное лицо. Он быстро поднял перед волосами и резко опустил руку вниз, а затем вправо вбок! Что поделаешь: слов в этой поэме не было…

Аркадий Тимофеевич не всегда был в «Собаке» зрителем. 21 ноября 1913 года в качестве русского «короля смеха» он был приглашен конферировать на вечере встречи с французским «королем смеха» — кинокомиком Максом Линдером.

Сколько раз Аверченко видел на киноэкране этого невысокого элегантного человека со щегольскими усиками! Фильмы с его участием — «Макс в опере», «Макс ищет невесту», «Макс идет напролом» — смотрел весь Петербург. И вот теперь он встречает его в «Бродячей собаке»!

Как только Линдер появился на пороге, Аверченко подал знак и публика начала скандировать:

Мама-киндер,
Браво, Линдер!
Браво, Макс!
Так-с!

Аркадий Тимофеевич, провожая гостя к почетному креслу, невольно стал причиной разочарования публики в киногерое. Линдер хотя и носил высокие каблуки, но при росте 1 метр 58 сантиметров рядом с очень высоким Аверченко смотрелся невыразительно.

Аркадий Тимофеевич любил французскую кинокомедию и мечтал о появлении этого жанра в отечественном кинематографе. Мечтали об этом и первые русские кинорежиссеры. Московская фирма «А. А. Ханжонков и К°», выпустившая в 1911 году первый русский «блокбастер» «Оборона Севастополя», в 1912 году заключила с Аверченко и Тэффи договоры о написании сценариев для кинокомедий. Год спустя Аркадию Тимофеевичу довелось самому сниматься в кино. Ханжонков устроил импровизированную охоту в местечке Тосно под Петербургом и пригласил в качестве охотников российских литераторов. Выбор пал на тех из них, кто не умел стрелять и никогда не держал в руках ружья. Аверченко был одним из них. Для съемок заблаговременно были заготовлены полушубки, валенки, ружья и все необходимое для охоты на лосей. Инсценировались картины сговора, привала, стойки, загона, возвращения. Отснятый материал вошел в комедию «Корифеи русской литературы на охоте».

В 1914 году комедию «Блюститель нравственности» по сценарию Аверченко снял Яков Протазанов, впоследствии прославившийся как мастер сатирического кино.

Год спустя Аркадий Тимофеевич заключил договор о сотрудничестве с московским «Товариществом Венгеров и Гардин», имевшим кинопавильон на крыше уже знакомого нам «дома Нирнзее» в Большом Гнездниковском переулке, 10. В этом павильоне были сняты две комедии по сценариям Аверченко — «Без пуговиц» и «Торговый дом по эксплуатации апельсиновых корок», — причем в одной из них он снимался сам. В конце 1916 года Гардин и Венгеров поссорились: первый вышел из товарищества, а второй в 1918 году, успев спасти оборудование и негативы, эмигрировал в Германию. Кто знает, где теперь фильм с участием Аркадия Тимофеевича?

Любовь Аверченко к кинематографу и театру органично сочеталась с увлечением актрисами. Его «театральные романы» обсуждал весь Петербург.

## Александра Садовская

*Страшная штука — женщина, и обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой.*

*А. Аверченко*

Сегодня уже невозможно установить, когда и при каких обстоятельствах писатель познакомился с актрисой Александрой Яковлевной Садовской. Не подлежит сомнению одно: в 1912 году их роман был в полном разгаре. Вышедший в том же году сборник рассказов Аверченко «Круги по воде» имел посвящение этой женщине. Это о многом говорит: писатель счел необходимым открыто заявить о своем увлечении, несмотря на то, что его возлюбленная была замужем.

Муж Садовской, Анатолий Левант, некоторое время работал антрепренером Нового драматического театра (улица Офицерская, 39), в труппе которого с 1908 по 1911 год играла его жена. На сцене этого театра и мог увидеть Садовскую Аверченко.

Если условно считать датой начала их романа 1912 год, то ему тогда было 32 года, а ей 24. Несмотря на молодость, Александра Яковлевна многое пережила. Вот что она рассказывала о себе:

«Родилась я в г. Казани в 1888 г. Детство мое прошло в мрачной обстановке скитов. С двух лет я почти не виделась с отцом. Студент Казанского университета, он, по настоянию деда, принужден был бросить занятия и уехать в Петербург в поисках работы. Я была оставлена на попечении бабушки и жила у нее до 14 лет. Приехав в Петербург, я была ошеломлена совсем новым и чуждым миром. Среди знакомых и товарищей отца было много актеров и писателей — земляков-казанцев. Таким образом, я встретилась с Е. Н. Чириковым, автором „Евреев“, Найденовым, автором „Детей Ванюшина“. Жилось нам с отцом трудно. Он едва сводил концы с концами, служа в какой-то меховой фирме и получая грошовое жалованье. Отца, конечно, очень угнетала моя дикость и безграмотность. Он чувствовал себя виноватым передо мной за то, что, сам неверующий, свободный от религиозных предрассудков, он сумел вырваться из своей среды, а меня оставил там. Средств и возможности у него не было, чтобы дать мне образование в гимназии. Но, на мое счастье, моя двоюродная сестра занялась моим воспитанием и кое-как подготовила меня к 5 классу гимназии.

Мне не было еще 17 лет, когда мой отец умер. Через полгода после его смерти я вышла замуж. Муж был доктором и культурным человеком, любившим искусство. Он много мне помогал в моем развитии. Непродолжительные поездки за границу расширили мой кругозор. Посещение музеев и театров Парижа и других европейских городов оставило огромный след и обогащало воображение. И я стала уже по-настоящему готовиться к сцене. В театральную школу я поступить не могла, так как обязательное для этого гимназическое образование мое не было закончено.

Я начала брать уроки сценического искусства у Ев. Пав. Карпова[43], а позднее и у Ан. Пав. Петровского, у которого была своя студия. И я вместе с его учениками брала уроки пластики, танцев и слушала лекции.

В 1908-м я выступила уже как актриса в театре <…> (на Мойке, бывший театр Яворской), где режиссером был Е. П. Карпов. Первая же роль в пьесе „Их четверо“ <…> обратила на себя внимание театральной общественности. А. Р. Кугель в „Театр и искусстве“ написал хороший отзыв обо мне. И другие журналы и газеты тоже откликнулись доброжелательно <…> Начала я свою артистическую деятельность среди больших мастеров того времени — П. В. Самойлов, Н. Н. Рыбников, Д. А. Александровский, Т. С. Свободин. С пьесой „Их четверо“ меня приглашали на гастроли в провинцию. Мне пришлось играть в Ростове-на-Дону <…> Следующий сезон я служила в Новом драматическом театре. <…>

С 1910 г. по 1923 г. я работала в Павловске в железнодорожном театре. Павловск — это был филиал Александринского театра, где работа шла под руководством А. П. Петровского <…>» («Автобиография А. Я. Садовской»).

Роман Аверченко с Садовской протекал бурно. Вот они, закутавшись в шубы, мчатся вдвоем в «моторе» по Каменноостровскому проспекту в сторону Черной речки. Здесь, на севере столицы, их ждут пиршественный стол и крахмальные скатерти зимнего кафешантана «Вилла Родэ». На самом деле, это никакая не вилла, а обыкновенный ресторан с румынским оркестром, приглашенными знаменитостями артистического мира, коньяком и шампанским. Сколько раз они видели здесь Распутина, Александра Блока. Аверченко, склонившись к Садовской, читает ей стихотворение Блока о «Вилле Родэ»:

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале

Золотого, как небо, аи[44].

Аверченко у входа встречает сам хозяин — Адольф Родэ — и ведет к столику. С Аркадием Тимофеевичем многие посетители раскланиваются, а Садовскую провожают глазами, ведь у ресторана — дурная репутация. Считается, что дамам бывать здесь неудобно. (Корней Чуковский и первая жена Куприна Мария Карловна Давыдова вспоминали, что в «Вилле Родэ» имелся «первоклассный притон», весьма популярный среди «золотой молодежи».) Как видно, репутация Аверченко служит для Садовской хорошей гарантией.

Их любовная связь быстро переросла и в творческий союз. Весной 1912 года они вместе гастролировали в Одессе, Кишиневе, Киеве, Ростове-на-Дону, Харькове (здесь Аверченко наверняка показывал Садовской места своей юности).

Два года спустя, в мае 1914 года, они вновь едут вместе на гастроли по Волге. Выступают в Рыбинске, Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске, Самаре, Сызрани, Саратове, Царицыне, Астрахани.

О том, как вел себя Аверченко по отношению к Садовской, оставила воспоминания Тэффи:

«Аверченко был молодой, красивый и приятный и, конечно, немало времени отдавал жизни сердца. Он долго дружил с милой актрисой Z, но, конечно, не был суров и по отношению к другим поклонницам своего таланта. Среди них оказалась очень видная представительница петербургского демимонда, прозванная „Дочерью фараона“, потому что отец ее был городовым, а у нас тогда городовые носили кличку фараонов. Эта „Дочь фараона“ часто бывала за границей, много читала и выровнялась в светскую даму.

Как-то Аверченко сговорился с ней позавтракать. Сказал своей актрисе, что у него очень важный деловой завтрак. И вот как раз, когда он под ручку с „Дочерью фараона“ входил в ресторан, мимо проезжала на извозчике та самая актриса и увидела их.

— Вы говорили, что у вас деловое свидание? Так вот, я видела, с каким деловым человеком вы пошли в ресторан! — укоряла его Z.

— Видели? — невинно спросил Аверченко. — Чего же тут удивительного. Эта дама и есть тот деловой человек, с которым мне очень важно было поговорить. Она ведь… очень известная… это самое… она антрепренерша нескольких театров на юге… то есть в Харькове, в Ростове… и вообще. Уговорил ее поставить мои

пьесы.

— Антрепренерша? — оживилась актриса. — Ради Бога, познакомьте меня с ней. Я мечтаю поиграть один сезон в Харькове.

— Ну конечно, с удовольствием. Только она сегодня утром уже уехала…

Актриса очень сожалела.

Месяца через три были именины Аверченко, которые он всегда многолюдно праздновал в ресторане „Вена“. <…> Среди гостей оказалась и „Дочь фараона“. Она поднесла имениннику золотой портсигар с бриллиантовой мухой — ну как же можно было не пригласить такую „поклонницу таланта“.

Но тут произошел неожиданный пассаж. Как только вошла в кабинет актриса Z., так тотчас же и узнала знаменитую антрепренершу всех южных театров. Сейчас же подсела к ней и начала очаровывать. Как выкрутился из этой истории Аверченко, он мне не рассказывал, но, очевидно, „вырвался“ благополучно, или выручил кто-нибудь из друзей» (Тэффи. Мои современники).

Видимо, отношения Аверченко и Садовской не были безоблачными: у него бывали увлечения другими женщинами, иногда он был подвержен переменам настроения. По воспоминаниям Ефима Зозули, однажды Аверченко сказал ему: «Знаете, Зозуля, я не хвастун, но я много хорошего получил от жизни: хлебнул я и славы, знал и знаю женщин, товарищи относятся ко мне прекрасно, денег у меня более, чем достаточно, могу позволить себе все, что хочу… Но, знаете, Зозуля, о чем я мечтаю, как о единственном высшем счастье? О, если бы мне удалось это осуществить! Я был бы счастлив, если б мог построить большую яхту, какое-то судно для океанского плаванья, которое управлялось бы несколькими людьми, и чтобы я был один на этом судне, совершенно один… Верьте, годами не пристал бы к берегу… Серьезно».

Аверченко мог нанять извозчика и часами один колесить по Петербургу, наблюдая его жизнь. Ездил на стрелку Елагина острова любоваться закатом. Мог купить букет фиалок и радоваться, как ребенок, красоте цветов. Иногда на него накатывало мистическое настроение, и тогда квартира наполнялась иконами и запахом ладана…

Роман Аверченко и Садовской был длительным, но все-таки они расстались. Почему? На этот вопрос писатель сам отчасти ответил в рассказе «Бритва в киселе» (1915). Герой его, литератор Ошмянский, — медлительный и ленивый философ, очень напоминающий автора. Его всячески пытается женить на себе драматическая артистка Бронзова, деятельная и инициативная.

Он вроде бы ей и не возражает, но ничего и не предпринимает. В конце концов, она кричит: «Помнишь, я при первом знакомстве назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я — бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право — руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни… Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное — но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!»

Наши длительные поиски хоть каких-нибудь дополнительных сведений о Садовской неожиданно привели в Оренбург. Оказалось, что с 1934 года актриса работала в местном драматическом театре имени М. Горького, в музее которого сохранились о ней материалы. Директор музея Мария Николаевна Рябцева сообщила, что Садовская оставила огромный след в жизни театра. О ней и по сей день рассказывают молодым актерам и гордятся ею не менее, чем тем, что в 1952–1953 годах в театре играл Леонид Броневой. (Здесь будущему шефу гестапо из фильма «Семнадцать мгновений весны» предложили сыграть роль молодого Владимира Ульянова в спектакле «Семья».)

— Да, это наша Садовская, — рассказала Мария Николаевна. — Мы совершенно случайно узнали о ее романе с Аверченко. Она конечно же всю жизнь скрывала… Об их связи мы узнали от Олега Евгеньевича Милохина, мать которого — актриса петербургского театра «Фарс» Лидия Ивановна Куровская — в 1914–1917 годах встречалась с Садовской и Аверченко в ресторане «Вилла Родэ». Спустя многие годы Куровская, как и Садовская, оказалась в Оренбурге. Две женщины часто общались и вспоминали Петербург.

Материалы, которые предоставила в наше распоряжение Мария Николаевна, позволили в общих чертах восстановить картину жизни Александры Садовской после революции. Наиболее подробные сведения содержатся в «Автобиографии», которую уже приводили выше и приводим далее в незначительном сокращении:

«Там (в Павловском театре. — В. М.) я работала до революции, а с приходом советской власти я оставалась во главе этого дела и одновременно я работала как заведующая художественной частью при детскосельском[45] политпросвете, куда меня направила на работу М. Ф. Андреева, кот<орая> в то время возглавляла зрелищные предприятия Петрограда. Кроме

того, с 1918 до 1921 г. очень часто была в культурно-просветительных поездках по Сев<еро>-Западному Краю <…> В 1920 г., обслуживая военные части Сибирского полка около Витебска, мне выпало большое счастье встретиться с Михаилом Ивановичем Калининым. Перед нашими концертными выступлениями проводились митинги, которые вел Михаил Иванович. Его простота, чудесное товарищеское отношение к нам, актерам, надолго остались в моей памяти.

С 1923 г. я уехала из Ленинграда на периферию и работала во многих городах и не всегда стремилась в крупные центры. Я была в Пскове, Саратове, Астрахани, Уфе, Челябинске, Ашхабаде, Иваново-Вознесенске, Оренбурге, Кузнецке, Рыбинске, Муроме, Вятке, Чебоксарах, Саранске и опять Оренбурге (ныне Чкалове), где я уже работаю 11-й год и где меня избрали депутатом Горсовета. Мне приходилось очень много обслуживать заводов и фабрик в районе Горький, Ярославль и Рыбинск. Во всех сезонах я занимала ведущее положение героини» (1945 год).

В годы Великой Отечественной войны актриса тоже была в строю. Вот что писал о ней оренбургский корреспондент А. Анастасьев в статье «Александра Садовская», опубликованной в 1945 году в местной газете (к сожалению, название не указано) в рубрике «Знатные люди Южного Урала»:

«В трудный сорок второй год в Чкаловском театре имени Горького шла пьеса „Русские люди“. Спектакль был далек от совершенства, но среди позабытых образов до сих пор живет Мария Николаевна Харитонова — скромная, по-русски отважная женщина. Сколько тоски и страдания было в ее глазах, когда она смотрела на предателя-мужа, какую внутреннюю силу излучала она в момент отравления гестаповского офицера!

Марию Николаевну играла Александра Садовская. В тот год она узнала горе войны, она потеряла на фронте сына и вложила всю свою душу художника, гражданина и матери в этот сценический образ.

Почти сорок лет играет Садовская на сценах русского театра. В ее памяти хранятся светлые образы великих художников. Давыдов, Варламов, Савина, Комиссаржевская, Самойлов, Южин были ее партнерами. У корифеев русской сцены училась Садовская нести в народ правду реалистического искусства. И эта школа не пропала даром. Самое ценное, что есть у Садовской, — это подлинный сценический реализм, умение без всяких внешних эффектов захватить зрителя правдивостью своей героини.

Когда-то актеров называли по именам прославленных драматургов. Если попытаться таким образом определить характер дарования Садовской, то нужно сказать: это актриса

Островского. И дело не только в том, что она сыграла множество ролей в пьесах русского драматурга, а в том, что ее выразительные средства соответствуют самой сущности персонажей Островского. Главное для Садовской — речевая характеристика образа.

Обычно во время репетиций своих пьес Островский находился за кулисами и только слушал: как говорят актеры. Характер и звучание речи подсказывали автору, верно ли написан персонаж, верно ли играет актер.

Это внимание к слову переняла Садовская у своих великих современников. Как-то после спектакля М. Г. Савина похвалила молодую артистку, но заметила: „Только говоришь ты непонятно, глотаешь слова“. С тех пор Садовская постоянно совершенствовала свою речевую культуру, и сейчас мы можем сказать: вот у кого может научиться правильно говорить по-русски молодая театральная поросль нашего города.

…Шумно в доме Фамусова. Раздаются громкие голоса девиц, слышна музыка. Но вот на сцену вышла Хлёстова — Садовская, и зрители слушают лишь ее одну. Говорит она тихо, но каждое слово будто отливает, и слова, цепляясь друг за друга, образуют плавную, немного замедленную московскую речь. Да, так говорили и говорят в Москве.

Речевые интонации ясно обнаруживают внутреннее содержание образа Хлёстовой. Вот она кончила рассказ об арапке и услышала раскатистый смех Чацкого. Садовская все так же неподвижно сидит в кресле и лишь по звучанию одной фразы мы поняли: это не добрая, милая старушка, а властная крепостница. Так выразительно произносит актриса слова: — Кто этот весельчак? Из звания какого?

Александра Яковлевна Садовская — старейшая артистка Чкаловского театра имени Горького. Одиннадцать лет продолжается ее дружба с чкаловским зрителем. Бывала она и раньше в Оренбурге.

Вот почему с особой радостью встретили чкаловцы Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении А. Я. Садовской почетного звания заслуженной артистки республики».

Нам удалось разыскать человека, который знал Садовскую. Это заслуженный артист Российской Федерации, актер Оренбургского драматического театра имени М. Горького Александр Иванович Папыкин. Он вспоминает об актрисе, как о женщине исключительно светской, бесконечно обаятельной и несколько рассеянной. По его словам, она была очень талантливой актрисой и настоящей легендой Оренбурга.

У Садовской было трое детей. Один из ее сыновей, Я ков Левант, родившийся в 1915 году в Петрограде, чрезвычайно нас заинтриговал. Он появился на свет как раз тогда, когда, судя по произведениям Аверченко, их отношения с Садовской достигли пика. Более того: Яков Левант — геодезист, фронтовик, участник прорыва блокады Ленинграда — после войны стал… писателем-фантастом и драматургом (!).

Это не могло не навести на мысль: не сын ли он Аверченко?

А. И. Папыкин, как оказалось, лично знал и Якова Леванта. Между нами состоялся разговор на эту деликатную тему:

— Александр Иванович, а Яков Анатольевич никогда ничего такого не говорил, не намекал? Вы говорите, у него были сложные отношения с матерью. Может быть, он о чем-то догадывался?

— Да о чем он мог догадываться? Фамилия Аверченко вообще никогда не звучала. Я сам узнал о его романе с Садовской совсем недавно…

— Ну, может быть, он был похож на Аверченко? Вспомните!

— Мне никогда не пришло бы это в голову. А вот сейчас вы сказали, и я засомневался… Постойте, посмотрю портрет Аверченко… А вы знаете, ведь что-то есть!!! Нос, пожалуй, овал лица… Яков Анатольевич был высоким, выше среднего роста, полным…

— Рыжеватым?

— Нет. Брюнет.

— А черты характера? Чувство юмора?

— Чувство юмора было своеобразное — такое мрачноватое… Вы знаете, он был интересным человеком. Очень самокритичным… Был такой случай. Однажды я читал его фантастическую повесть на телевидении в прямом эфире. Яков Анатольевич стоял позади камеры и кусал ногти, нервничал… Потом отозвал меня в коридор телестудии и сказал: «Вы так талантливо прочли мою омерзительную прозу. С вашей подачи я понял, насколько я бездарен. Я прошу вас, не откажитесь. Я хочу вас угостить ужином». И мы поехали в вокзальный ресторан, долго там он бил себя в грудь и просил прощения за то, что заставил читать свою гнусную прозу. После того вечера мы и подружились… Наш театр ставил сказки по его сценариям.

Сын или нет? Как знать…

Резюмируем: Садовская, как и Аверченко, не имела даже среднего образования, что, как видно, компенсировалось деятельным характером и прилежанием. Она была младше своего возлюбленного на 8 лет и пережила его на 31 год (умерла в 1956 году в Оренбурге). К огромному сожалению, актриса никому не

рассказывала о своем знаменитом поклоннике и дневников не оставила, но отзвуки романа с ней явно ощутимы в творчестве Аверченко. Многие его произведения (рассказы «Хвост женщины», «Окружающие», «Обыкновенная женщина») содержат мучительные авторские размышления о том, стоит или не стоит жениться. В повести «Подходцев и двое других» (1917) главный герой — alter ego Аверченко — «заболевает женитьбой», приводя в ужас своих друзей-холостяков. Расставшись очень скоро с женой, Подходцев делает окончательный выбор между любовью и дружбой (в пользу последней). Сегодня, имея в распоряжении фотографии Александры Садовской, мы можем предположить, что портретное сходство с ней сохраняет Вера Антоновна — жена героя автобиографического романа Аверченко «Шутка Мецената» (1923): «…высокая пышная брюнетка с мраморным телом и глазами, как две звезды, освещавшими матово-бледное лицо».

Впрочем, Аверченко, похоже, действительно любил Садовскую. Находясь в эмиграции, он интересовался ее судьбой в письме к Марии Марадудиной. В архиве писателя есть загадочный список более чем из 80 женских имен и фамилий; некоторые из них подчеркнуты[46]. Исследователь архива писателя А. В. Молохов, видимо, не без основания предположил, что это «донжуанский» список, составленный в часы досуга для развлечения. Если это действительно так, то фамилия Садовской занимает в этом списке первую позицию. Однако тот факт, что такой список существует, говорит о том, что Александра Яковлевна в жизни писателя была далеко не единственной.

Аркадий Тимофеевич в беседах с друзьями часто подчеркивал, что любит женщин и хорошо их знает. Однако его интерес к противоположному полу был сугубо физиологическим — души в женщине Аверченко не признавал. Алексей Радаков называл это отношение «элементарным» и не любил, когда Аверченко откровенничал с ним, рассказывая о «своих женщинах». Критические умозаключения о женском предназначении нередки в творчестве писателя. Приведем одно из них: «Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?!» («Обыкновенная женщина»).

Ироническое отношение Аверченко к своим пассиям прекрасно иллюстрирует один случай, описанный Тэффи в воспоминаниях о писателе:

«Одна молодая дама рассказывала, как он не успел проводить ее из театра и представил ей почтенного господина, инспектора

какого-то училища:

— Вот это мой друг Алексеев, он вас проводит.

Инспектор всю дорогу говорил ей самые приятные вещи, а когда уже подъезжали к дому, вдруг схватил ее за плечи и поцеловал. Она успела только наскоро шлепнуть его по лицу, распахнула дверцу автомобиля и выскочила. Виновный прислал ей на другой день целую корзину мимоз с запиской „От виновного и не заслуживающего снисхождения“.

Дама тем не менее очень обиделась и сразу же позвонила Аверченко:

— Как вы смели представить мне такого хама!

— А что?

— Да он меня в автомобиле поцеловал!

— Да неужели? — ахал Аверченко. — Быть не может! Ну как я мог подумать… что он такой молодчина. Вот молодчина».

Аркадий Тимофеевич, которого называли «великим петербургским холостяком», всем своим поведением и творчеством утверждал идею мужской свободы. Стремясь привлечь поклонниц, он уделял огромное внимание своей внешности: всегда был тщательно выбрит и причесан, одевался у самых дорогих портных Петербурга — Калины и Анри, обувь покупал в магазинах Вейса, лучших в столице. Любил трости (одна из них имела набалдашник в виде перевернутой дамской туфельки). На мизинце левой руки носил перстень… Безукоризненный внешний вид Аверченко был предметом зависти и иногда осмеяния. Так, Корней Чуковский неприязненно отмечал, что «Аверченко в преувеличенно модном костюме, с брильянтом в сногсшибательном галстуке производил впечатление моветонного щеголя». А вот портрет писателя, составленный молодым Сергеем Эйзенштейном: «Волос у него черный. Цвет лица желтый. Лицо одутловатое. Монокль в глазу или манера носить пенсне с таким видом, как будто оно-то и есть настоящий монокль? Да еще цветок в петличке…» (Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. Автобиографические заметки. М., 1964. Т. 1).

Но так ли важна внешность для остроумного, галантного и обаятельного человека? Не можем не согласиться с мнением одной поклонницы писателя: «Какая разница, как он выглядел! Мужчина с таким чувством юмора может позволить себе выглядеть как угодно — его все равно будут обожать женщины». И они его действительно обожали. Об этом можно судить хотя бы по следующему письму брошенной им актрисы, адресованному своей сопернице: «Он так же скоро разлюбил и меня. Он не знает любви, просто слегка увлекается, конечно, ему есть оправдание,

он — великий писатель, ему надобен все новый и новый материал. И вот и ты, и я оказались тем материалом, из нас что-то выкроили, а остатки выбросили вон, мы больше не нужны, есть новые более интересные рисунки, а мы с тобой — глупые мотыльки с помятыми крылышками — даже не останемся в его памяти»[47].

Письмо почему-то оказалось в архиве писателя.

Аркадий Тимофеевич вообще не планировал обзаводиться семьей. В 1922 году корреспондент одной словенской газеты спросил его, почему он до сих пор не женат. Писатель ответил: «Мой принцип таков: кто хочет жить, как человек, и умереть, как собака, пусть остается холостяком. Кто же хочет жить, как собака, и умереть, как человек, тот женится» (цитируем по: Левицкий Д. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. С. 109). В ответ на недоумение интервьюера писатель пояснил, что в России существует огромная разница между супружескими отношениями в деревне и в городе. Если в первом случае жена полностью подчиняется супругу, то во втором — чаще всего наоборот. Аверченко же не представлял себя в роли раба женщины.

## «Новый Сатирикон»

### *1*

Весной 1913 года в «Сатириконе» разгорелся скандал, который привел к разрыву Аверченко и К° с Корнфельдом. В различных источниках приводятся разные причины случившегося.

Первую версию изложила Л. Евстигнеева (Спиридонова) в монографии «Журнал „Сатирикон“ и поэты-сатириконцы» (М., 1960). Исследователь утверждает, что «непосредственной причиной были денежные недоразумения и ссора между главными пайщиками журнала: издателем Корнфельдом, с одной стороны, и Аверченко, Радаковым и Ремизовым — с другой. По заключенному между издателями и сотрудниками договору, Аверченко, Радаков и Ремизов имели право контролировать хозяйственную часть журнала, а Корнфельд обязался не повышать подписной и розничной платы за журнал. Однако с 1 января 1912 года Корнфельд самовольно повысил розничную плату, что вызвало в дальнейшем падение тиража. Аверченко, Радаков, Ремизов обвинили Корнфельда в том, что он перестал допускать их к контролю хозяйственных книг, самовольно расходовал принадлежащие журналу суммы, начал задерживать уплату гонорара сотрудникам. Корнфельд, в свою очередь, жаловался на

отчаянное финансовое положение журнала, вынуждающее его вести дела по-новому. В результате ссоры большинство ведущих сотрудников ушло из журнала и основало новый — на кооперативных началах».

Вторую версию находим в статье Василия Князева «Цемент „Сатирикона“» (Литературный Ленинград. 1934. № 31): Аверченко, Ре-Ми и Радаков буквально схватили Корнфельда за горло и добились втайне от других сотрудников права получать 50 процентов прибыли, то есть стали пайщиками. Затем они якобы решили полностью устранить издателя от дел, разработав план его разорения путем выпуска убыточной литературы на дорогой бумаге, с роскошной обложкой и т. д. В конце концов, над делами М. Г. Корнфельда была учреждена опека в лице Шенфельда и Кугеля, которые, однако, отказались передать журнал троице друзей в обмен на определенную денежную компенсацию, что и привело к разрыву.

Наконец, третий, похожий на два предыдущих, мотив ухода из «Сатирикона» приводит в своих воспоминаниях вторая жена Алексея Радакова Е. Л. Гальперина: «Согласно условию, заключенному между руководящими сотрудниками „Сатирикона“ и издателем, после увеличения тиража журнала до определенной цифры эти сотрудники должны были стать пайщиками журнала <…> Ну вот, рассказывал Алеша (Радаков. — В. М.) со свойственной ему непринужденностью, сижу я однажды в том месте, куда царь пешком ходит, и слышу разговор между нашим бухгалтером и дядей Корнфельда — очень противным типом, который приехал откуда-то из Польши и вмешивался во все дела. Бухгалтер ему и говорит, что давно уж журнал перешагнул через предусмотренный соглашением тираж. Я как это услышал, выскочил прям как сумасшедший. Ну, тут я поднял такую страшную бучу и подговорил Аверченко и других уйти из „Сатирикона“ и организовать свой журнал»[48].

Скандал в «Сатириконе» получил широкое освещение в прессе. 19 мая 1913 года газета «Русская молва» напечатала следующее заявление Аверченко: «Ввиду слухов, распространяемых в литературных кругах г. М. Г. Корнфельдом, что причиной моего ухода из „Сатирикона“ являются материальные несогласия и расчеты с издательством, — настоящим категорически заявляю, что уход мой из журнала вызван, главным образом, теми невозможными условиями работы, в которые я и мои товарищи были поставлены г. Корнфельдом, а также — целым рядом нарушений элементарной литературно-издательской этики».

До этого, 15 мая Аверченко, Радаков и Ремизов обратились в

Санкт-Петербургский коммерческий суд с иском о защите своих материальных интересов. 18 мая Корнфельд передал на рассмотрение суда чести при Всероссийском литературном обществе свой конфликт с бывшими сотрудниками. Те согласились на участие в суде.

Состоялись два заседания суда — 5 и 7 июня — под председательством Владимира Дмитриевича Набокова (отца писателя Владимира Набокова). Судебное разбирательство еще более запутало ситуацию.

Прекрасно отдавая себе отчет в глобальности случившегося, Корнфельд старался вернуть и образумить своих бывших сотрудников. «Так труден и чреват материальными, не говоря уже об иных, бедами путь прогрессивного художественного журнала в России, и так трудно, почти безнадежно создание нового литературно-художественного органа, что ломать умышленно и безжалостно это служившее долго и успешно оружие против тьмы, застоя и насилия — прямое преступление против литературы, против общества» (Новый Сатирикон. 1913. № 21), — писал он, но… тщетно. 7 июля Корнфельд через «Сатирикон» и другие газеты сообщил: «…усматривая в ряде действий вышеназванных лиц признаки и таких деяний, которые подлежат ведению коронного суда, я, после отказа господ Аверченко, Радакова и Ремизова от профессионального суда чести, вынужден обратиться к защите суда коронного. Всякую дальнейшую полемику прекращаю» (Сатирикон. 1913. № 28).

Уже в 1960-х годах Корнфельд напишет: «Чем ближе я подхожу к концу моих воспоминаний, касающихся истории „Сатирикона“, тем непонятнее и несуразнее представляется его конец, если считать концом мой разрыв с моими ближайшими сотрудниками: Аркадием Аверченко, Радаковым и Ремизовым (Ре-Ми), которые без предупреждения вышли из состава редакции. <…> Когда на вопрос, каковы подлинные причины раскола, я отвечал, что не знаю, — никто не хотел мне верить… Когда друзья и доброжелатели предлагали мне взять на себя роль посредников и примирителей, я отклонял эти предложения, не соответствовавшие данному положению вещей: в самом деле, примирение предполагает ссору. Мы же никогда не ссорились. <…> После происшедшего редакционного разгрома мне предстояла неблагодарная и нелегкая задача в порядке невольной импровизации заново наладить выход „Сатирикона“ с новым составом сотрудников» (Корнфельд М. Г. Воспоминания).

Разумеется, случившееся создавало Корнфельду массу проблем, но и положение Аверченко, Радакова и Ре-Ми было не из легких. Им тоже предстояло «с нуля» начать новое

издательское предприятие. Подумав об этом, они, уходя, захватили с собой книгу адресов старых подписчиков журнала. Было и еще одно «но», самое существенное — отсутствие денег на открытие собственного дела. На помощь пришел приятель Ре-Ми художник Николай Радлов, который одолжил пять тысяч рублей. По словам Радакова, эту сумму они вернули уже через год, а еще через пару лет смогли купить собственную типографию и имели большое издательство. Радлова же отблагодарили: с 1913 года он стал постоянным сотрудником «Нового Сатирикона».

В рекордно короткий срок Аверченко, Радаков и Ре-Ми создали товарищество «Новый Сатирикон» (над названием долго не думали), в котором все трое на равных паях стали владельцами. Вместе с ними в новый журнал перешли: П. Потёмкин, Тэффи, В. Азов, О. Л. Д'Ор, Г. Ландау, А. Бенуа, М. Добужинский, К. Антипов, А. Яковлев, В. Воинов и другие. Впоследствии к ним присоединился Арк. Бухов.

В старом «Сатириконе» остались: В. Князев, Б. Гейер, В. Тихонов, а также молодые поэты В. Горянский, С. Маршак (д-р Фрикен), В. Винкерт, Н. Агнивцев, Д. Актиль и другие. Василий Князев, сразу ставший «звездой» корнфельдовского «Сатирикона», написал вслед ушедшему Аверченко злое стихотворение «Аркадий Лейкин»[49]. Начиналось оно прославлением «короля»:

Он был как вихрь. Влюбленный в жизнь и солнце,
Здоровый телом, сильный, молодой,
Он нас пьянил, врываясь к нам в оконце,
И ослеплял, блестя меж нас звездой.
Горя в огне безмерного успеха,
Очаровательно дурачась и шаля,
Он хохотал, и вся страна, как эхо,
Ликуя, вторила веселью короля.

А заканчивалось так:

Его животный смех, столь милый нам вначале,
Приелся, потеряв пикантность новизны;
И тщетно в нем искать застрочных нот печали,
Духовной ценности, идейной белизны.
Веселый, грубый смех. Смех клоуна…

Аркадий Тимофеевич в очередной раз похвалил Князева за талант, очень скоро его простил и забрал к себе в новый журнал.

Первый номер «Нового Сатирикона» вышел в свет 6 июня

1913 года, то есть буквально через месяц после скандала и в самый разгар судебного разбирательства! Рисунок, помешенный на обложке, намекал на то, что в новом издании читатель найдет все традиционные рубрики «Сатирикона». Он изображал извозчичью пролетку: на козлах Аверченко, держащий вожжи, на сиденье — Радаков, Ре-Ми, заваленные чемоданами-отделами. Под рисунком подпись:

«Переезд Сатириконцев на новую квартиру.

Толстый Сатирикон (заботливо): — Все взяли?

— Кажись, все.

— Волчьи ягоды захватили?

— Есть.

— Перья из хвоста, почтовый ящик — положили?

— Тут, тут.

— Ничего не оставили?

— Кажись, ничего.

— Ну, ладно, Аркадий, трогай с Богом, — Невский, 65».

В этом же номере журнала появилось официальное заявление:

«Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники „Нового Сатирикона“, доводим до сведения читателей, что не находим больше возможности сотрудничать в издаваемом М. Г. Корнфельдом журнале „Сатирикон“ и выходим in corpore из состава редакции. За дальнейшее направление и содержание этого журнала, издаваемого М. Г. Корнфельдом, слагаем с себя всякую ответственность».

Первый адрес редакции — Невский, 65. Впоследствии она располагалась на Невском, 88, во дворе налево, на третьем этаже. Это была большая квартира. В одной комнате — редакция, в другой кабинет заведующего конторой и издательством, в третьей — контора; две комнаты занимала экспедиция. В оставшихся трех комнатах жили люди, не имевшие к «Новому Сатирикону» никакого отношения. В этой же квартире был склад издательства.

Корнфельд предпринимал лихорадочные попытки спасти «Сатирикон»; журнал выходил до конца 1913 года, была объявлена подписка на 1914 год. Еще некоторое время одновременно существовали «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Однако очень скоро первый, лишенный лучших авторов, канул в Лету… Аверченко, таким образом, стал одним из собственников и редактором ведущего в стране сатирико-юмористического издания.

Наладив работу журнала, Аверченко, Радаков и Ре-Ми более не баловали своими посещениями редакцию — механизм уже был запущен и не давал сбоев. Радаков не утруждал себя даже тем,

чтобы приносить рисунки — за ними посылали к нему домой. У Аркадия Тимофеевича также наконец-то появилась возможность принимать по рабочим делам «у себя».

В 1913 году он стал настолько обеспеченным человеком, что смог снимать трехкомнатную квартиру в новом доходном доме графа М. П. Толстого на улице Троицкой, 15/17 (ныне улица Рубинштейна). Это здание, выстроенное в 1912 году по проекту архитектора Ф. Лидваля в стиле «северного модерна», и по сей день архитектурная достопримечательность Петербурга. Здесь у Аркадия Аверченко впервые в жизни появился собственный угол! Его детские годы прошли в тесноте, об удобствах на Брянском руднике или в Харькове говорить не приходится. В первые петербургские годы писатель скитался по меблированным комнатам. И вот, наконец, первая в жизни (и, забегая вперед, — последняя!) своя постоянная квартира.

Давайте мысленно посетим Аркадия Тимофеевича. Свернем с улицы Рубинштейна в полукруглую арку, украшенную готическим фонарем из кованого железа. Перед нами двор «Толстовского дома» с великолепными аркадами, уходящими в сторону набережной Фонтанки. Писатель живет в первом подъезде справа. Он уже увидел нас, ведь окно его рабочего кабинета смотрит на входную дверь парадного подъезда. Нам нужен второй этаж, квартира 203. Но подниматься пешком не придется — в доме работает паровой лифт.

Дверь нам открывает сам хозяин и приглашает в просторную прихожую.

— Ну вот, это моя квартира, — говорит он. — Я ею доволен. Центральное отопление, горячая вода, телефон. Что же еще нужно?.. Район хороший — Пять углов. Опять же до работы недалеко — улица выходит на Невский проспект, почти рядом с редакцией «Нового Сатирикона».

Прямо перед нами — дверь в рабочий кабинет. Зайдем. Большая комната, стены обшиты сукном лилового цвета, огромная библиотека. У окна письменный стол. Аркадий Тимофеевич смеется:

— Здесь ежедневно происходит глухая, тайная, свирепая борьба между мной и моей горничной Надей. Каждое утро я просматриваю корреспонденцию, счета… Прочитанное и более не нужное бросаю на пол. Ухожу в редакцию. Приходит Надя, подметает пол, поднимает с него все бумаги, тщательно разглаживает и засовывает между подсвечником и часами на письменном столе. Вечером прихожу я, эту пачку снова швыряю на пол. Утром приходит Надя и снова ее засовывает… Мы никогда не говорим об этом, ведь смертельно враждующие армии

не ведут между собой переговоров!

Разумеется, хозяин шутит — с Надей у него прекрасные отношения.

Из кабинета дверь ведет в спальню. Здесь на стенах сукно спокойного синего цвета. Рядом с кроватью, заваленной книгами и газетами, как ни странно, граммофон и… штанги! Аркадий Тимофеевич снова улыбается:

— Самое скучное занятие для человека — одеваться. Я это делаю под музыку. Завязываешь ботинки — и слушаешь Собинова! А штанги… Не удивляйтесь — люблю иногда поупражнять мускулы.

Третья комната — столовая и приемная одновременно. Фрукты в вазах, живые цветы. Кремовые обои, на стенах — полотна Репина, Билибина, Добужинского, Бенуа, близкого друга Ре-Ми…

Окна кабинета, спальни и столовой выходят во внутренний двор. Внизу снуют люди. Невольно возникает вопрос: кто еще из знаменитостей живет здесь? Аркадий Тимофеевич охотно рассказывает:

— Горжусь, что живу в одном доме с Людвигом Чаплинским — трехкратным чемпионом России по тяжелой атлетике. Кстати, в доме работает спортивный зал Чаплинского «Санитас». Мы с Куприным посещаем его, когда есть время. Часто вижу Александра Ивановича Спиридовича. Ну, вы наверняка знаете, кто это — начальник императорской дворцовой охраны. Помните, у него были крупные неприятности в 1911 году, после убийства Столыпина? Он даже был под судом, но дело прекратили по настоянию императора… Самая примечательная личность в нашем доме — князь Михаил Михайлович Андроников. Да-да, тот самый — из окружения Григория Распутина! Иногда Григорий Ефимович с компанией приезжает сюда ночью. Страшно шумят, будят всех жильцов. Владелица дома, графиня Толстая, говорят, уж и не знает, как от этого Андроникова избавиться. Судебные иски на него подает. А моей горничной слуги князя рассказывали, что тот устроил в своей спальне за особой ширмой подобие часовни. Представьте себе — с распятием, аналоем, кропилом, иконами и даже терновым венцом! Впрочем, по другую сторону ширмы князь спокойно предается самому гнусному разврату. То, что он гомосексуалист, все знают… Да! Недалеко отсюда, буквально через дорогу, Троицкий театр миниатюр[50], с которым я сотрудничаю. Очень удобно. Бываю на спектаклях по своим пьесам. Иногда захожу в гости к Левкию Жевержееву, он в том же доме живет, где и театр. Жевержеев — коллекционер, поэтому тратит все средства на покупку книг и театральных реликвий.

Организовал у себя литературно-артистические «пятницы», где бывают Бакст, Альтман, Хлебников, Маяковский, Малевич, Филонов, братья Бурлюки. Я тоже бываю, но редко. А еще Жевержеев завел «пятничный альбом», в котором гости оставляют памятные записи, рисунки, экспромты. Хорошая идея… Ну, а теперь давайте обедать. Моя кухарка прекрасно готовит!

Вот так и жилось Аркадию Тимофеевичу на Троицкой — комфортно и уютно. Квартира его запомнилась не только сотрудникам «Нового Сатирикона». Нам удалось разговорить племянника писателя Игоря Константиновича Гаврилова, который рассказал о том, что его мама долгие годы вспоминала о своей поездке из Севастополя к Аверченко в Петербург в то время. Ее потрясла квартира брата. Она восхищалась всем, что видела у него, особенно пылесосом и домашним телефоном, которые казались ей приметами иного, «заграничного» обихода.

Несколько зарисовок «из жизни на Троицкой» оставили нам коллеги Аркадия Аверченко. Ефим Зозуля вспоминал: «Дверь мне открыла горничная Надя, небольшого роста блондинка с умными, зоркими глазами. До моего прихода она говорила по телефону, и, впустив меня без всяких расспросов в столовую, поспешила продолжать разговор. Телефон стоял на столе Аверченко, и для того, чтобы держать трубку постороннему человеку, т. е. не сидящему за столом — нужно было нагнуться. Как-то так неудобно был расположен аппарат. И Надя говорила, нагнувшись над плечом Аверченко. Разговор был не деловой. Речь шла о родственниках Нади, о поклонах какой-то куме, о чьем-то приезде. В дальнейших моих посещениях Аверченко <…> я не раз видел Надю в такой позе, что не мешало Аверченко работать. Надя, простая девушка, но очень тактичная и умная, держала себя свободно, с достоинством, чувствовала себя, как дома, и поддерживала в квартире и в обращении с многочисленными и разнообразными посетителями удивительно теплый тон. Это было характерно для Аверченко, ибо источником этого тона был, конечно, хозяин» (Зозуля Е. Д. Сатириконцы).

А вот фрагмент воспоминаний Николая Карпова «В литературном болоте», хранящихся в фондах РГАЛИ и выставленных в Интернете[51]. Как-то Карпов встретил на улице поэта Евгения Венского и сообщил, что идет в редакцию «Нового Сатирикона» со сказкой в стихах «Дед Мороз».

«— Стихи при тебе? — деловым тоном осведомился Венский. — Так идем сейчас к Аверченко на квартиру. Он дома.

— Неловко. Я ведь с ним почти не знаком.

— Вот чудак! Что он, съест тебя, что ли? Он уже давно не кусается. Манеру эту бросил. А не знаком — познакомлю.

Потопали!

В то время Аверченко снимал две меблированные комнаты, с отдельным входом на Троицкой. Он сам открыл дверь. Высокий, бритый, одетый в хорошо сшитый костюм от знаменитого Телески, Аверченко походил на раздобревшего, преуспевающего антрепренера.

— Вот, Аркадий Тимофеевич, — начал шутовским тоном Венский, — дозвольте (он так и сказал: „дозвольте“) вам представить талантливого поэта. С ним случилось несчастье.

Аверченко с недоумением взглянул на него, пригласил нас садиться и поставил на стол угощение — коробку шоколадных конфет.

— Несчастье? — переспросил он.

— Несчастье, Аркадий Тимофеевич. Написал он сказку и спит и видит ее напечатать в „Сатириконе“.

Аверченко вопросительно взглянул на меня. Я молча подал ему рукопись. Он прочитал сказку и заявил:

— Хорошо. Я ее напечатаю. Пойдет в ближайшем номере.

И он встал, давая знать, что аудиенция окончена.

— Аркадий Тимофеевич, — неожиданно возопил Венский, — вы — бог! Ей-богу, бог! И даже больше, чем бог! Если, скажем, я сейчас попрошу у бога аванс, старик мне ни за что не даст. Сердит на меня здорово, да и скуп он, как Гарпагон. А вы, Аркадий Тимофеевич, дадите без особого неудовольствия. Значит, вы — выше бога.

— Сколько? — коротко осведомился сохранявший серьезную мину Аверченко.

— Предупреждаю, Аркадий Тимофеевич, — меньше рубля я авансов не беру, — заявил Венский.

— Рубль? — удивился Аверченко.

— Пятишница требуется, дорогой Аркадий Тимофеевич, пятишница. Теперь я повышаю марку, и в Балабинской гостинице мне лакеи овации устраивают, как какому-нибудь хамлету, прынцу датскому, — балагурил Венский, — я им стал по двугривенному на чай давать, как какой-нибудь Пирпонт Морган. Знай наших! Да и выпить за ваше здоровье меньше, чем на пятерку, стыдно. Вас только оконфужу!

Аверченко вручил ему пять рублей, и Венский рассыпался в шутовских благодарностях».

Приведенный фрагмент как нельзя лучше показывает профессиональные редакторские качества Аверченко: даже малоизвестный автор Н. А. Карпов, даже попрошайка и выпивоха Евгений Венский могли рассчитывать на его покровительство, если приносили талантливые рукописи. Судя по всему, за талант

Аркадий Тимофеевич мог простить человеку многое: в 1914–1915 годах в «Новом Сатириконе» появились произведения Александра Грина и Владимира Маяковского, которые имели в Петрограде скандальную известность.

Александр Степанович Грин прослыл неуравновешенным, сильно пьющим человеком, склонным под воздействием винных паров сквернословить и устраивать дебоши в публичных местах. По воспоминаниям Ефима Зозули, Грин мог явиться в «Новый Сатирикон» в конце рабочего дня и лечь спать на редакционный диван. В один из таких вечеров Зозуля попытался найти ему место в гостинице, но совершенно пьяного Грина никто не хотел селить. Наконец место в одной из гостиниц нашлось. Однако Александр Степанович был настроен экстремистски — прямо в вестибюле он остановился перед мирной старушкой в темной мантилье и с необычайной злобой обратился к ней:

— Вы требуете от нас бытовых рассказов? Мы должны описывать ваши засаленные капоты? Так вот заявляю вам: не буду я описывать ваши (следовали эпитеты) капоты. К чертовой (было сказано иначе) матери! И не думайте требовать. Плевал я на всю вашу гнусную, подлую жизнь вместе с вашим царем (следовало определение)!

Старушка чуть не лишилась чувств, а Зозуля содрогнулся, потому что неподалеку стояли два офицера и могли услышать последние слова об императоре. Уже в гостиничном номере, сидя на диванчике, Грин продолжал отпускать по адресу старушки такие бранные реплики, что Зозуля не выдержал и начал хохотать.

— Что вам сделала эта старушка? — спросил он. — Почему вы думаете, что ей обязательно нужны бытовые рассказы?

Через некоторое время, протрезвев и вспомнив эпизод со старушкой, Грин тоже начал хохотать (Зозуля Е. Д. Сатириконцы).

Несмотря на особенности поведения Грина, Аверченко очень ценил его талант и относился к нему по-человечески тепло. Он часто повторял, глядя вслед Александру Степановичу: «Странный человек, но интересный и талантливый». Первой книгой, выпущенной издательством «Новый Сатирикон» в 1915 году, стала повесть Грина «Происшествие на улице Пса». Вот что вспоминал об этом писатель Лев Гумилевский в очерке «Далекое и близкое»:

«Как-то я занес рассказ, показавшийся мне юмористическим, в „Новый Сатирикон“. Аверченко в редакции бывал редко, принимал посетителей секретарь его Ефим Давыдович Зозуля, тогда еще молодой, еще не полысевший, но уже важный, толстеющий, облаченный в черный пиджак и серые брюки. Он

взял рукопись и велел позвонить через неделю-две. Рассказ был принят, и я зашел в редакцию. За столом Зозули, как гость, сидел прекрасно выбритый, прекрасно одетый господин, немного полный, красивый и ленивый. Это и был Аверченко. Он поздоровался со мной и учтиво подал мне книгу, которую только что рассматривал с лица, корешка и обреза.

— Это первая наша книга, — сказал он, — нравится вам?

На серой обложке с маркой „Сатирикон“ в верхнем углу было напечатано „А. С. Грин“ и заголовок по первому рассказу, кажется, это было „Происшествие на улице Пса“.

Я отвечал, что книга издана прекрасно».

Поэтесса «Нового Сатирикона» Лидия Лесная в книге «Воспоминания об Александре Грине» (М., 1972) оставила интересные свидетельства о взаимоотношениях Аверченко и Грина:

«Петербург. Невский проспект. Худой высокий человек в пальто неопределенного цвета широко шагает по обледенелому тротуару. Руки засунуты в карманы, голова втянута в плечи, поднят воротник, и шляпа надвинута до бровей. <…>…человек торопится войти наконец в подъезд дома № 88. Он поднимается на второй этаж. Направо дверь с надписью „Ягурт Простокваша“, налево — „Редакция журнала ‘Новый Сатирикон’“. Он входит. Приятное тепло охватывает человека в пальто; он направляется к секретарскому столу. Я отрываю взгляд от сигнального номера журнала.

— Здравствуйте, Александр Степанович. Принесли что-нибудь?

Он протягивает вчетверо сложенный лист писчей бумаги.

— Очень хорошо. Завтра передам Аркадию Тимофеевичу.

— Завтра?!

Рухнула надежда на аванс. Маленький аванс…

— Завтра…

— Я позвоню Аверченко, скажу, что вы принесли материал. Он разрешит бухгалтерии. Приходите завтра в двенадцать. Хорошо?

Он смотрит в стол. Молчит. <…> Грина считали мрачным, угрюмым человеком, говорили: „Он странный“. Он был глубоко замкнутым…

Отношение Аверченко к Грину имело характер покровительственной симпатии. Ему нравилось бродить с ним после редакционных совещаний по набережным. Странно было видеть их вместе: излучающий здоровье, улыбающийся человек атлетического сложения, всегда элегантный, а рядом Грин — в темном пальто с поднятым воротником, бледный, хмурый.

Впрочем, разговаривая с Аверченко всегда вполголоса и где-нибудь в отдалении от насмешливых сотрудников, Грин начинал усмехаться. <…>

Вспоминается такой случай.

Александр Флит, юрист по образованию, служил юрисконсультом в каком-то учреждении, и вдруг — написал стихотворение! Молодой поэт принес его в „Новый Сатирикон“. Спустя неделю пришел за ответом.

— Нет, — добродушно сказал Аверченко, — у нас это не пойдет.

Флит решил никогда больше не писать ни строчки.

Но — написал, принес, — и тот же результат. А Флиту, как на грех, очень понравилась сатирико-юмористическая атмосфера редакции журнала. Он стал захаживать, перезнакомился со всеми и подружился с нелюдимым Грином. Взволнованный „возвратами“ друга, Грин решил поговорить с редактором.

— Аркадий Тимофеевич, не мне, конечно, вас учить, но с Флитом как-то несправедливо поступают. Его стихи читает Бухов и не пускает. Разве они так уж плохи, эти стихи?

— Бухов говорит, что у Флита нет лица, что он „накрапывает“, а не пишет.

— У Флита абсолютный литературный вкус. И вы помните, как не шли и не шли рассказы Ефима Зозули, а Флит придумал заголовок „Недоношенные рассказы“, и сразу изюминка появилась[52]. Помните?

— Да-да… Пусть он напишет басню, я сам почитаю.

Сражение было выиграно — басни понравились. Флит стал постоянным сотрудником».

Как видим, никакие выходки Грина не могли повредить уважению, которое питал к нему Аверченко. Впрочем, Александр Грин мог совершить нечто эпатажное только в нетрезвом виде. А вот у молодого Владимира Маяковского скандал был концепцией повседневного поведения. Буквально за несколько дней до появления в редакции «Нового Сатирикона» поэт стал причиной ЧП в «Бродячей собаке». 11 февраля 1915 года с эстрады кафе он прочитал свое стихотворение «Вам!», общий пафос которого и нецензурная лексика в конце шокировали аудиторию. Некоторые дамы упали в обморок. По итогам этого выступления был составлен полицейский протокол. При этом присутствовали Тэффи и Алексей Радаков. Тем не менее через две недели, 26 февраля, на страницах журнала Аверченко появляется сатирический «Гимн судье» Маяковского!

Аверченко дал Маяковскому работу в очень сложную для поэта жизненную пору безденежья и даже голодания. Тот в

поисках хоть какого-то заработка просил Чуковского познакомить его с Власом Дорошевичем, однако Дорошевич в ответной телеграмме Корнею Ивановичу написал: «Если приведете ко мне вашу желтую кофту, позову околоточного…» «Король фельетона» Дорошевич, как видно, репутации Маяковского испугался. «Король смеха» Аверченко оказался смелее, хотя об общей политике неприятия футуризма «Сатириконом» и «Новым Сатириконом» мы уже говорили. На страницах журналов неоднократно появлялись злая и меткая критика, шаржи, высмеивающие деятелей этого течения. Приведем, к примеру, стихотворение Василия Князева «Признание модерниста» (1908):

Для новой рифмы
Готовы тиф мы
В стихах воспеть,
И с ним возиться,
И заразиться,
И умереть!

Особенно радикально был настроен Аркадий Бухов: при упоминании о футуристах его буквально начинало трясти. В 1913 году в «Новом Сатириконе» было опубликовано его стихотворение «Легенда о страшной книге»:

Ему надевали железный сапог
И гвозди под ногти вбивали,
Но тайну не выдать измученный смог:
Уста горделиво молчали.
……
Конвой зарыдал и задумался суд,
Вдруг кто-то промолвил речисто:
«О, ваше сиятельство! Пусть принесут
Стихи одного футуриста».
……..
Измученный молча поднялся с земли
В предчувствии страшного мига.
«Довольно! — сказал он. — Пытали огнем,
Подвергли ненужным обидам…
…….
Но если стихи футуриста читать —
Нет: лучше ботинок железный.
Какую там тайну вам надо узнать?!
Пожалуйста — будьте любезны!»

Бухов не мог забыть футуристов даже в 1921 году в эмиграции. «Вы, конечно, слышали о футуристах, — писал он в фельетоне „По черепу стукают“. — <…> Когда-то литературные старцы говорили: пер аспера ад астра — через препятствия к звездам. Литературная молодежь футуристического толка выразилась определеннее: через базар — в участок! Другие футуристы тоже работали и бродили по той же тропинке. Футурист Гольцшмит ездил с лекциями по городам и публично разбивал о свою голову доски. Лекция называлась „Дорогу красоте!“. При чем здесь красота — осталось секретом г. Гольцшмита. Во всяком случае, было только ясно, что дорогу к красоте надо пробивать собственным черепом через дубовые доски. Футурист Бурлюк тоже читал лекции, но без досок, а с ботинком, который он ставил на кафедру и говорил: „Это красота — а Венера Милосская безносая кукла“. Футурист Василий Каменский читал свою поэму „Стенька Разин“ <…> в цирке, сидя верхом на лошади, лицом к лошадиному заду и держась за лошадиный хвост. Будет. Таких примеров можно было бы набрать сотни». Особенно Бухов ненавидел Маяковского и писал, что тот «заметен только в хорошем издании, где все пишут грамотно и талантливо, заметен, как чирей на здоровом теле».

Однако далеко не все сатириконцы недолюбливали Маяковского. Алексей Радаков, к примеру, находился под большим его влиянием, хотя был гораздо старше. Именно он и привел поэта к Аверченко, который, по некоторым свидетельствам, сказал Владимиру Владимировичу: «Вы пишите, как хотите, это ничего, что звучит странно, у нас журнал юмористический». Думается, что Аркадий Тимофеевич угадал в Маяковском большой талант (в это время на поэта обратил внимание и Максим Горький) и смог абстрагироваться от дурачеств и эпатажных выходок, которыми славился молодой футурист. Аверченко сумел очень деликатно дать понять Маяковскому, что его талант накладывает на него определенную ответственность.

— Слушайте, Маяковский! — часто говорил он. — Вы же умный и талантливый человек, и ясно, что у вас будет и слава, и имя, и квартира, и все, что бывает у всех поэтов и писателей, которые этого заслуживают и этого добиваются. Так чего же вы беситесь, ходите на голове, клоунадничаете в этом паршивом кабаре «Привал комедьянтов» и так далее? Честное слово, для чего это? Чудак вы, право!

Когда Маяковский пытался что-то ответить, Аверченко не давал ему этого сделать и обращался к кому-нибудь из присутствующих: «Нет, серьезно, вы скажите, ведь человек

ломится в открытые двери! Ну, что ему надо? Какого рожна? Парень молод, здоров, талантлив…»

Василий Князев так выразил впечатление от прихода Маяковского в журнал: «Маяковский — это огромный утес, обрушившийся в тихий пруд. Он в короткое время… поставил на голову весь „Сатирикон“… переполнив журнал лирикой, в ущерб сатире и юмору. <…>…можно было негодовать, улюлюкать, злобствовать, но в глубине души чуткие (не я, конечно) сознавали — это *биологически необходимо*, чтоб бегемот пришел в посудную лавку „Сатирикона“ и натворил там мессинских бесчинств» (письмо Арк. Бухову от 28 мая 1935 года)[53]. Само присутствие Маяковского, его приходы в редакцию, шумные дискуссии, которыми они сопровождались, остроумные и отнюдь не всегда безобидные пикировки с сотрудниками журнала, с начальством вносили в редакционную жизнь разнообразие и беспокойство. Маяковский не давал скучать, а Аверченко иногда подливал масла в огонь, провоцируя его. Писатель Виктор Ардов вспоминал: когда Маяковского мобилизовали и обрили голову, Аверченко заметил: «Вы всегда все перевыполняете в два раза», намекая на то, что поэту следовало бы обрить только полголовы, как каторжному.

Маяковский прижился в «Новом Сатириконе», в котором опубликовал 25 из 31 написанного за это время стихотворения и отрывки из поэмы «Облако в штанах». Ему нравилось работать с Радаковым, который взялся иллюстрировать стихотворения «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн здоровью», «Гимн ученому», понимая, что Маяковского надо иллюстрировать не так, как других поэтов. Так родился новый творческий союз, который через несколько лет еще проявит себя в «Окнах сатиры РОСТА». Радаков вспоминал, что ему долго не удавался рисунок к ироническому «Гимну ученому» (1915):

> Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
> опять осклабилось на людские безобразия,
> и внизу по тротуарам опять приготовишки
> деятельно ходят в гимназии.
>
> Проходят красноухие, а ему не нудно,
> что растет человек глуп и покорен;
> ведь зато он может ежесекундно
> извлекать квадратный корень.

Иллюстрация получалась какой-то неубедительной. Маяковский, который сам был по образованию художником,

долго смотрел на рисунок и сказал: «А вы спрячьте голову ученого в книгу, пусть с головой уйдет в книгу». Радаков так и сделал. И рисунок тематически выиграл.

Ефим Зозуля свидетельствовал, что Маяковский относился к делам редакции «Нового Сатирикона» очень серьезно, а в присутствии Аверченко вел себя «как послушный мальчик». На пятничных совещаниях поэт выглядел настолько прилично, что Петр Потёмкин, славившийся своим простодушием, даже заметил однажды:

— Владимир Владимирович, у нас вы совершенно не хамите.

— Если вас это мучает, могу сепаратно зайти к вам домой и нахамить, — ответил тот.

Сотрудничество в «Новом Сатириконе» предоставило Маяковскому возможность выхода к широкой читательской аудитории, однако впоследствии, когда журнал был закрыт большевиками как антисоветский, поэт писал, что работал в нем «в рассуждении чего б покушать» («Я сам». 1922).

## *2*

С началом Первой мировой войны коллектив «Нового Сатирикона» во главе с его редактором, Аркадием Аверченко, занял активную патриотическую позицию. В последнем июльском номере за 1914 год в редакционной статье сообщалось:

«Когда перед всем народом встает одна, всех объединяющая великая задача, — отстоять свое отечество, отстоять свою самостоятельность, когда десятки тысяч семейств провожают своих любимых на войну, когда скоро появятся люди в глубоком трауре и в церквах будут поминать дорогие имена павших в бою воинов, — тогда не только смех, но даже слабая улыбка являются оскорблением народному горю, народной печали… Тогда неуместен смех — тот самый смех, который в мирное время так нужен, так всеми любим.

И, однако, мы считаем своей необходимой задачей, своей обязанностью, внести свою хотя бы крошечную долю, увеличивающую всеобщее воодушевление, внести хотя бы каплю в ту огромную волну патриотизма, в стихийный девятый вал, который мощно подымет на своем сверкающем гребне к небу всех нас, заставляя забыть партийные раздоры, счеты и ссоры мирного времени.

В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри. <…>

Мы, сначала, хотели приостановить на время войны наш

журнал. Перед надвигающимися великими событиями, в это страшное для всего мира время, наше дело нам показалось никому ненужным, не имеющим никакого значения и интереса — слишком подавило нас, как и всех, величие происходящих событий. Но потом мы сказали себе:

— Пусть каждый в этот грозный для родины час принесет пользу своему отечеству, как он умеет и как он может…

Мы были бы счастливы, если бы Новому Сатирикону удалось запечатлеть на своих страницах наше великое и страшное время. Запечатлеть наших врагов и друзей, геройство, страдание, ужас, печаль, коварство, красоту и мерзость войны».

Сатириконцы отныне обратили свой критический талант против внешнего врага — немцев и их союзников. Страницы журнала запестрели фельетонами и карикатурами, высмеивающими императора Вильгельма, австрийцев и турок, болгарского царя Фердинанда. Мысли об этих фигурах не покидали Аверченко даже во время отдыха. 8 августа 1914 года, находясь в гостях в Куоккале, он оставил следующую запись в недавно появившемся альманахе «Чукоккала»:

«Не потому, что мы воюем с Вильгельмом, а вообще — нахожу, что Вильгельм смешон. Можно ошибиться в одном случае… Ну, в двух!.. Ну, в трех!!

А то:

1. Думал, что Англия будет нейтральна… — Ошибся.

2. Думал, что Япония будет против России. — Ошибся.

3. Никогда не думал, что Япония будет за Россию. — Ошибся.

4. Думал, что Бельгия безмолвно пропустит немцев. — Ошибся.

5. Думал, что Италия будет за немцев. — Ошибся.

6. Думал, вероятно, что Италия будет нейтральна. — Ошибся.

7. Надеялся на мощь Австрии. — Ошибся.

Итого — 7 ошибок. Это именно те 7 бед, за которые — один ответ» (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006).

Аркадий Тимофеевич по состоянию зрения мобилизации не подлежал. В декабре 1916 года он прошел полное медицинское освидетельствование, в результате которого был признан «вовсе негодным» к военной службе и зачислен в ополчение второго разряда. Два других владельца «Нового Сатирикона» — Радаков и Ре-Ми — проходили службу в тыловой военно-автомобильной школе, которая готовила шоферов и мотоциклистов. В «Чукоккале» сохранился шуточный рисунок Ре-Ми от 28 июня 1915 года, на котором он изобразил самого себя в солдатской форме, с ружьем и заплечным рюкзаком. В комментарии к этому

шаржу Чуковский писал: «Художник Ре-Ми, ожидая призыва в армию, попытался вообразить, каким он будет в солдатской форме. Получилось нелепое чучело. <…> На самом деле в солдатской форме он оказался еще непригляднее» (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского). Алексей Радаков уже в 1920-е годы любил порассказать, как он был «душкой-военным» и «дамы просто падали, падали, такой я был красавец!». В той же автомобильной школе с сентября 1915 года работал чертежником Владимир Маяковский, а Виктор Шкловский обучал новичков водить машины на Марсовом поле. Радаков вспоминал, как они весело проводили время: «Служба у нас была довольно странного порядка, несколько даже юмористического. Нам надо было расквартировать войска, пришедшие с фронта. Предположим, приезжает с фронта какая-нибудь часть. Например, приходят военные автомобили, велосипедисты, нам надо было находить соответствующее помещение в городе и представлять. Для этого надо было ехать в Думу, хлопотать и черт знает что» (Радаков А. А. Воспоминания. Запись 26 апреля 1939 г. Рукопись. БММ).

Мобилизованы были также Саша Чёрный (служил в 13-м полевом госпитале в районе Варшавы), Василий Князев и Аркадий Бухов, которые сразу же после призыва были демобилизованы: первый — по болезни, второй из-за «неблагонадежности».

В первые годы войны волна патриотизма захлестнула все слои русского общества. Владелец «Вены» снял вывеску заведения и заменил ее на «Ресторан И. С. Соколова»; Тэффи в июле 1916 года сфотографировалась для журнала «Солнце России» в костюме сестры милосердия. Подпись под снимком гласила: «Известная писательница Н. А. Тэффи, отвозившая подарки нижним чинам в действующую армию». Аверченко же писал о проявлениях героизма на фронте, высмеивал тыловые будни: разгул спекуляции, воровства и взяточничества. В одном из фельетонов 1915 года он утверждал, что к бессовестному торговцу, повышающему цены на товары первой необходимости, следует обращаться с вопросом: «Где же ваш патриотизм, которым охвачена вся порядочная, приличная Россия?»

Сатириконцы, смотревшие на мир иронично и подмечавшие любые проявления фальши, с первых месяцев великих событий стали высмеивать «паразитов войны» — писателей и журналистов, сделавших «патриотизм» своей профессией. Александр Грин в скетче «Редактор и писатель. Сцены из военной жизни» (1914) рассказал о том, как некий Редактор ни за что не хотел брать у Писателя рукопись о жизни Марины Мнишек, не

отвечающую нуждам «текущего момента»:

«**Редактор** (*уныло*). Гм… Мнишек. Кажется, я вас понимаю. Родословная кайзера?

**Писатель**. М-м-м… н-н-нет.

**Редактор**. Извините, я очень занят. Потрудитесь объяснить, в чем дело.

**Писатель** (*задумчиво, с убеждением*). Оригинальный, яркий характер этой женщины, общий колорит ее личной жизни…

**Редактор** (*строго*). При чем же тут война?

**Писатель**. Я и говорю, что ни при чем.

**Редактор**. Милый, читатель требует военных, злободневных рассказов.

**Писатель**. Разве? Я не слыхал. А где вы читали об этом?

**Редактор**. Извините, мне некогда… (*Смотрит на писателя с ненавистью*.) А где вы видели, чтобы теперь кто-либо читал иное, чем рассказы о войне?»

*Писатель, так и не угодив Редактору, удаляется ни с чем. Вслед за ним в кабинет заходит беллетрист Бяшко, пишущий по всем требованиям «текущего момента»:*

«**Бяшко**. <…> Останетесь довольны. Дело происходит в траншеях. Масса выстрелов.

**Редактор**. И пулеметы есть?

**Бяшко**. Все, все. Бронированные форты, пулеметы, цеппелины и даже фугасы.

**Редактор** (*влюбленно*). Господи! Даст же Бог человеку! Роскошь пера! Пиршество красок! Быт, кровь и огонь!

**Бяшко** (*нерасслышав*). А? Да: герой избит в кровь и брошен в огонь».

Аналогичную проблему поднимал Аверченко, к примеру, в фельетоне «Специалист по военному делу. Из жизни малой прессы» (1915), в котором высмеял дилетантов, пишущих о войне и не понимающих смысла многих специальных терминов. Описанный в фельетоне разговор редактора газеты с «военным обозревателем» вызывает улыбку:

«— Какую вы написали странность: „Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них“. Что значит „их в них“?

— Что же тут непонятного? Направляя их в них, — значит, направляя блиндажи в русских!

— Да разве блиндаж можно направлять?

— Отчего же, — пожал плечами военный обозреватель, — ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону.

— Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно

выстрельнуть?

— Отчего же… конечно, кто хочет — может выстрелить, а кто не хочет — может не стрелять.

— Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж — нечто вроде пушки?

— Не по-моему это, а по-военному! — вспылил обозреватель. — Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы: „Русские стреляли из блиндажей“, „немцы стреляли из блиндажей“… Осел только не поймет, что такое блиндаж!»

Аркадий Тимофеевич забавлялся и тогда, когда видел проявления экзальтированного отношения к военной теме, ставшей модной. В его записной книжечке этого времени мы обнаружили такую зарисовку:

«— Кто вы?

— Военный…

— Слава Богу! Первый военный…

— О нет, я военный портной»[54].

Веря в целебную силу смеха, Аверченко нередко выступал перед ранеными в госпиталях. Однажды водном из лазаретов с ним произошел интересный случай, описанный в рассказе «Страшный мальчик». Однако прежде чем привести из него цитату, просим читателя вспомнить обстоятельства севастопольского детства писателя, а именно хулигана Ваньку Аптекарёнка, державшего в страхе мальчишек Артиллерийской слободки. Вспомнили? Теперь предоставим слово Аркадию Тимофеевичу:

«12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня, с кровати, послышался голос:

— Здравствуй, фраер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого.

— Вы это мне?

— Так-то не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься ты мне на нашей улице, узнаешь, что такое Ванька Аптекарёнок!

Страшный мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

— Милый Аптекарёнок? Офицер?

— Да.

— Ранен?

— Да. — И в свою очередь: — Писатель?

— Да.

— Не ранен?

— Нет.

— То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибацера вздул?

— Еще бы! А за что ты тогда до меня „добирался“?

— А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.

— Почему?

— Потому что мне самому хотелось воровать.

— Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь…

— Да, брат, — усмехнулся он. — И вообразить не можешь.

— А что?

— Да вот, гляди.

И показал из-под одеяла короткий обрубок.

— Где это тебя так?

— Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого… меньше».

Летом 1915 года Аверченко предпринял поездку, которая в печати была названа «кавказскими вечерами». Он выступал перед ранеными в Кавказских Минеральных Водах и старался отвлечь этих людей от тяжелых мыслей, развеселить. Писатель намеренно отбирал для публичного исполнения довоенные произведения, позволяющие разрядить тревожную атмосферу и бездумно посмеяться. Газета «Пятигорское эхо» 15 июня 1915 года писала с благодарностью: «Этот высокий человек с таким добродушным характером и насмешливым лицом приехал к нам в то время, когда сумерки сделались особенно тягостными и мрачными, когда так трудно было дышать в спертом воздухе, и сказал только одно слово — смейтесь! Мы послушно рассмеялись, и как-то сразу стало легче, веселее на душе».

Новые военные реалии вызывали новые темы творчества: к 1915 году в «Новом Сатириконе» прочно утвердился смеховой сюжет, рожденный условиями жизни при объявленном «сухом законе». С 19 июля 1914 года вследствие царского указа о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории России торговля алкогольными изделиями была прекращена. Протестный «алкогольный» юмор сатириконцев был доброжелателен к пьющим. Они настолько иронически относились к «сухому закону», что в 1915 году выпустили целый сатирико-юмористический сборник «Осиновый

кол на могилу зеленого змия», в котором скептически рассматривали перспективу всеобщей трезвости. Содержание этой книги не может не вызвать улыбку: Аркадий Бухов «Всемирная история пьянства», Исидор Гуревич «Алкоголизм и медицина», Александр Рославлев «Пьяные стихотворения» и т. д.

Аверченко написал для сборника четыре фельетона: «Осиновый кол», «Сухой праздник (Неорождественский рассказ)», «Гипнотизм» (Очерк) и «Непонятное». В фельетоне «Осиновый кол», открывающем сборник, сатирик четко определил свою позицию:

«Позвольте мне поплакать, читатель — мой интимный доверенный друг, — знаете, о чем? Об исчезновении на Руси пьянства. <…>

Кажется, радоваться бы надо?

Жена пьяного сапожника, как и я теперь, тоже радуется, что прибрал Господь, выкинул из русской жизни пьяного зверя, а все-таки, когда покойника начнут опускать в наскоро сколоченном гробу в могилу, хлопнется простодушная баба оземь и завоет истошным голосом:

— И на кого ж ты меня поки-и-нул? И что же я теперь без тебя, милостивца (?!), делать буду?! И пришла же мне без тебя смертушка-а-а!! <…>

Вот так же, как вдовая жена издохшего сапожника, плачу и я тихими интеллигентскими слезами над трупом издохшего русского пьянства.

Будь ты проклято, анафемское, но все-таки много в тебе было своеобразной поэзии, уюта и прелести закостеневшего, сложившегося быта».

Далее автор скорбит о том, что грядущие поколения ни за что не поймут «весь пьяный дух» русской литературы, ведь «тесно нанизаны ее перлы на пьяную нитку, и мерцают эти перлы поярче, пожалуй, других перлов — не пьяных». Не поймут потомки ни «гениально-пьяное вранье Хлестакова», ни «Вия», ни «Певцов» Тургенева… Провожая Зеленого змия в последний путь, Аверченко произносит патетическую речь на его воображаемой могиле: «Милостивые государыни и милостивые государи! Кого мы хороним? Кого мы лишились? Зеленого змия мы хороним. Пьянства мы лишились… Дорогой покойник! Ты был нашим спутником, нашим утешителем, вдохновителем и верным другом <…> Могильщики! Засыпайте! Плотник! Где плотник? Приготовили ли вы заказанный вам трезвой Россией осиновый кол? Здесь? Благодарю вас! Потрудитесь забить его так, чтобы от земли выдавался конец не больше аршина… На память потомкам! Делайте свое дело, плотник!»

Запрет на продажу спиртного особенно огорчал Александра Степановича Грина. Вот он сидит, глубоко погрузившись в кресло, и думает о чем-то невеселом. Редакционное совещание закончилось. Аверченко щелкает замком портфеля и собирается уходить.

— Господин заядлый пессимист, — говорит он Грину, — бросьте вашу черную мерехлюндию, едем обедать к Альберту[55].

Грин отвечает медленно, подбирая рифмы:

Уважаемый патрон,
Приглашеньем я польщен,
Но в ресторанах запрещен
Благородный выпивон.

— Какой смысл там обедать? — спрашивает он.

— Чай будем пить! — с веселой беззаботностью отвечает Аверченко. — Едем, едем!

Приехали в ресторанчик, где Аверченко был завсегдатаем. Немедленно подскочил официант:

— Что прикажете, Аркадий Тимофеевич?

— Дайте нам чайку.

— Уж это как водится!

— И севрюжинки с хреном.

Официант принес на подносе две чашки и два пузатых фарфоровых чайника.

Аверченко налил Грину:

— Пейте залпом, он холодный.

Грин глотнул — портвейн! В другом чайнике была английская горькая! «Вот что значит завсегдатай!» — с восхищением воскликнул Грин.

Когда Александр Степанович пересказывал этот случай в редакции, кто-то предложил ему тоже стать завсегдатаем «у Альберта». Грин на это лишь молча вывернул пустые карманы. Выражение «благородный выпивон» с тех пор стало крылатым среди сатириконцев. Некоторым, правда, не нравился компонент «благородный». Тэффи, к примеру, предлагала свой вариант: «Радость сердца выпивон».

Алкогольные напитки были лишь одним из пунктов в списке бытовых лишений петроградцев. Ухудшилось снабжение населения продовольствием, выросли очереди захлебом, электричество подавалось вполнакала. Хозяйственные затруднения выразились в том, что «Новый Сатирикон» вынужден был экономить бумагу, а это, в свою очередь, привело к сокращению объема журнала с 16 до 12 страниц. В рассказе

Аверченко «Уют пропал» (1917) изображено тоскливое существование компании столичных жителей, которые коротают вечер за стаканом плохого чая при тусклом свете электричества в нетопленой квартире:

«Муфта вывалилась из окна, и ветер острой, холодной волной дунул нам в лицо, донеся до наших ушей обрывок чьего-то нечеловеческого, жуткого по своей безысходности, крика на улице:

— Изво-о-о-зчик! Изво-о-о…»

В журнале Аверченко к 1917 году нарастают ноты пессимизма и апокалиптические настроения. В первом номере за 1917 год был дан такой прогноз на февраль: «Торговцы маслом пожиреют. Сыру не будет ни со слезою, ни без слезы. Блины будут со слезой. В новом кабинете появится министр, который через 24 часа станет старым». Революция не казалась сатириконцам близкой.

Как вдруг… началось!

## «Вся власть Аркадию Аверченко!»

Началось время революционных потрясений, всеобщей неразберихи, смены власти и бесконечных лозунгов: «Вся власть Учредительному собранию!», «Вся власть Советам!», «Вся власть крестьянам!»… «Вся власть Аркадию Аверченко!» — в ноябре 1917 года предложит свой юмористический вариант писатель.

Однако обо всем по порядку.

По легенде, известие о Февральском перевороте застало Аркадия Тимофеевича и его коллег в ресторане «Пивато». Вероятно, в этот день выпито было немало — сатириконцы торжествовали в ожидании перемен! Аверченко словно подменили: куда исчез тот, кого Ре-Ми называл «неполитическим» человеком? Что стало с тем, кто на надоедливые вопросы журналистов, к какому политическому лагерю он принадлежит, иронически отвечал: «По отношению к вам и другим, лезущим с такими вопросами, — совершенно обратного»? Писатель ликовал и приветствовал создание Временного правительства, так как увидел в этом событии «новую зарю свободы и светозарного счастья».

Первый же номер «Нового Сатирикона», выпущенный после Февральского переворота, был полностью ему посвящен и делался в квартире Максима Горького на Кронверкском проспекте (в своеобразном «штабе» российской журналистики тех дней). На обложке красовалась надпись «Да здравствует Республика!». На первой странице был помещен полный текст манифеста

Николая II об отречении, внизу стояло «скрепил министр императорского двора Фредерикс». На статье была поставлена шутовская резолюция: «Прочел с удовольствием. Аркадий Аверченко». Эту остроту повторял весь Петроград.

Далее следовал аверченковский фельетон «Мой разговор с Николаем Романовым (Из воспоминаний»), где писатель рассказывал о своем воображаемом визите в царскосельский дворец и беседе с императором, которая якобы состоялась в начале мая 1916 года. Николай, хорошо знакомый с творчеством Аверченко, по словам автора, был поражен его молодостью. «Это и для меня удивительно, ваше величество <…> как я еще не превратился в дряхлого старика? При наших дурацких порядках человек в 20 лет может колесом согнуться!» — ответил ему Аркадий Тимофеевич. Далее писатель последовательно бросает в лицо императору обвинения: цензура душит, с правительством что-то неладное, вместо министров «дурак на дураке, жулик на жулике», армия воюет почти голыми руками, «свинья» Распутин «с наружностью банщика и ухватками конокрада» сделал императорскую чету всеобщим посмешищем.

«Революционный» номер «Нового Сатирикона» завершало шуточное «Постановление»:

«За составление, напечатание и распространение настоящего номера „Нового Сатирикона“ — приговариваются:

*Редактор Аркадий Аверченко* — к лишению всех прав и смертной казни через повешение.

*Секретарь Ефим Зозуля* — к лишению некоторых прав и повешению.

*Сотрудники* <…> к ссылке в Восточную Сибирь на срок от 18–20 лет.

*Типография*, в которой печатается настоящий номер, закрывается навсегда, владелец ссылается на поселение, метранпаж и наборщики подлежат арестантским ротам от 2 до 6 лет.

Газетчики за распространение номера подлежат штрафу не свыше 500 рублей, с заменой и т. д.

Все это было бы, *если бы* у нас был прежний режим, будь он проклят.

Но так как Россия сейчас свободна, то все обстоит благополучно, и все мы находимся на своих местах.

Да здравствует Российская Республика! Да здравствует свобода!»

Этот завершающий аккорд тематически перекликался с редакционной статьей «Цепи сброшены», призывающей поддерживать Временное правительство и Учредительное

собрание.

Сюжет вышеупомянутого фельетона «Мой разговор с Николаем Романовым» отнюдь не кажется фантастическим: Николай II действительно мог пригласить Аверченко во дворец, потому что был поклонником его творчества. Фамилия писателя встречается в дневнике императора и письмах Александры Федоровны. 7 мая 1918 года Николай II записал: «Вчера начал читать вслух книгу Аверченко „Синее с золотом“». Несколько ранее (3 февраля 1916 года) императрица в письме, отправленном супругу из Царского Села, сообщала: «Ольга и А. читали нам рассказы Аверченко о детях». Эдвард Радзинский в книге «Николай II: жизнь и смерть» описывал то, что увидели белые офицеры в Ипатьевском доме после казни императорской семьи: среди разбросанных икон валялись книги Чехова, Салтыкова-Щедрина, тома «Войны и мира», «Синее с золотом» Аверченко.

Одной из устойчивых полубылей-полулегенд, связанных с Аркадием Тимофеевичем, является как раз история о приглашении его в Царское Село для чтения рассказов императорской семье. В литературе, посвященной «Сатирикону», до сих пор нет единой картины того, как все это произошло. Когда именно это было, никто из мемуаристов точно не помнит: в 1910 году (Камышников), в 1912-м (Бухов), в 1913-м (Корнфельд), в 1914 году (Брешко-Брешковский). Было это официальное или неофициальное приглашение — тоже вопрос. Точно известно лишь то, что Аверченко не поехал. На совещании в редакции решили, что ему нечего делать в царскосельском дворце! Радаков уже в конце 1920-х годов горделиво вспоминал этот инцидент и приговаривал: «И мы все отказались. В гости к Никола-а-шке?! Не-е-т! Мы не удостоили его этой чести!» (Хотя нет никаких сведений о том, что приглашались «все».)

Аркадий Бухов вспоминал слова редактора «Сатирикона» по поводу этого приглашения: «Постоянным придворным чтецом я все равно не останусь, а на один раз не стоит».

Легенда о приглашении в Царское Село обросла еще большими подробностями в книге Николая Вержбицкого «Записки старого журналиста» (М., 1961). Автор вспоминает, что в 1911 году ему предложили работу в «Сатириконе», и якобы именно тогда пришел в квартиру к Аверченко «придворный чин и заявил, что царь соизволил пригласить» Аркадия Тимофеевича во дворец. «Аверченко прекрасно понимал, что для него пойти в гости к царю — значит поставить крест на своей репутации журналиста. Но и прямо отказаться было как-то страшно. И он объявил себя больным». Потом кто-то придумал анекдот: якобы через

некоторое время Аверченко одумался, но Николай сказал: «Поздно спохватился!» Далее Вержбицкий рассказывает, что Куприн, услышав об этой истории, «наградил» Аверченко злой эпиграммой:

О, нет, судьба тебя не обошла,
Не из последних ты на кухне барской, —
На заднице хранишь ты знак орла,
Как отпечаток пятки царской!

Далее в «Записках старого журналиста» излагаются вещи совсем невероятные. Якобы Аверченко попросил Вержбицкого поехать к Куприну и «передать, что его ввели в заблуждение».

Тот, в свою очередь, был «неприятно изумлен, узнав, что его четверостишие стало широко известным.

— Это прямо удивительно, — сказал он, нахмурясь, — как быстро наша публика подхватывает все злое! Я просто сболтнул среди близких людей, пошутил… И вот — пожалуйте. <…> Надо суметь так себя поставить в литературе и в жизни, чтобы самодержцу и в голову не пришло звать тебя в гости… Значит, Аверченко не сумел так себя поставить. Вот пусть и пострадает теперь».

Говорил ли Куприн что-либо подобное на самом деле или нет — трудно сказать. В любом случае, и приведенная злая эпиграмма, и реплика о том, что Аверченко «не сумел себя поставить» достойно, вполне в его духе. Самого Куприна в эти годы редко отваживались приглашать куда-либо, зная его непредсказуемый характер.

Однако вернемся к ликующим сатириконцам. Наступившая «свобода» радовала их в том числе и тем, что больше не нужно было иметь дела с цензурой (9 марта 1917 года был ликвидирован основной центр царской цензуры — Главный комитет по делам печати). В этих новых условиях журнал буквально расцвел. Юморист Дон Аминадо (А. П. Шполянский) в книге «Поезд на третьем пути» (1954) вспоминал, что все в России «для душевного отдохновения читали „Сатирикон“ и потом собственными словами рассказывали то, что написал Аверченко. Каждый номер „Сатирикона“ блистал настоящим блеском, была в нем и беспощадная сатира, и неподдельный юмор, и тот, что на миг веселит душу, и тот, что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе». На страницах журнала появились непочтительные карикатуры на бывшего императора. Например, на рисунке Радакова «Конец древа Романовых» был изображен Николай II, сокрушенно наблюдающий, как рушится

вековое генеалогическое древо Романовых. Оно не выдержало тяжести, так как на всех его ветвях — повешенные. Под рисунком надпись: «Александр III: Эх, Коля, Коля! Брал бы ты с меня пример: я понемногу вешал, а ты вот навесил сразу, дерево и не выдержало». А под издевательским рисунком Ре-Ми с изображением бывшего императора была помещена такая аннотация: «Важнейшие этапы царствования этого гениального монарха: Ходынка, Порт-Артур, Цусима, 9 января и др. По собственному признанию — „любит цветочки“, — хотя вместо цветочков любил срывать головы своих „верноподданных“. В отличие от обыкновенных людей ушиблен не мамкой, когда был маленьким, а японцем в Отсу, когда уже вырос. Это — сказалось. <…> Теперь — ведет замкнутый образ жизни». Сам Аверченко также не избежал оскорбительных выпадов в адрес низложенного императора. Он обращался к аудитории «Нового Сатирикона»: «Господа читатели! Да ведь что же это такое, а? <…> Я, можно сказать, такой человек, что я и царя нашего Николая Александровича Романова, всероссийского самодержца, презираю и считаю его форменным ничтожеством». Или другой пример: «Около двух десятков лет правила нами, умными, свободными людьми, эта мещанская скучная чета. Кто допустил?»

Где-то в эти дни в «Новый Сатирикон» пришел молодой, никому еще не известный Сергей Эйзенштейн и принес рисунок «на злобу дня»: в постели лежит Николай II, над ним голова Людовика XVI в сиянии. Подпись: «Легко отделался». Впоследствии он вспоминал: «„Сам“ Аркадий Аверченко забраковал его — мой рисунок. Заносчиво, свысока, небрежно бросив: „Так может нарисовать всякий“» (Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. Автобиографические заметки). Не знал же Эйзенштейн, что монополия на художественное оформление была у Радакова и Ре-Ми, и попасть в журнал возможно было только по их протекции (что случалось крайне редко).

Кстати, Радаков в эти дни совершал достаточно радикальные поступки, очевидно, побуждаемый к ним Маяковским. Автомобильная школа, где оба служили, стала своеобразным мини-очагом восстания. Радаков и Маяковский, а с ними пятеро солдат арестовали начальника автошколы генерала Секретова, которого презирали за взяточничество. Радаков вспоминал: «Решили, что раз министров свезли в Думу, надо, значит, и этого господина туда представить… Ну, посадили генерала в его прекрасный автомобиль. Он стал так заикаться, что ничего сказать не мог» (цит. по: Катанян В. Рассказы о Маяковском. М., 1940). Маяковский с удовольствием и не без гордости впоследствии рассказывал об этом эпизоде Горькому.

В эти дни среди сотрудников «Нового Сатирикона» начинает особенно выделяться Аркадий Бухов, который блистал в одном из своих излюбленных жанров — комической летописи. Приведем фрагмент из его фельетона «Краткие сведения» (1918): «Кто в это время (1914–1917 годы. — В. М.) правил Россией — современники точно узнать не могут, а официальных сведений по этому поводу не существовало. Ходили слухи, что был даже государь, но у нас нет оснований верить этим слухам, потому что, например, назначением министров заведовал тобольский конокрад Григорий Ефимович Распутин, младший знахарь тибетского далай-ламы Бадмаев и какая-то дама, очень популярная в немецком бюро военных сведений и известная в России под псевдонимом Вырубова. Благодаря энергичной работе этих лиц был приглашен городской сумасшедший г. Протопопов занять пост министра внутренних дел. Госдума очень тепло отнеслась к этому приглашению и даже перешла на „ты“ с будущим министром, к которому в случае нужды обращались прямо: „Послушай, ты, мерзавец…“ Протопопов быстро организовал дело защиты столицы от нашествия на нее со стороны провианта. В несколько дней Петрограду не угрожал ни один кусок хлеба».

Аверченко отчетливо почувствовал, что Бухов достиг такой степени профессионализма, что вполне может заменить его на посту редактора «Нового Сатирикона». Передав Бухову дела, Аркадий Тимофеевич с головой погрузился в новые проекты. Он наладил в своем издательстве выпуск еще двух сатирических журналов — «Эшафот» и «Барабан». В первом номере «Эшафота» редакция заявила: «Здесь будут гильотинированы политические шулеры и проходимцы, и еще те олухи, которые из всех частей человеческой и грамматической речи знают только „притяжательное“ „мое“… Мы свободны! И мы не хотим ни иронии, ни лукавства — ибо мы не забавляемся, а враждуем. Так будем же до конца искренни, но до конца беспощадны!» Журнал редактировал Петр Пильский, о котором весной 1917 года говорил весь Петроград. Поводом послужила его статья «Смирительную рубаху!» в газете «Петроградское эхо», написанная по поводу выхода из больниц умалишенных. В этой статье Пильский с научной серьезностью, опираясь на последние данные психиатрии, классифицировал всех главных проповедников большевизма по видам их буйного сумасшествия и настаивал на заключении их в изолированные камеры сумасшедшего дома, с применением горячечной рубашки. В статье было сказано, что «по крайней мере, двузначное число комиссаров лишено здравого рассудка и место для этих

новаторов должно быть приготовлено в лечебницах» и «они настоятельно нуждаются не только в броме, не только в душе, но и в крепкой смирительной рубахе, столь полезной для неистовствующих галлюцинатов».

Что касается журнала «Барабан», то Аверченко часто называл его «своим» и активно рекламировал на страницах «Нового Сатирикона». Вот, к примеру, сюжет одного из рекламных рисунков с названием «Зачитался»: обалдевший от восторга гражданин погружен в чтение журнала и даже не замечает, что через его голову прыгает жокей на лошади. Жокей:

— Эй, господин, не могли вы, черт вас возьми, найти лучшего места для чтения?

— Протрите глаза, ведь это я журнал «Барабан» читаю!

— Ну так что?

— А когда у меня в руках «Барабан», так я ничего не вижу и не слышу!

В «Путеводителе по прессе» М. Ефимова «Барабану» была дана такая шутливая характеристика:

«Филиальное отделение „Нового Сатирикона“. Руководящие принципы, положенные в основу издания:

1) Все для войны и революции.

2) Утилизация отбросов.

Редактирует М. Линский. Пишет М. Линский. Рисует талантливый М. Линский».

Действительно, в первом номере «Барабана» сообщалось, что он становится приложением к «Новому Сатирикону» «из-за обилия материала в связи с февральской революцией».

Михаил Линский (Шлезингер), ставший редактором этого издания, был хорошо знаком одесситам. Он являлся сотрудником «Одесских новостей», «Южной недели». Линский в то время — художник-карикатурист и личность самая известная. Они были знакомы с Аверченко не только как коллеги-журналисты. В 1913 году Линский работал антрепренером Одесского театра миниатюр, на сцене которого ставились пьески Аверченко. С октября 1915-го до августа 1918 года карикатурист жил в Петрограде и Москве.

Аркадий Аверченко отдавал все свои силы на спасение завоеваний Февральской революции, однако его радостная экзальтация быстро сменилась тревогой, поскольку после свержения самодержавия в России установилось двоевластие: Временное правительство, которое поддерживал Аверченко, было вынуждено считаться с Петроградским советом, в котором были сильны большевистские настроения. Стремясь закончить войну, лидеры Петросовета разлагали армию, вследствие чего 1 марта

1917 года появился Приказ № 1 о новой системе взаимоотношений в армии, который, как считал Аверченко, приведет к ее полной дезорганизации (и это в условиях войны!). Зозуля вспоминал о реакции писателя на Приказ № 1: «Что стало с Аверченко? Куда девались его спокойствие, благодушие?»

Да, Аркадия Тимофеевича все больше охватывало беспокойство. Его пугали приказы, декреты, шныряющие по городу агрессивные провокаторы, готовые в любой момент схватиться за камень или нож. Откуда в этих людях столько злости и решимости? Почему они априори ненавидят его, никогда не принадлежавшего к «классу душителей»? Эти вопросы писатель задавал самому себе в фельетоне «Мое самоопределение» (1917, май). Сюжет таков: выступая на митинге в защиту Временного правительства, Аверченко вдруг увидел в толпе одного «гражданина в зеленом, довольно легкомысленном для его возраста пиджаке, клетчатой кепке и узких штанах», который повел «широким ноздристым носом» и изрек: «Буржуй разговаривает». Аркадий Тимофеевич был потрясен и стал допытываться, по каким признакам гражданин причислил его к буржуям:

«— Это вы кого же — меня назвали буржуем?

— Обязательно.

— За что?

— Крахмал.

Мы оба недоуменно поглядели друг на друга.

— Крахмал, вы говорите?

— Обязательно.

— Какой крахмал?

— Рубашка, тово. Крахмалэ, как говорится. Хи-хи.

— Только и всего?

— Очки тоже.

— Это пенсне. Да и что в нем дурного? Наоборот: без него я ничего не вижу и могу вам же наступить на ногу или толкнуть.

— Попробуй.

— Я говорю лишь предположительно.

Стоя друг против друга, мы погрузились в печальную задумчивость.

— Так буржуй я?

— Буржуй.

— Что же мне теперь делать?

Он был несколько озадачен.

— Что делать? Ничего. Довольно уже наделали. Довольно попили нашей крови!

Сколько я ни напрягал своей памяти, никак не мог вспомнить

такого эпизода в своей жизни, чтобы пришлось утолить жажду кровью зеленого гражданина или кого другого в этом роде. В этом отношении я был невинен, как годовалое дитя.

Попытался робко оправдаться:

— Это не я. Я не пил вашей крови. Это кто-нибудь другой.

— Все вы хороши. Деньги есть?

— Есть. В банке. Двадцать тысяч.

— Надо отдать народу.

— У меня и квартира еще есть в четыре комнаты; мебель тоже; контракт на три года.

— Надо отдать трудящимся.

— А сам я где буду жить?

— Где?.. Гм. Ну, квартиры не надо. Отдай только деньги.

— Позвольте! Это я сам заработал. Как же отдам всё? С какой стати?

— Долой капитализм!

— Да позвольте, мой зелено-пиджачный друг! Велик ли мой капитал — двадцать тысяч! Да ведь теперь рабочий зарабатывает пятьсот — восемьсот рублей в месяц! Ведь он тоже капиталист!

Он критически усмехнулся.

— Скажете тоже! То какие-то восемьсот рублей, а то — двадцать тысяч. Насосались вы, я вижу, нашей кровушки.

— А, чтоб вас черт побрал! — вышел вдруг я из берегов. — Маковой росинки у меня вашей крови во рту не было!! Я писатель!! Слышали? Журналист! Поняли? Написал строчку — получил полтинник, написал две — получил рубль. Чью же я кровь сосал, тупая вы зеленая ящерица! Пятьсот строк в неделю, девять лет работы — экономия двадцать тысяч! Поняли вы это, зеленый смородиновый куст?!!

— Я попросил бы вас на меня не кричать. Буржуй несчастный! Тьфу!!»

Ни до чего не договорившись, спорщики «разлетелись в разные стороны». По пути домой опечаленный Аверченко размышлял: «Откуда выползли эти травяного цвета граждане, для которых обидеть человека тяжким прозвищем „буржуй“ так же легко, как выкурить папиросу? Какое они имеют право?» Придя домой, он стал рассматривать себя в зеркало и пытаться вспомнить, в какой же момент он стал буржуем: «Черт меня возьми, когда же я им сделался? Ведь эти анафемские двадцать тысяч не сразу же у меня появились, а постепенно. И был ли я буржуем, когда, бросив шестидесятирублевое место на Брянском руднике, приехал в Петроград с одиннадцатью рублями в кармане? Неужели эти проклятые „одиннадцать“ погубили меня, запали мне в карман тем крохотным буржуазным семенем, из

которого выполз росток и разрослось огромное двадцатитысячное буржуазное дерево?» Путем несложных логических размышлений писатель все-таки пришел к выводу, что деньги заработал честным трудом и, даже если у него сейчас все заберут, он не будет сидеть сложа руки и очень скоро снова заработает капитал, потому что у него есть голова на плечах. «Товарищ в зеленом пиджаке! Ты через три слова говорил о равенстве… я умнее тебя. Как ты в этом со мной сравняешься?» (Новый Сатирикон. 1917. № 17).

В период между двумя переворотами весельчак Аверченко превращается в подлинного трибуна, призывающего соотечественников опомниться и осознать страшную угрозу, идущую от большевиков и их лидеров. Писатель был крайне раздражен тем, что Временное правительство действует так нерешительно. «Довольно мямлить! Договаривайте все слова! Ставьте точки над „i“. Вам нужна для спасения России диктатура — вводите ее. И если Керенский для порядка прикажет повесить меня первого — я скажу: вешайте, если это нужно», — буквально кричал он (Как мы это понимаем // Новый Сатирикон. 1917. № 19).

В «пятничном» альбоме Левкия Жевержеева в эти дни Аверченко оставил такую запись: «Русскую революцию часто — это уже стало трафаретом — сравнивают с ребенком, появившимся на свет в тяжких родовых муках матери — России… Если это ребенок, то странный ребенок: у него две ноги, но обе левые, а голова взрослого человека — Керенского. Благодаря такому устройству ребенок ходит, переваливаясь со стороны на сторону, и голова часто перевешивает хилое туловище. Вот как»[56].

Уже будучи в эмиграции, Аверченко напишет ряд фельетонов о «печальном Пьеро русской революции» Александре Керенском и резюмирует:

«Существует прекрасное русское выражение:

— Со стыда готов сквозь землю провалиться.

Так вот: я знаю господина, который должен был бы беспрерывно, перманентно проваливаться со стыда сквозь землю.

Скажем так: встретил этот господин знакомого, взглянул ему знакомый в глаза — и моментально провалился мой господин сквозь землю… Пронизал своей особой весь земной шар, вылетел на поверхность там где-нибудь, у антиподов, посмотрел ему встречный антипод в глаза — снова провалился сквозь землю мой господин и, таким образом, будь у моего господина хоть какой-нибудь стыд — он бы должен всю свою жизнь проваливаться, пронизывая собою вещество земного шара по всем

направлениям…» («Керенский: Человек со спокойной совестью»).

Необходимо заметить, что в редакции «Нового Сатирикона» политические пристрастия разделились. На этой почве ссорились. Аркадий Бухов, к примеру, отстаивал «левые» взгляды, хвалил большевиков и считал, что они единственные, кто знает, что делать. С ним был согласен Ре-Ми.

Некоторые сатириконцы открыто перешли на сторону большевиков и стали работать в их изданиях. Первым начал с ними сотрудничать О. Л. Д'Ор, писавший для десятка большевистских газет и редактировавший журнал «Гильотина», а также призывавший писателей на страницах «Правды» ехать на фронт. Активным сотрудником революционных органов печати сразу после 1917 года стал Василий Князев. В дни Октябрьской революции и Гражданской войны его имя гремело по всей Республике Советов, а песни и марши на его стихи звучали в рабочих клубах и красноармейских казармах. Особенно популярна была «Песня Коммуны» (стихи В. Князева, музыка А. Митюшина):

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда,
Рок капризный не властен над нами.
Никогда! Никогда!
Никогда! Никогда!
Коммунары не будут рабами!

Славен красный наш род,
Жив свободный народ,
Все идут под знамена Коммуны.
Гей, враги у ворот!
Коммунары, вперед!
Не страшны нам лихие буруны… и т. д.

Сотни боевых агиток, сатирических стихотворений, политических памфлетов и фельетонов, пафосных стихов поэта печатались в «Красной газете», «Петроградской правде». «Богатырь Коммуны», «наш красный Беранже» — такими эпитетами награждали Князева в десятках статей. Перечислим лишь некоторые названия его поэтических сборников этих лет: «Красные звоны и песни» (1918), «Красное Евангелие» (1918), «Песни Красного звонаря» (1919). Невольно вспоминается булгаковский Иванушка Бездомный, одним из прототипов которого вполне мог быть и Князев.

Аверченко же ненавидел большевиков до зубовного скрежета.

Он утверждал, что все они немецкие шпионы и уголовники и часто повторял ходивший тогда по Петрограду афоризм: «Я — большевик и ничто уголовное мне не чуждо» (вполне вероятно, что он сочинен им самим). Крылатым стал и такой афоризм новосатириконцев: «Что у пьяного на уме, то у трезвого в декрете». Когда Ленин прибыл в Петроград, Аркадий Тимофеевич написал фельетон с характерным названием «Made in Germany» (апрель 1917 года), в котором говорилось, что самое остроумное немецкое изобретение — это отправка в Россию Ленина, «мечта которого — немедленное заключение сепаратного мира с Германией и гражданская война в России».

Однако в октябре 1917 года то, чего страшно боялся Аверченко, случилось — большевики взяли власть в свои руки. «Плачьте, русские!» — воскликнул писатель и с этих пор балагур-юморист умер — его сменил желчный сатирик, думавший о большевиках постоянно и страстно желавший падения их режима. В записной книжке Аркадия Тимофеевича этого периода есть запись, сделанная уже явно нетрезвой рукой: «С Гришей Якобсоном пари: сколько продержатся большевики. Я за то, что окончится до 15 февраля 1919 г., на 500 рублей»[57]. Ниже следовали подписи самого Аркадия Тимофеевича и загадочного Гриши, о котором не удалось узнать ничего.

Ненавидя большевиков, Аверченко один за другим создавал страшные портреты их вождей, причем особую его ненависть вызывал Троцкий — «неограниченный правитель Совдепии Лев I». Ленин пока еще воспринимался как фигура второго плана, вспомогательная. Однако оба они в представлении Аркадия Тимофеевича были авантюристами и уголовниками. Именно в таком аспекте он изобразил Ленина и Троцкого в фельетоне «Вся власть — мне» (ноябрь 1917 года): несколько дней подряд ходит Аверченко как неприкаянный и не может понять, чего ему хочется. Жениться не хочет, вагона белой муки не хочет, доходного дома на Невском тоже. Вдруг прозрел: власти хочется! Стукнул кулаком по столу и заорал: «Товарищи пролетарии! Объединяйтесь под знаменем: „Вся власть Аркадию Аверченко!“». Тут же и абсурдный декрет издал за подписью «сверхверховного сверхкомиссара Аркадия Аверченко».

«Не прошло и нескольких часов, как ко мне в квартиру влетели бледные, растерянные Троцкий и Ленин.

— Что вы наделали? — с порога крикнули они. — С ума вы сошли?

— А что? — спросил я с невинным видом. — Садитесь, господа.

— Уже? — крикнул хрипло Троцкий. — Мы не хотим

садиться! Вы не имеете права нас арестовывать!

Я вспыхнул.

— Это почему же, скажите, пожалуйста, — надменно спросил я. — Отныне вся власть перешла ко мне! Вся власть Аркадию Аверченко!

— Вас никто не выбирал!

— Выберут! Я таких обещаний в свой декретишко насовал, что за мной побегут…

— За ним все равно никто не пойдет, — пробормотал дрожащими губами Троцкий.

Я ядовито улыбнулся:

— Вы думаете? А вы слышите уже эти крики на улице: „Вся власть Аркадию Аверченко! Долой капиталистов Троцкого и Ленина!“?

— Пощадите! — застонал, простирая ко мне руки, Ленин. — Отступитесь!

— Поздно, — сказал я роковым голосом, показывая на появившихся в дверях красногвардейцев. — Арестуйте этих двух…

Я устало указал на Ленина и Троцкого.

— Куда их потом? — презрительно спросил красногвардеец.

— Ну, как обыкновенно: в Петропавловку. Ступайте, господа. Все там будем».

Аверченко разглядывал Троцкого и Ленина как некие экспонаты паноптикума, а Ленину даже вынес самый страшный приговор — Ленин не смеется! В фельетоне «Моя симпатия и сочувствие Ленину» (март 1918 года) Аверченко писал:

«Я очень добрый человек.

Например: у меня нет ни злобы, ни ненависти к Ленину, Ульянову — тоже.

Мне только очень его жалко. <…>

Мне очень интересно знать, как вообще живет Ленин: что он ест, и много ли, с удовольствием ли, что читает, когда ложится спать и смеется ли?

Я думаю, что не смеется. И ему самому скучно жить, и тем, кто около него, тоже скучно живется.

<…> Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны.

Почему мы, простые граждане, имеем право на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь?

Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как от ложки касторового масла.

Сбросьте с себя все эти скучные сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь… такой же

беззаботной птицей, как я… Будем вместе гулять по теплым улицам…»

Однако Владимир Ильич очень даже умел посмеяться, и писатель поймет это в 1921 году, но об этом речь впереди.

Свою ярость по отношению к большевикам Аркадий Тимофеевич изливал и в «филиальном отделении» «Нового Сатирикона» — журнале «Барабан». Например, в фельетоне «Монополизация объявлений» он глумился над большевистским Декретом от 21 ноября 1917 года о введении государственной монополии на объявления. Аверченко предложил «компромиссный выход из этого так называемого идиотского положения»: газеты должны подсовывать рекламу в тексте незаметно, «чтобы так называемые комиссары не придрались». Вот образец передовицы: «Большевики, опираясь на штыки несознательных солдат и ружья красногвардейцев, продолжают терроризировать страну. Обыватель поэтому нервничает. И только пилюли против нервности и малокровия „Танго“ (требуйте подпись изобретателя Фридкина), еще кое-как спасают его. Многие граждане просто бегут из Петрограда. Но куда ехать? Разве только в курорт „Будьте здоровы“ на берегу Черного моря. Чистый воздух. Прекрасные виды, курзал, библиотека, симфонический оркестр. За справками: Морская, 100, Петру Дымкину…» А вот образец телеграммы в номер: «Винница. Произошел взрыв порохового погреба. Чем вызван взрыв — неизвестно. Известно только, что в цирке Чинизелли взрыв аплодисментов вызывает неутомимый Жакомино». Или из хроники: «Чудеса загробного мира. В квартире ап<текаря> Крысиса вдруг появились духи. Есть французские и английские. Большой выбор Коти, Герлена, Пивера…» Заканчивался фельетон словами: «Товарищи редакторы газет! Совет народных комиссаров надувает всю Россию! Неужели и мы не можем надуть Совет народных комиссаров?»

Объявляя подписку на 1918 год, редакция «Нового Сатирикона» между прочим сообщала: «Увидев это симпатичное объявление о подписке, большинство наших верных подписчиков спросит с легким недоумением: „Виноват, как же вы смотрите на наше ближайшее русское будущее, если среди общего крушения и обломков все-таки объявляете солидную, спокойную подписку?“ Читатель наш и подписчик! Несмотря ни на что, мы бодро и уверенно смотрим вперед. За ночью наступает день. За преступлением — наказание. 1917 год был годом подлого гнусного преступления. 1918 год — будет годом расцвета и годом жестокого наказания для негодяев, годом ужасного разочарования для дураков. Мы с вами, читатель, ни дураки, ни

негодяи. Мы судьи и прокуроры. Итак — суд идет!..»

Однако судьи никак не приходили.

Жители Петрограда голодали. Аверченко в марте 1918 года восклицал:

«По новому декрету петроградцев предложено кормить хлебом по категориям… Рабочие получают ½ фунта хлеба… В эту категорию входят печатники, дворники, прачки и гладильщицы… В третью категорию входят писатели, инженеры, артисты и парикмахеры. Они будут получать по 1/8 фунта в день.

Итак, Шекспир, Эйфель и Гаррик должны жить на осьмушку.

А чтобы им не было обидно, им в компанию дали парикмахера.

Это концентрическое распределение по категориям не напоминает ли кругов Дантова ада: в одном кругу плохо, а в другом еще хуже…» («Круги Дантова ада»).

В среде петроградских литераторов ходил занимательный документ — письмо владельца цирка Чинизелли в Отдел коммунальных театров и зрелищ, в котором он ходатайствовал, чтобы лошади театра были приравнены к артистам, а не к бездельничающим буржуям, и чтобы паек им выдавали по первому разряду.

Аркадий Бухов невесело шутил на тему голода в «Новом Сатириконе»:

«У нас будут дети, — с загадочной улыбкой сказала Девушка. — Ребенка можно не кормить, они только легче умирают от этого, эти самые ребенки. Ах, я люблю детей. Мне хочется от тебя ребенка.

— Маленького, тепленького, розового, — кинул вдаль свою мечту Юноша.

— Мягкого, сочного, — взметнулась душа Девушки.

— И чтобы кожица хрустела, — нежно шепнул Юноша, — а по бокам картофель и сметаны побольше…» (Бухов Арк. Любовь весенняя // Новый Сатирикон. 1918. № 8).

Да, юмор сатириконцев стал черным. Чего стоит хотя бы рисунок «Венецианская идиллия» с обложки третьего номера за 1918 год: Троцкий на Дворцовой площади Петербурга, усыпанной трупами с сидящими на них воронами. Подпись: «У нас в Петрограде желающие могут кормить птичек, совсем как на площади Св. Марка в Венеции». В мае 1918 года вышел совершенно скандальный специальный номер «О Карле Марксе». На обложке под портретом Маркса была подпись: «Родился в Германии в 1818 г. Похоронен в России в 1918 г.». Далее следовала сатирическая биография немецкого философа, написанная А. Буховым. Постарался и Ре-Ми: он изобразил

сельский праздник в честь Маркса — пьяные крестьяне водят хоровод вокруг соломенного чучела с надписью «Карла Маркса». Это уже было слишком: последний номер «Нового Сатирикона» вышел в июне 1918 года, а в августе журнал был запрещен.

Невольно задумаешься: а почему новая власть так долго закрывала глаза на ярую антисоветскую деятельность журнала? Почему проявляла такую терпимость, ведь после принятия Совнаркомом Декрета о печати (9 ноября 1917 года), направленного против буржуазной прессы, «Новый Сатирикон» продолжал выходить еще восемь (!) месяцев. Вполне возможно, что среди большевиков был все еще велик авторитет дореволюционного «Нового Сатирикона», боровшегося с реакцией и приветствовавшего Февральскую революцию. Надеясь, что редакционный коллектив все-таки опомнится и поддержит новую власть, большевики и терпели послеоктябрьскую версию журнала. Наши предположения отчасти подтверждают воспоминания Михаила Корнфельда. Вскоре после Февральского переворота он был мобилизован и служил в знаменитом Семеновском полку. Когда полк расформировали, Корнфельд и его сослуживцы отчаянно пытались его сохранить и даже участвовали в переговорах с председателем Петроградской ЧК Урицким по этому поводу. Урицкий, узнав, что перед ним бывший издатель «Сатирикона», сказал, что рад познакомиться и что в эмиграции для него, для Ленина и еще некоторых его друзей получение «Сатирикона» было настоящим праздником.

Двадцать восьмого января 1918 года Совнаркомом был издан Декрет о революционном трибунале печати, во исполнение которого были произведены аресты редакторов «Огонька» Бонди, «Эры» Анисимова и других в качестве заложников. Аверченко не мог не знать об этом. Когда кто-то предупредил его о том, что Урицкий получил ордер на его арест, у писателя оставался один выход — бежать. На основании удостоверения, выданного ему Московской муниципальной районной управой города Петрограда на право жительства в пределах РСФСР 14 сентября 1918 года[58], можно утверждать, что его отъезд из города произошел после этой даты. Разумеется, Аверченко даже в страшном сне не мог увидеть, что больше никогда не вернется: все надеялись на скорое падение большевизма. Отъезд из Петрограда был, по его собственным словам, «вынужденно срочным, лихорадочно поспешным». Аркадий Тимофеевич собирался наскоро, поэтому бессистемно «совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку». Так и получилось, что дореволюционный архив писателя для нас потерян — все исчезло в лихолетье.

Ефим Зозуля, приехавший в 1920 году после длительной отлучки в Петроград, зашел в помещение бывшей редакции, конторы и экспедиции «Нового Сатирикона» и обнаружил, что все комнаты заняты под жилье. На его вопрос, что же стало с имуществом и складским хозяйством журнала, он получил ответ, что все стопили во время холодной зимы 1919 года. Зашел он и на квартиру Аверченко. Застал дверь заколоченной: человек в серой поддевке, сидевший у ворот и исполнявший обязанности дворника, долго переспрашивал Зозулю, неправильно повторяя фамилию Аверченко, и, наконец, ответил, что в этом доме таких нет…

# Глава третья. КУБАРЕМ

Жизнь кубарем покатилась под откос…

Аверченко, Радаков и Ре-Ми по одному пробрались в Москву. Они получили приглашение от актера оперетты Александра Кошевского[59] организовать театр-кабаре где-нибудь на юге России. Встретиться и обсудить детали договорились в его московской квартире.

Однако сатириконцы застали Кошевского тяжелобольным. Никуда ехать он не мог. (Этому артисту, как писала Тэффи, «всегда казалось, что он смертельно болен». Накладывая себе в тарелку третью добавку чего-нибудь вкусного, он всегда приговаривал: «Да, да, подозрительный аппетит. Верный симптом начинающегося менингита».)

Алексей Радаков вспоминал: «Каприз судьбы… вдруг телеграмма из Питера: „Для ликвидации типографии пришлите представителя“… Бросили жребий, кому ехать. Мне! Приехал обратно, тут и остался…»

Аверченко пробыл в Москве совсем недолго, однако, по некоторым свидетельствам, он успел устроиться заведующим литературной частью одного из летних театров (Швейцер В. З. Диалог с прошлым. М., 1966). 27 сентября писателем было получено удостоверение Уголовно-разыскного подотдела административного отдела Московского совдепа на выезд за границу[60].

Незадолго до отъезда Аркадий Тимофеевич встретил Тэффи, которая пребывала в расстроенных чувствах и рассказала, что ее петербургское житье-бытье ликвидировано, газета «Русское слово» закрыта… Перспектива туманна.

— Я слышал какой-то анекдот о Дорошевиче, — с улыбкой заметил Аверченко.

— О, да!.. Они вместе с Дранковым заявили большевикам, что едут на юг экранизировать «Сахалин»[61], дабы показать все зверства царского режима в отношении заключенных. В общем, нашли легальный предлог для выезда из Совдепии.

— И где они сейчас?

— Собирались в Киев. Теперь все хотят в Киев, под защиту немцев. Вы же знаете — все хлопочут о выезде, находят у себя украинскую кровь, нити, связи, переделывают фамилии на украинский манер, все неожиданно полюбили цибулю с салом!

Тэффи поделилась с Аверченко своими сомнениями: каждый день к ней является некий подозрительный субъект, антрепренер, и убеждает ехать с ним в Киев и Одессу на гастроли. Вид у него

самый непрезентабельный, говорит он без умолку и пугает ее страшными картинами грядущего московского голода.

— Соглашайтесь, — посоветовал Аркадий Тимофеевич. — Здесь уже ничего хорошего не будет. И давайте поедем вместе, меня тоже везет антрепренер в Киев. Со мной еще две актрисы — будут разыгрывать скетчи.

Так и получилось, что Тэффи с Аверченко бок о бок проделали полный опасностей и неожиданностей путь из Москвы в Киев, описанный Надеждой Александровной в книге «Воспоминания» (1932).

Эти мемуары, интересные сами по себе, ценны для нас тем, что показывают Аверченко в достаточно критических жизненных ситуациях. Так, когда вся Москва металась в поисках пропуска на выезд, Аркадий Тимофеевич преспокойно спал, потрясая этим антрепренера Тэффи.

— Понимаете, — кричал тот, — прибегал сегодня в десять утра к Аверченке, а он спит, как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает!

— Да ведь мы только через пять дней едем.

— А поезд уходит в десять. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь? Он будет спать, а мы будем ждать? Новое дело!

По свидетельству Тэффи, Аверченко ничего и никого не боялся. Он постоянно советовал ей ни на что не обращать внимания и думать о чем-нибудь веселом.

Шел он, впрочем, и дальше советов.

Как-то в поезде к Тэффи привязался мотив из «Сильвы»:

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых…

Напев никак не отвязывался. На одной из станций им велели выгружаться и пересаживаться в другой вагон.

«Я замешкалась и выхожу последняя, — вспоминала Тэффи. — Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит:

— „Любовь-злодейка, любовь-индейка“. Пожалуйте полтинник.

— Что-о?

— Полтинник. „Любовь-злодейка, любовь-индейка“.

Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. <…> Ищу

дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу. Аверченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь…

— Признавайтесь сейчас же! — говорю Аверченке.

— Пока, — говорит, — вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил: „Хочешь, спрашиваю, деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: ‘Любовь-злодейка, любовь-индейка’. Она за это всегда всем по полтиннику дает“. Мальчишка оказался смышленый».

Более всего Аверченко и Тэффи запомнилось пребывание на станции Унеча между Брянском и Гомелем. Осенью 1918 года здесь осуществляла «зачистку» в покинутых немцами и занятых большевиками районах знаменитая курсистка, впоследствии жена Щорса, — Фрума Хайкина[62]. В ее подчинении был вооруженный отряд ЧК, состоявший из китайцев и казахов, ранее нанятых и привезенных Временным правительством на железнодорожные работы, а после Октябрьской революции оставшихся без средств к существованию и возможности вернуться домой. Тэффи нарисовала портрет Хайкиной со слов своего антрепренера Гуськина:

«Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо — комиссарша Х. — он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай — молодая девица, курсистка, не то телеграфистка — не знаю. Она здесь всё. Сумасшедшая — как говорится, ненормальная собака. Звер, — выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. — Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает: сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. <…> И ни в чем не стесняется. Я даже не могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченке. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Ну, одним словом, скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. Ну, так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас».

А вот что вспоминал Аверченко:

«…комендант Унечи — знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.

— За что? — спросил я.

— Зато, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.

Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:

— А вы читали мои самые последние фельетоны?!

— Нет, не читала.

— Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!

А что „нечего и говорить“, я, признаться, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах… просто писал, что большевики — жулики, убийцы и маровихеры… Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеждал» («Приятельское письмо Ленину»).

Дабы избежать подозрений в негативном отношении к новой власти, Аверченко с Тэффи дали для комиссарши и ее сподвижников концерт. Все обошлось благополучно.

До Гомеля добирались в товарном вагоне, сидя кружком на чемоданах. Поезд тащился нестерпимо медленно, ехали в темноте, голодные. Аркадий Тимофеевич и молодая актриса Оленушка мечтали о том, как они наедятся в Киеве.

«— Прежде всего теплую ванну, — говорит Оленушка, — только очень скоро, и потом сразу жареного гуся.

— Нет, сначала закуску, — возражает Аверченко.

— Закуска — ерунда. И потом — она холодная. Нужно сразу сытное и горячее.

— Холодная? Нет, мы закажем горячую. Ели вы в „Вене“ черный хлеб, поджаренный с мозгами? Нет? Вот видите, а беретесь рассуждать. Чудная вещь, и горячая.

— Телячьи мозги? — деловито любопытствует Оленушка.

— Не телячьи, а из костей. Ничего-то вы не понимаете. А вот еще, у Контана на стойке, где закуски, с правой стороны — между грибками и омаром — всегда стоит горячий форшмак — чудесный. А потом, у Альберта, с левой стороны, около мортоделлы, — итальянский салат… А у Медведя, как раз посредине, в кастрюлечке, такие штучки, вроде ушков с грибами, тоже горячие» (Тэффи. Воспоминания).

В таких мечтах добрались до Гомеля.

Вероятно, единственный свидетель того, что происходило с Аверченко в этом городе, — Леонид Утесов. В книге «Спасибо, сердце!» он рассказывал:

«Это было в восемнадцатом году. Я приглашен в Гомель, мы готовим программу для открытия ресторана-кабаре, что-то вроде „Летучей мыши“. <…> Гомель запомнился мне. <…> Здесь произошло мое знакомство с Аркадием Тимофеевичем Аверченко, которого я знал и любил по его остроумнейшим рассказам. Он приехал в Гомель с целой группой журналистов и сразу же пришел в театр, в котором приютилось наше кабаре. <…> Гомель был переполнен, приезжим устроиться было почти невозможно. Я пригласил Аверченко к себе, и он несколько дней жил со мной в маленькой комнатушке. Маленькие комнатушки удивительно сближают людей! Не без основания принято думать,

что писатели-юмористы в жизни обычно люди грустные. Слишком много они видят и понимают. Я в этом не раз убеждался. Но жизнерадостный, веселый Аверченко опровергал это мнение сразу же. Он сам любил посмеяться и любил посмешить других. С ним было удивительно интересно. Он все время выдумывал юмористические положения. Когда мы укладывались, например, спать, и я, по молодости лет, быстро засыпал, то Аверченко, завидуя этой благодати и не желая оставаться в одиночестве, едва только начинал я посапывать, выкрикивал:

— Дядя Ваня! (Дядя Ваня был арбитром чемпионата французской борьбы). Где Заикин? (а это был знаменитый борец).

Я вздрагивал и просыпался. Аверченко выдерживал паузу и, убедившись, что я в состоянии понимать человеческую речь, как бы за Дядю Ваню говорил:

— Заикин у постели больной матери определяет сына в гимназию.

Я с удовольствием смеялся этой абракадабре, что не мешало мне тут же легко и без усилий снова уходить в сон. И снова раздавался возглас:

— Дядя Ваня! А где Кащеев? (еще один борец, гориллоподобный человек, почти совершенно неграмотный).

Проделав ту же игру, Аверченко отвечал:

— Кащеев на Волге изучает историю римского права.

Я снова покатывался от смеха, представляя себе Кащеева, читающего по-латыни.

В свободные вечера я брал в руки гитару и пел песни. Аверченко задумчиво слушал меня, и за стеклами очков я видел вдруг загрустившие добрые глаза.

Наверно, несмотря на большую разницу лет, мы могли бы с ним подружиться — уж очень согласно звучал наш смех».

После Гомеля добрались, наконец, и до Киева.

Здесь кипела жизнь, на вокзале продавали борщ и булки, от которых оголодавшие петербуржцы совершенно отвыкли. На Крещатике можно было встретить весь Петроград и всю Москву, поэтому Киев в газетной публицистике того времени называли «Петромосквой» или «Москвокиевом». Тэффи вспоминала слова одного из встреченных ею бывших сотрудников «Русского слова»:

«— Что здесь делается! Город сошел с ума! Разверните газеты — лучшие столичные имена! В театрах лучшие артистические силы. Здесь „Летучая мышь“, здесь Собинов. Открывается кабаре с Курихиным, Театр миниатюр под руководством Озаровского. От вас ждут новых пьес. „Киевская мысль“ хочет пригласить вас в сотрудники. Влас Дорошевич, говорят, уже здесь. На днях ждут Лоло. Затевается новая газета, газета гетмана под редакторством

Горелова… Василевский (Не-Буква) тоже задумал газету. Мы вас отсюда не выпустим. Здесь жизнь бьет ключом» (Тэффи. Воспоминания). А вот свидетельство Дон Аминадо: «Киев нельзя было узнать. Со времени половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства» (Дон Аминадо. Поезд на третьем пути).

В Киеве Аверченко и Тэффи останавливались в гостинице «Франсуа» на углу улиц Владимирской (Большой Владимирской) и Богдана Хмельницкого (Фундуклеевской). Устроиться им помог упомянутый выше Lolo (Леонид Григорьевич Мунштейн), бывший сотрудник «Нового Сатирикона». «Наконец комната была получена: в огромном отеле с пробитой крышей, с выбитыми окнами», — писала Тэффи. В ресторанном зале этого здания с весны 1918 года существовал театр-кабаре «Подвал Кривого Джимми» (экс-«Би-ба-бо») — детище Николая Агнивцева.

Тэффи начала сотрудничать в «Киевской мысли». Аверченко же в компании с другими сатириконцами (Аркадием Буховым, Владимиром Воиновым, Евгением Венским, Александром Грином и пр.) выпускал еженедельную газетку «Чертова перешница». По словам Дон Аминадо, она пользовалась«…наибольшим успехом на галерке и бельэтаже… Листок официально — юмористический, неофициально — центр коллективного помешательства. Все неожиданно, хлестко, нахально, бесцеремонно. Имен нет, одни псевдонимы, и то выдуманные в один миг, тут же на месте» (Дон Аминадо. Поезд на третьем пути). Булгаковеды установили, что эта газета под названием «Чертова кукла» упоминается в романе «Белая гвардия»: «На кресле скомканный лист юмористической газеты „Чертова кукла“. Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова… Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян». Авторов газеты в доме Турбиных оценили так: «Талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь».

Писатель Михаил Слонимский вспоминал об этом киевском времени: «Часть сатириконцев начала издавать газету „Кузькина мать“. Когда ее закрыли, она переименовалась в „Чертову перешницу“. Газета эта пародировала все на свете — от передовицы, составлявшейся из газетных шаблонов того времени, до изменений названий, практиковавшихся тогда» (Слонимский Мих. Завтра. Проза. Воспоминания).

Осевшие в городе журналисты по вечерам собирались у Михаила Мильруда — бывшего сотрудника «Киевской мысли» и «Русского слова». (Пройдет не так много времени, и этот человек в неустойчивый период смены режимов попадет в ЧК в «лапы»

самого Лациса. Его обвинят в польском шпионаже, приговорят к расстрелу, он чудом спасется, сбежит в Одессу, потом в Румынию. Затем — Берлин, Данциг, Рига. В Прибалтике он станет одним из редакторов популярнейшей эмигрантской русской газеты «Сегодня», с которой будет активно сотрудничать Аркадий Тимофеевич.)

О последних киевских днях писала Тэффи в фельетоне «Разъезд» (1919):

«Киев пустеет.

В газетах появились давно невиданные объявления о сдающихся квартирах и комнатах.

Исчезли питеро-московские физиономии.

Закрываются типографии. Пустеют парикмахерские.

Точно ветром сдуло — полетели вниз по земному шару.

— Одесса! Константинополь! Принцевы острова!

Некоторых понесло вбок, на Берлин, в самую гущу немецкой революции. Зачем это все? Почему и с какой целью — не все отдают себе отчет.

Первыми поднялись те, кого отзывали дела. Вторые поехали потому, что уехали первые. Третьи, — потому что вторые. Четвертые, увидев, что город пустел, поднялись тоже.

— Все едут, значит, почему-нибудь да надо. Уж им там виднее. <…> В Одессу! В Константинополь! На Принцевы острова!

— А потом?

— А потом — куда-нибудь. Говорят, в южной Гинпохондрии можно очень выгодно манные пни выкорчевывать.

— Где? В южной Гинпохондрии? Да такой и страны-то нету.

— Ну вот еще! Галкин собирается, а вы говорите нету.

— И какие такие манные пни?

— Вероятно, те, которые остаются после сбора манной крупы. Не торчать же им в земле — земля нужна для нового посева. Там, братец ты мой, не Россия. Люди живут расчетливые и большой спрос на интеллигентные руки. Я бы на вашем месте тоже махнула.

— Да как туда ехать-то?

— Черт его знает. Не то через Варшаву, не то через Константинополь. Галкин хочет на всякий случай и оттуда и отсюда… Записать вам место?

— Что ж. Буду очень благодарна. А как там насчет осадного положения?

— Можете быть спокойны. Вряд ли там есть что подобное. Там, кажется, и людей-то совсем нет, одни собаки.

— А! В таком разе, пожалуйста, запишите. Так хочется

отдохнуть, освежиться.

— Ладно. Примите на всякий случай гиппопотамское подданство, чтоб не было задержек… До свиданья!

Уезжают».

В Киеве пути Тэффи и Аверченко разошлись. Что с ним было дальше, установить чрезвычайно сложно. В фельетоне «Приятельское письмо Ленину» (1921) он описывал маршрут своего «бега» так: «…из Киева в Харьков, из Харькова в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять… Севастополь». Если судить по отметкам столоначальников на удостоверении о пересечении границ, представленном в архиве писателя, события разворачивались следующим образом: 15 октября 1918 года — въезд в Харьков, 31 октября — Ростов-на-Дону, 1 ноября — Таганрог.

В Киеве и Харькове Аверченко не задержался. Александр Вертинский, рассказывая о харьковской жизни этого времени в книге «Дорогой длинною» (М., 2008), его фамилию не упоминает вовсе. Аверченко же Харьковом интересовался всегда. Уже будучи в Севастополе, он напишет фельетон «Перед лицом смерти» (1920), в котором расскажет о том, что творилось в городе после прихода красных:

«В харьковской чрезвычайке, где неистовствовал „товарищ“ Саенко[63], расстрелы производились каждый день. Делом этим большею частью занимался сам Саенко… Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещение, где содержались арестованные, со списком в руках и, став посередине, вызывал назначенных на сегодня к расстрелу. И все, чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставали с ящиков, служивших им нарами, и отходили в сторону».

Никому даже в голову не могло прийти противоречить этому убийце, но нашелся один из обреченных, некто Никольский, который, услышав собственную фамилию, невозмутимо сказал: «Что это вы, товарищ Саенко, по два раза людей хотите расстреливать? Неудобно, знаете. <…> Да ведь Никольского вчера расстреляли!» Саенко пробормотал: «А, ну вас тут… Запутаешься с вами» — и вычеркнул фамилию из списка. Так отважный Никольский, у которого не дрогнул ни один мускул, спасся…

Действительно, харьковская ЧК считалась одной из самых страшных в стране, а ее главарь Степан Саенко был откровенным убийцей и садистом. Вот лишь некоторые из его «подвигов», описанные в книге С. Мельгунова «Красный террор в России»: заключенных раздевали донага, затем рубили и кололи кинжалами; скальпирование живых людей было обычным делом,

а некоторым головы разбивали гирями; арестованных женщин раздевали и заставляли бежать, мотивируя тем, что та, которая прибежит первой, спасется…

На Дону Аверченко прожил несколько месяцев (предположительно: ноябрь — январь), выступая в театрах Ростова, Нахичевани, Таганрога и сотрудничая с крупной ежедневной газетой «Приазовский край».

Многим из тех, кто был тогда в Ростове, запомнился градоначальник полковник Греков, издававший удивительные приказы, более напоминающие фельетоны. Их еще долго цитировали Мариэтта Шагинян, Леонид Ленч, а Алексей Толстой некоторые «шедевры» даже хранил. Среди них, к примеру, такой (от 25 января 1919 года): «Гостиницы, меблированные комнаты! Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, тараканов, но и крыс, иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что ни у кого нет ни свечей, ни керосина. И все только и знаете, что прибавляете цены на всё. Клопов, крыс и т. п. никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Чистоту навести полную. С 1 февраля лично буду осматривать. Сами понимаете. Ростовский-на-Дону градоначальник, полковник Греков».

Некоторые беженцы считали, что градоначальнику не дает покоя слава Аверченко. Писатель Владимир Амфитеатров-Кадашев размышлял поэтому поводу в своем дневнике: «… насколько пристало представителю государственной власти соперничать с Аркадием Тимофеевичем? Кажется мне: надлежит Сулле и его сподвижникам быть величественными, статуарными, а не фиглярить, как в кабаре. Между прочим, ростовский градоначальник ген. Греков — вообще какой-то конферансье от полицейского ведомства…» (Амфитеатров-Кадашев В. Страницы из дневника // Минувшее. 1996. № 20).

Судя по дошедшим до нас ростовским произведениям Аверченко, писатель уже здесь начал создавать ту трагикомическую летопись жизни русских беженцев, которая достигнет расцвета в Крыму и Константинополе. Вот, к примеру, один из его скетчей этого периода — «Дороговизна» (Из разговора на Садовой улице):

«— Ах, щерочка, как я рада!

— И вы здесь!!

— Душечка, но в Ростове теперь вся Москва, tout Petrograd и tout Гомель.

— Устроились?

— Сравнительно недурно… Муж спит в ящике платяного шкафа, а я на комоде, очень удобно… 7000 в месяц на своем

отоплении. Отопить шкаф нетрудно, хотя Иван Федорович говорит, что опасно в пожарном отношении. Пустяки — все равно ни дров, ни угля не достать, а если шкаф комодом отапливать — спать будет негде…

— Пупкевичи тоже мило устроились. Он в уборной одного кафе поселился, у себя в помещении даже дела делает. Вчера сидя, так сказать, дома у одного из посетителей 2 фунта каломели и 10 фунтов борной кислоты купил и, выйдя в залу, через полчаса, за столиком с большим барышом продал. Его жене в одном кинематографе местечко для жилья за экраном отвели. Очень веселенькие, говорит, картинки показывают — 10 000 в месяц с правом пользоваться вторыми местами.

— Да, но что значит хорошая квартира, когда у них семейные неприятности. Молодой Пупкевич всегда был шарлатаном, а теперь совсем с цепи сорвался. Вообразите, влюбился в какую-то барышню и каждый день ее часа два от вокзала до Нахичевани взад-вперед на трамвае катает. Конец 3 р. 50 к. вчера стоил, сегодня, вероятно, опять вдвое — вот и сосчитайте, во сколько такое удовольствие с персоны обойдется… Одним словом, кутила этот молодой Пупкевич — страшный… Говорят, своей барышне пару чулок преподнести собирается!!

— Что вы!! Я знаю, вчера один молодой человек, владелец солидной московской фирмы, себе и жене ботинки купил, а сегодня в банках в его кредитоспособности сомневаются, говорят, разорился… Удивляться нечему… Неделю тому назад один господин себе костюм заказал, а вчера сиротский суд по просьбам родных над ним опеку за расточительность установил.

— Шьете себе что-нибудь?

— Как же… Продали вчера наше курское имение — юбку готовую купила, очень славненькую. Иван Федорович предлагал на эти деньги угля для самовара купить, но не могу же я без юбки чай пить. Иван Федорович вообще чудак. Говорит, например, что если пойдет дальше так, то на покупку газет ему дом продать нужно будет. Но патриот он отчаянный. В Москву так и рвется. Как, говорит, Москву возьмут — мальцевские еще в цене поднимутся.

— Эх, душечка, отдадут ли вам тогда назад за юбку ваше курское имение?!!»

В архиве писателя хранится открытка, датированная 17 января 1919 года. На ней — портрет Аверченко работы художницы Валентины Полити с дарственной надписью: «Скорая встреча в Петербурге — общие воспоминания. Дорогому Аркадию Тимофеевичу — Валя Полити». На обороте — шуточная анкета, вопросы которой позволяют лучше узнать того, кто изображен на

открытке, и подобраны они так, чтобы напомнить Аверченко о некоторых жизненных эпизодах, понятных только ему и Полити:

«Мужчина? — Да.
Родился до Р. Х.? — Нет.
— после Р. Х.? — Да.
Причастен к искусству? — Да.
Русский? — Да.
Принес пользу родине? — Отчасти.
Положительный субъект? — Очень.
Писатель? — Да.
Поэт? — Нет.
Писал трагедии? — Нет.
— драмы? — Нет.
— комедии? — Нет.
*Ну, что же такое. Ну, я больше не могу. Масичка, теперь ты*.
Прославился через кого-нибудь? — Да.
Через женщину? — Да, как Вы угадали?
Она живет в Ростове? — Да.
В жилом (желтом? нрзб. — В. М.) доме? — Да.
Люся Зеегер? — Да.
Аркадий Аверченко? — Да, да!
Хорошему „до Р. Х.“ и милому „после Р. Х.“»[64].

Что писатель делал в Екатеринодаре, Новороссийске и, тем более, Мелитополе, установить не удалось. Откатываясь вместе с Белой армией на юг, он по невероятному стечению обстоятельств снова оказался на родине — в Севастополе.

Здесь Аверченко проживет около двух лет.

# Глава четвертая. «ВРАНГЕЛЕВСКОЕ СИДЕНИЕ»

*Думал ли я когда-нибудь, что эту пасхальную передовицу буду писать в моем маленьком, тихом, скромном городе и что город этот волею судьбы и Божьим попущением будет столицей когда-то огромного Русского государства.*

*А. Аверченко*

Эпиграфом к этой главе послужила цитата из передовицы «Газеты Аркадия Аверченко», которую писатель выпустил в интереснейший период жизни, названный им «эпохой врангелевского сидения».

Февраль 1919 года. Аркадий Тимофеевич подъезжает к Севастополю. По старой, еще детской, привычке считает железнодорожные тоннели на пути к городу. Первый, второй… После пятого — Троицкого — поезд медленно идет по берегу Севастопольской бухты. Инкерман, Голландия, Ушакова балка — замелькали знакомые места. Наконец, показались и корабли. Порывистый ветер развевал на мачтах государственные флаги стран Антанты. Преобладали трехцветные из сине-бело-красных полотнищ. «Французы», — сказал про себя Аверченко. Пассажиры прильнули к окнам вагона. «Смотрите, смотрите, — сказал кто-то, — вон и английские флаги! Итальянские, греческие!» — «А это судно чье? Флаг звездно-полосатый?» — «Да это же Соединенные Штаты!»

Публика в вагоне была самая разношерстная. Здесь и бывшие буржуа, и служащие, и интеллигенция, и люмпены, и просто темные личности. Все устремились в Севастополь, к этому последнему причалу, перезнакомились, освоились, прижились.

Аркадий Тимофеевич давно не был на родине. По пути с вокзала в центр расспрашивал извозчика:

— Ну что, как обстановочка?

— Ой, барин… Сами видите.

— Трамваи давно не ходят?

— Давно. Света нет. Порт не работает…

Севастополь сильно изменился — Аверченко отметил это сразу. Тихий, сонный городок детства более не существовал. Повсюду — суета, толпа. Беженцы спят в вестибюлях гостиниц и

подъездах домов, на бульварных скамейках. Все отели в центре города заняты тыловыми ведомствами, вокруг них десятки военных, отпускных, командированных. Все они куда-то бегут с бумагами под мышкой. Вид у многих растерянный.

Улицы, прилегающие к Базарной площади, — один большой «черный рынок». Куда-то вниз, к морю, спешат высокие, худые великосветские дамы и девицы: бывшие фрейлины двора, графини, княжны, баронессы… Аркадий Тимофеевич слишком хорошо знает, куда они идут, — к спекулянтам, которые в обмен на фрейлинские бриллиантовые шифры и фамильные драгоценности дадут кусок мыла, хлеб, мясо. Этих несчастных женщин вспоминал Александр Вертинский: «Слезы не высыхали у них на глазах. Спекулянты платили им „колокольчиками“ — крупными корниловскими тысячерублевками, которые уже никто не хотел брать. <…> Они не мылись неделями, спали не раздеваясь. От них шел одуряющий запах пронзительного „лоригана Коти“, перемешанный с запахом едкого пота. Никто из них ничего не понимал. Точно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом» (Вертинский А. Н. Дорогой длинною).

Тем не менее даже в таком хаосе Аверченко наконец-то почувствовал себя хоть немного защищенным. На полуострове были три антибольшевистские власти: войска и эскадра Антанты, представители Добровольческой армии и Крымское краевое правительство. Одной из крупных фигур в этом правительстве был министр юстиции Владимир Дмитриевич Набоков — тот самый юрист, который в 1913 году разбирал судебное дело о конфликте в «Сатириконе».

В Крыму оказалось очень много петербургских знакомых писателя. Каждый из них устраивался как мог.

Бывая в Ялте, Аркадий Тимофеевич встречал здесь Александра Вертинского, Ивана Мозжухина, Надежду Плевицкую, которые поселились поближе к съемочным павильонам Иосифа Ермольева и Александра Ханжонкова — «акул» тогдашнего кино (на слиянии этих двух предприятий после окончания Гражданской войны возникнет Ялтинская киностудия).

Побывав в Балаклаве, Аверченко узнал, что здесь с осени 1919 года «обитает» Леонид Собинов. Когда выступления певца в Севастополе заканчивались поздно, он оставался ночевать у Власа Дорошевича, имевшего собственный дом в центре города, на улице Екатерининской.

С коллегами-литераторами — Иваном Шмелевым, Евгением Чириковым, Василием Немировичем-Данченко, Максимилианом Волошиным — Аверченко встречался в стенах недавно созданного в Симферополе Таврического университета, ректорат которого

приглашал читать лекции для студентов писателей и поэтов, оказавшихся в Крыму. В аудиториях университета Аркадий Тимофеевич мог увидеть и выдающихся ученых: философа и теолога Сергея Николаевича Булгакова, академика Владимира Ивановича Вернадского, географа Владимира Афанасьевича Обручева, физика Абрама Федоровича Иоффе и др.

Однако самой приятной для Аверченко, разумеется, стала встреча с родными. Он был счастлив после долгой разлуки вновь обнять маму, Сусанну Павловну. А уж как обрадовались его приезду сестры! Три из них собирались замуж, поэтому старший брат был им необходим и как глава семьи, и как «свадебный генерал».

За Еленой Аверченко ухаживал граф Ростопчин. Он бежал в Крым из Центральной России и ничего, кроме титула, взять с собой не успел. У Елены не было ни титула, ни приданого. Брат — знаменитый писатель, безусловно, придавал ей вес.

За другой сестрой — Ольгой — ухаживал сын богатого севастопольского купца Григорий Иванович Фальченко. И здесь знаменитый брат был как нельзя кстати!

Только жених Неонилы (Нины) — Алексей Усков — был небогат и незнатен. Эта девушка тем более очень рассчитывала на помощь брата.

Четвертая сестра писателя — Надежда — уже была замужем за Константином Гавриловым, сыном крупного купца и финансиста, и жила в огромном двухэтажном доме мужа на улице Ремесленной, в самом центре города. Дом Гавриловых занимал целый квартал, его окружал сад, в котором летом зацветали яркие ирисы. Семья вела большое хозяйство, имела собственную конюшню и дачу на берегу моря.

Надежда Тимофеевна познакомила брата Аркадия со своим мужем и пятилетним сынишкой Игорем, который и спустя 90 лет (!) помнит, как это было.

Однажды мама подвела его к очень высокому, большому человеку в пенсне и сказала:

— Знакомься, сыночек, это твой дядя — Аркадий.

Дядя посмотрел на малыша иронически и произнес:

— Я сейчас буду работать. Тебе предлагаю составить мне компанию, если у тебя не намечено более серьезных дел. Потом приглашаю гулять на Приморский бульвар!

Игорь безропотно проследовал за дядей Аркадием в маленький кабинетик на втором этаже. Пока тот писал, пятилетний мальчик внимательно рассматривал его пенсне, блестящие часы «Breguet» на цепочке. Дядя казался ему не только очень большим, но и очень добрым, поэтому Игорь принес ему

показать три свои любимые игрушки. Аркадий поставил их перед собой на стол и нарисовал! Рисунок чудом сохранился у Игоря Константиновича, и он разрешил привести его в этой книге. Картинку в семье хранили как дорогую реликвию и не уничтожили в 1930-е годы.

Потом дядя, как и обещал, взял Игоря гулять на бульвар. Пошли вдвоем — без мамы и папы, это было непривычно. В витрине магазина на Нахимовском проспекте малыш увидел детский автомобиль с педалями. Он онемел от восторга и не мог сдвинуться с места.

— Я не могу купить тебе этот автомобиль, — сказал дядя Аркадий, — он большой, а у вас дома очень тесно. Мама будет нас с тобой ругать.

Игорь был настолько потрясен отказом, что помнит об этом случае до сих пор! Впрочем, сегодня он не обижен на Аркадия Тимофеевича: не получив машину в детстве, он мечтал о ней всю жизнь, упорно шел к этому и все-таки купил!

Запомнил Игорь Константинович и поездку всей семьей вместе с дядей Аркадием на дачу. Добираться нужно было в район бухты Омега, за семь километров от центра города. Запрягли линейку. Ехали весело. По дороге мама рассказывала дяде, как стала собственницей дачи: до знакомства с папой она работала гувернанткой в доме богатого помещика. Он и подарил ей двухэтажный дом с верандами на берегу моря в качестве приданого.

Об этом времени напоминает рассказ Аверченко «Античные раскопки» (Юг. 1920. 6 февраля), героем которого является «шестилетний Котя». Мальчик любит приходить в кабинет к своему дяде и «рыться в нижнем левом ящике… письменного стола, где напихана всякая ненужная дрянь». Сюжет рассказа в общем сводится к диалогу взрослого, уставшего человека и непосредственного, по-своему загадочного малыша. Игорь Константинович не помнит, чтобы его в детстве называли прозвищем Котя. Однако очень хочется верить в то, что в рассказе изображен именно он! Тем более что мама вполне могла его брать в гости к дяде, ведь тот жил буквально в двух шагах — на Нахимовском проспекте, 30[65]. Для читателя скажем, что это самая красивая и оживленная улица Севастополя. Она навевала Аверченко воспоминания о покинутом Петрограде. «Известно, что Нахимовский проспект — это все равно, что Невский проспект: нет такого человека, который два-три раза в день не прошелся бы по нему», — писал он в рассказе «Торговый дом „Петя Козырьков“» (Юг России. 1920. 24 апреля). Писатель тоже часто гостил у Гавриловых на улице Ремесленной. Родство с ним

сделало дом его сестры Надежды популярным: она принимала послов, артистов, местную и приезжую знать.

В апреле 1919 года относительно спокойная жизнь дала трещину: в Крым вошли отряды Красной армии под командованием Павла Дыбенко. Спасаясь от них, 7 апреля Краевое правительство бежало из Симферополя в Севастополь, который переживал колоссальный наплыв беженцев. Они ночевали в школах, кофейнях и где только возможно. Далее события разворачивались стремительно. 15–17 апреля Аверченко стал свидетелем того, как из города эвакуировались министры Краевого правительства (в их числе — Владимир Набоков с сыном)[66]. В это время дивизия Дыбенко уже заняла господствующую над городом высоту — Малахов курган.

В праздничный пасхальный день 20 апреля внимание Аркадия Тимофеевича привлекли топот под окнами и крики: «Скорее на Графскую[67]! Восстала французская эскадра!» На пристани творилось нечто невообразимое: одна за другой подходили лодки и высаживали матросов с французских кораблей. Те на берегу братались с севастопольскими рабочими и прикалывали на грудь красные помпоны со своих бескозырок. Все хором пели «Марсельезу». Около часа дня от Графской пристани по Екатерининской улице двинулась колонна демонстрантов, в которой было несколько сотен французских моряков. Три часа спустя оккупационное командование отдало приказ открыть огонь по демонстрантам. На следующий день Аверченко с ужасом увидел, что корабли Антанты покидают Севастополь.

Двадцать девятого апреля 1919 года город заняли войска Красной армии. С невиданным размахом — торжественным шествием и обязательным митингом — отмечался Первомай.

Вполне вероятно, что в эти дни Аркадий Тимофеевич пытался уехать из города, но не смог. В фельетоне «Смерть Аркадия Аверченко» (Юг. 1919. 26 сентября) он писал:

«Когда в апреле добровольцы эвакуировались из Севастополя и французы сдали город большевикам, — я застрял в Севастополе. Кое-как пережил этот дурацкий сумбурный период, наполовину скрываясь у своих друзей, — наконец советская власть ушла, снова вошли добровольцы. <…>

И тут посыпались вопросы:

— Когда из тюрьмы выпустили?

— А я и не сидел».

Заметим, что в эти дни Аверченко все-таки «сидел», но не в камере, а за письменным столом. Пережидая «дурацкий сумбурный период» и стараясь особенно не попадаться на глаза представителям новой власти, Аркадий Тимофеевич отвлекался

тем, что работал над своей первой большой (в трех действиях) пьесой «Игра со смертью».

Нам известен только один его «выход в свет» при большевиках: Аверченко был поручителем на свадьбе своей сестры Неонилы, венчавшейся 14 мая 1919 года в Петро-Павловской церкви. На эту «вылазку» он решился, вероятно, потому, что избранником сестры стал красный комиссар Алексей Усков. Вот они — парадоксы Гражданской войны!

Советская власть продержалась в Севастополе 72 дня. 26 июня 1919 года в город вновь вошли части Добровольческой армии. Аверченко ликовал — красные ушли! Одно расстраивало — вместе с мужем-комиссаром ушла и сестра Нина.

Вновь закипела культурная жизнь, один за другим открывались театры-кабаре, новые газеты. Писатель стал постоянным сотрудником севастопольской «беспартийной общественно-политической и литературной газеты „Юг“», первый номер которой вышел 25 июля (по старому стилю) 1919 года. Три месяца спустя на Аверченко снова обрушились свадебные хлопоты: 30 октября (по старому стилю) младшая сестра Ольга венчалась в Покровском соборе с Григорием Ивановичем Фальченко. Аверченко принял большое участие в судьбе этого своего нового родственника. В том же октябре 1919 года Фальченко был назначен ответственным редактором «Юга», который все называли «газетой Аверченко», учитывая это родство. Сотрудниками числились также писатели Илья Сургучёв, Евгений Чириков, Иван Шмелев.

Аркадий Тимофеевич публиковал в газете «Юг» и пришедшей ей потом на смену газете «Юг России» рассказы и памфлеты, а также вел раздел «Маленький фельетон». Просматривая старые подшивки, можно понять, что волновало тогда писателя, о чем он думал.

По проблематике все произведения «севастопольского» цикла условно можно разделить на «локальные» (повседневная жизнь города) и «глобальные» (судьба России при большевиках). В первых господствует юмор (иногда черный), вторые всегда желчно-сатиричны.

Создавая комическую летопись жизни Севастополя эпохи «врангелевского сидения», Аверченко почти протокольно фиксировал реалии беженского быта. Ни один нюанс окружающего абсурда не ускользал от его внимания. В сборнике «Кипящий котел» (1922) он сам выделил основные насущные проблемы, посвятив каждой главу. В общих чертах они были таковы:

«**Оскудение и упадок**». Прошлая, петербургская жизнь всем

кажется сном. Бывшие графини отныне блистают в «колье из кусочков каменного угля», в мочках ушей продеты спички (неиспользованные, стало быть, ценные!), прическу украшает перо домашней курицы («Бал у графини Х…»). В то же время подняли голову нувориши, наживающие миллиардные состояния на бедственном положении русских беженцев («Косьма Медичис», «Аристократ Сысой Закорюкин»).

«**Обнищание культуры**». Никого больше не удивляет, что селедку заворачивают в энциклопедический словарь («Володька»); интеллигенция при полном отсутствии книг испытывает такой духовный голод, что ходит смотреть на виселицы, напоминающие буквы («Эволюция русской книги»).

«**Денежная гипертрофия**». Инфляция достигает колоссальных размеров. Деньги превратились в «пачку странных обрезков раскрашенной бумаги»: «Одни кусочки чрезвычайно напоминали мне ярлычки на спичечной коробке, другие — наклейку на лимонадной бутылке, третьи — наклейку на нарзановой бутылке — даже орел был нарисован, — четвертые — очень походили на крап игральных карт. Были и просто спокойные серые бумажки…» («Записки дикаря»).

«**Спекуляция**». Большую известность получил рассказ «Торговый дом „Петя Козырьков“», в котором писатель показал авантюрное перерождение характера обывателя под влиянием исторического катаклизма. Герой рассказа, «ушибленный жизнью молодой человек», устав выслушивать упреки от квартирной хозяйки, идет на сделку со своей совестью и решает заняться коммерцией (читай — спекуляцией). Закупив в кафе пятьсот коробок сгущенного молока, Петя приносит их домой, ставит под кровать, выжидает месяц и продает в три раза дороже… Затем закупает спички, кладет под кровать, ложится сверху и снова ждет… Вскоре Петя разбогател настолько, что смог открыть торговый дом. Характерно, что Аверченко нисколько не осуждает своего героя, отдавая должное его находчивости. Более того, писатель подчеркивает практическую ценность рассказа об этой «операции, которую любой из читателей может проделать в любой день недели и которая… несет благосостояние на всю остальную жизнь…». Заметим, что этот и подобные ему рассказы «севастопольского» цикла Аверченко смело можно отнести к образцам плутовской прозы, впоследствии широко представленной в советской сатирической литературе 1920–1930-х годов и отражающей реалии «нового» пореволюционного быта.

«**Бесквартирье**». Люди, ночующие под прилавками магазинов, ради комнаты готовы на все, даже жениться на дочке хозяина! («Ищут комнату»).

…Принято считать, что бытописание всегда остается принадлежностью своего времени: уходит быт — и уже трудно воспринимать произведение. Однако рассказы Аверченко о том, как жил Севастополь в 1919–1920 годах, адекватно и «на ура!» воспринимались горожанами в начале 1990-х, когда им пришлось пережить все до одной перечисленные писателем проблемы.

Новый, трагический аспект приобрела в пореволюционном творчестве Аверченко детская тема. Пока взрослые люди участвовали в кровавой бойне, выдвигали немыслимые политические лозунги, «грабили награбленное» или спасались бегством, подросло поколение, лишенное детства. Российские девчонки и мальчишки, обожженные революцией и Гражданской войной, повидали столько горя, что повзрослели и даже состарились раньше времени. Их больше не увлекают выдумки о Красной Шапочке и Бабе-яге. Гораздо более фантастичной представляется маленькому герою фельетона «Русская сказка» (Юг. 1919. 9 октября) совсем еще недавняя жизнь его собственного отца.

«— Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат. <…>

— У кого реквизировал?

— Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! <…> И вот однажды приезжаю я…

— С фронта?

— С которого? Никакейших тогда фронтов не было!

— А что ж мужчины делали, если нет фронта?! Спекулировали, небось?

— Тогда не спекулировали.

— А что же? Баклуши били?

— Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семеныч писал портреты и продавал их, дядя Котя имел магазин игрушек…

— Что-й-то — игрушки?

— Как бы тебе объяснить… Ну, например, видел ты живую лошадь? Так игрушка — маленькая лошадь, неживая; человечки были — тоже неживые, но сделанные, как живые. Пищали. Даванешь на живот, а оно и запищит. <…> Я был директором одной фабрики духов.

— Что-й-то?

— Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет.

— А зачем?

— Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. <…> Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали.

— Во что закатывали?

— Ни во что. Возьмем и закатим бал. <…> После танцев был для всех ужин.

— Небось, дорого с них сдирал за ужин?

— Кто?!

— Ты.

— Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое. <…>

— Вот это сказка! <…>

— Да, уж. Это тебе не Баба-яга, чтоб ей провалиться!

— Хе-хе! Не у отца три сына, чтоб им лопнуть.

— Да… И главное, не Красная Шапочка, будь она проклята отныне и довека!»

В другом фельетоне — «Трава, примятая сапогом» (Юг. 1919.22 сентября) — Аверченко увековечил одну из тысяч «небольших девчонок», рассуждающих вместо здоровья своей «многоуважаемой куклы» о Ватикане, «эксцессах большевиков» и «мандатах комфина». Очаровательная малышка прекрасно разбирается в типах орудийного огня:

«— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец, — какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого, — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп, — воскликнул я… — Откуда ты все это знаешь?!

— Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое — не то еще узнаешь».

Кто ответит за все?! Кто искупит вину перед этой девочкой, мама которой умирает от малокровия? Кто накажет хамов, прошедшихся по России «в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями»? Эти вопросы остаются без ответов.

Аверченко не оставляли мысли о будущем страны и о причинах случившейся катастрофы. Размышляя о природе

Октябрьского переворота, он одним из первых в сатирической прозе тех лет подметил его карнавально-балаганную природу. В памфлете «Чертово колесо» (Юг. 1919. 14 сентября) сатирик рассмотрел русскую революцию как аналогию петербургского «Луна-парка» с его «веселой бочкой», «веселой кухней», «таинственным замком», «чертовым колесом»… «Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, — ведь это же „веселая кухня“! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка! И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы. Бац! — и уже нет искусства, и только какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок», — читаем в памфлете. С «веселой бочкой» Аверченко сравнил путешествие русского человека «в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж»: «… бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую — самого петлюровцы выбросили, трах о третью — махновцы чемодан отняли». «Таинственный замок» — это чрезвычайка, в которой «палачи всех стран» соединяются. Но больше всего похоже — «самое одуряюще схожее — это „чертово колесо“!». На это вращающееся с бешеной скоростью колесо лезут и пытаются удержаться Милюков, Гучков, Керенский…

А вот лезет «новая веселая компания»: Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский, и кричит «новый „комиссар“ „чертова колеса“ — Троцкий:

— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!».

Действительно, революционный «великий сдвиг» вызвал колоссальное оживление писательского карнавального мироощущения. Владимир Маяковский в «Мистерии-буфф» (1918) прямо указывал на зрелищность эпохи: «Мы тоже покажем настоящую жизнь, / но она / в зрелище необычайнейшее театром / превращена». Те, кто не принял революцию, оценивали ее как инфернальный карнавал (шабаш), как «пир во время чумы». Николай Бердяев в статье «Духи русской революции» (1918) писал: «Революция всегда есть в значительной степени маскарад. <…> Те, которые были внизу, возносятся на самую вершину, а те, которые были на вершине, упали вниз; властвуют те, которые были гонимы, и гонимы те, которые властвовали; рабы стали безгранично свободными, а свободные духом подвергаются насилию». Одним из «действующих лиц» этой исторической

драмы стал балтийский матрос. «Уже в 1918 году можно было видеть на улицах Петербурга изысканную публику, одетую в штаны до того широкие, что казалось, на ногах болтались две женских юбки; одетую в традиционные голландки, но с таким огромным декольте, на которое светские дамы никогда бы не осмелились, — писал Аверченко. — Эти странные матросы были напудрены, крепко надушены; на грубых лапах виднелись явные следы безуспешного маникюра; на ногах — туфли с высокими каблуками и чуть ли не с лентами; на груди приколотая роза. Так вырядился и выродился простой русский матрос» («Балтийский матрос»). Писателю вторил князь Феликс Феликсович Юсупов-младший, только его рассказ уже о черноморских матросах: «Мне случалось встречать <…> матросов, руки их были покрыты кольцами и браслетами, на волосатой груди висели колье из жемчуга и бриллиантов. Среди них были мальчишки лет пятнадцати. Многие были напудрены и накрашены. Казалось, что видишь адский маскарад» (Юсупов Ф. Мемуары. М., 2007).

Карнавальная ирреальность 1917-го — начала 1920-х годов получила отражение прежде всего в сатирической прозе, так как комическое традиционно выступает одним из наиболее выразительных способов отражения жизненного хаоса. Писатели 1920-х годов (Илья Эренбург, Михаил Булгаков, Сергей Заяицкий, Валентин Катаев и др.) продуктивно использовали мотив карнавального ряженья и захватившего всех маскарада. Однако первым к этой теме обратился Аркадий Аверченко.

Недавнее соприкосновение с советской властью вновь заставило писателя взяться за портреты большевистских вождей. Так, в фельетоне «Короли у себя дома» (Юг. 1919. 10 августа) он изобразил «супружеский союз» Ленина (жена) с Троцким (муж). Ленин одет в «затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка… на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли». «Мужское начало в этом удивительном супружеском союзе» символизирует Троцкий. Ленин и Троцкий сидят за чаем и бранятся, последовательно снижая все идеалы пролетарской революции. В порыве злости Троцкий кричит Ленину: «Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает?» Обидевшись, Ленин кричит: «Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дурацкой войне мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы — лучше пошла бы за Луначарского!»

Этот и другие фельетоны Аверченко, печатавшиеся в газетах «Юг» и «Юг России», в 1920 году составят содержание одной из

самых одиозных антисоветских книг XX столетия под названием «Дюжина ножей в спину революции». Она впервые будет выпущена во врангелевском Крыму симферопольским издательством «Таврический голос» (книгу можно было приобрести в самом издательстве и в севастопольском магазине братьев Зель на Нахимовском проспекте). Вторично сборник переиздавался в 1921 году в Париже. В СССР он будет опубликован только спустя 70 лет и произведет впечатление разорвавшейся бомбы: сознание советского читателя еще не было подготовлено к восприятию образа Ленина и революционных событий в сатирическом ключе!

Современники по-разному относились к «Дюжине ножей…». Некоторым она не понравилась. К примеру, Александр Вертинский, переехавший к 1920 году из Ялты в Севастополь, вспоминал: «Аркадий Аверченко Точил свои „Ножи в спину революции“. „Ножи“ точились плохо. Было не смешно и даже как-то неумно. Он читал их нам, но особого восторга они ни у кого не вызывали» («Дорогой длинною»). Однако мы располагаем и другими фактами: правительству барона Врангеля книга Аверченко пришлась по душе. Летом 1920 года отдел печати выделил четыре миллиона рублей на издание еще одного сборника произведений писателя «Нечистая сила». Аркадий Тимофеевич заслужил такую помощь: он активно помогал правительству Деникина, а затем и Врангеля в области идеологии, задействовав все средства и способы борьбы с большевиками.

Для Генерального штаба Белой армии Аверченко писал юмористические прокламации, которые распространялись среди бойцов Красной армии. Летчики сыпали листовки на голову голодным солдатам противника, а текст был приблизительной такой: «А мы сегодня отлично пообедали. На первое борщ с ватрушками, на второе поросенок с хреном, на третье пироги с осетриной и на заедку блины с медом. Завтра будем жарить свинину с капустой, ветер будет в вашу сторону» (Неандер Б. Памяти Аркадия Аверченко// Возрождение. 1926. 12 марта). Предоставим читателю самому судить, до чего мог дойти Аверченко, если кого-то ненавидел.

Занимался писатель и благотворительностью. Он организовывал сбор средств на нужды Добровольческой армии, обращаясь к состоятельным гражданам на страницах «Юга» и устраивая концерты, сборы от которых передавались в Комитет по оказанию помощи вдовам, сиротам и чинам Добровольческой армии, пострадавшим в борьбе с большевиками.

Однако нельзя сказать, что Аверченко сделался

«придворным» пропагандистом при правительстве Врангеля. Он писал и действовал не по «заказу», а по зову души и согласуясь с велениями совести. В марте 1920 года у редакции «Юга» произошел конфликт с военным цензором, который велел опубликовать в газете телеграмму группы офицеров. Редактор Фальченко был категорически против и считал, что цензор не имеет права диктовать, что печатать, а что нет. В газете появилась статья без подписи (от редакции), написанная в очень резком тоне. В ней было сказано, что «г-н военный цензор положительно не имеет представления о своих правах и обязанностях», а заканчивалась она словами: «Вам надо подать еще одну бумагу — прошение об отставке». Цензор подчинялся военно-полевому суду, который создал при своей Ставке в Джанкое генерал-лейтенант Яков Александрович Слащёв, руководивший обороной Крыма. В этот суд, который наводил ужас на крымчан, был вызван Фальченко, однако он, по-видимому, никуда не поехал и в результате 20 марта (по старому стилю) газета «Юг» была закрыта.

Севастопольцы, перестав получать «Юг», придумывали этому различные объяснения. Одно из них приводит в историческом романе «Семь смертных грехов» (М., 1986) советский писатель Марк Еленин. Герой произведения — В. Н. Шабеко — ведет дневник, в котором находим следующую запись: «Аркадий Аверченко опубликовал в газете „Юг“ фельетон — предлагал симферопольской Думе преподнести генералу Кутепову благодарственный адрес „за усердие по украшению города“ (имеется в виду „фонарная деятельность“ кандидата в Наполеоны). Кутепов, сказывали, рассвирепел. Кричал: для родины не остановится… перед преданием военно-полевому суду газеты, „заступающейся за большевиков“. После этого Кутепов повесил еще троих. Аверченко, говорят, удрал… а газету закрыли. Вот она, суровая действительность. Вот демократия!»

По Севастополю пошли слухи о том, что Аверченко обиделся на правительство Врангеля и собирается уехать. Кто-то из его недоброжелателей, спрятавшийся за подписью «В. Р.», написал шуточное стихотворение «Великий Визирь»:

Покидает нас Аркадий,
Уезжает в край иной…
Передай печаль ту, «радий»,
По лицу земли родной!
Ах, не так грустит супруга
По супругу в бездне мук,
Как грустит А. Т. о «Юге»,

Остановленному вдруг.
И Аркадий, глядя хмуро,
Шлет правительству «картель»
(Что под именем «цензура»
Проживает в «Гранд-Отель»),
Чтоб в глазу не видеть «спицы»,
Уезжаю навсегда,
Ведь недаром я был «птицей»
«Перелетного гнезда».
И раздался голос, строго
Прозвучавший в смутный час…
«Что же? — „скатертью дорога!“ —
Проживем, Бог даст, без вас!»

Но Аверченко не дал злопыхателям поводов для ликования: он начал хлопотать о возобновлении выхода газеты. Трудно сказать, пытался ли он встретиться со Слащёвым, который наездами бывал в Севастополе. Скорее всего, нет, потому что Яков Александрович («генерал Яша») имел репутацию человека странного и непредсказуемого, — В его генеральском вагоне были развешаны клетки с попугаями. Слащёв нюхал кокаин и жил с «юнкером Нечволодовым» — так он называл свою девушку, носившую короткую стрижку и мужскую форму. Сам Слащёв тоже выглядел более чем оригинально — черные с серебряными лампасами брюки, обшитый куньим мехом ментик, низкая папаха «кубанка» и белая бурка.

Аркадий Аверченко добился приема у главнокомандующего Русской армией. Барон Врангель, только что вступивший в эту должность, пригласил к себе для беседы крупнейших журналистов Севастополя — А. Аверченко, А. Бурнакина («Вечернее слово») и И. Неймана («Крымский вестник»), В беседе с ними он фактически обосновал необходимость цензуры в тех условиях, которые тогда сложились, и предложил своим собеседникам два выхода: первый — «сохранить существующий ныне порядок», то есть цензуру, которую он обещал «упорядочить», «подобрать соответствующий состав цензоров»; второй — «освободить печать от цензуры, возложить всю ответственность на редакторов». «В этом случае, — разъяснял генерал, — последние являются ответственными перед судебными властями. В случае появления статей или заметок, наносящих вред делу нашей борьбы, они будут отвечать по законам военного времени как за преступления военного характера». Прослушав эти тезисы, Аверченко и Нейман тут же

согласились, что отмена цензуры в Крыму несвоевременна. Один Бурнакин, пользовавшийся поддержкой военной бюрократии, рискнул взять на себя ответственность за свой печатный орган.

Аверченко и Врангель пришли к согласию, и последний издал приказ, разрешающий возобновление выхода газеты под новым названием «Юг России». Аркадий Тимофеевич решил проблему… за четыре дня! Эта история подняла его авторитет в глазах литераторов. К нему стали обращаться за помощью. По воспоминаниям советского писателя Эмилия Миндлина, Аверченко сыграл свою роль в деле об аресте Осипа Мандельштама в Феодосии летом 1920 года: «Мандельштаму не удалось <…> уехать из Феодосии. По пути в порт он был неожиданно арестован белогвардейцами и брошен в тюрьму. Мандельштам всем и всегда казался подозрителен, должно быть благодаря своему виду вызывающе гордого нищего. <…> Была послана телеграмма в Севастополь известному писателю Аркадию Аверченко с просьбой вмешаться в судьбу Мандельштама. Аверченко подтвердил телеграммой, что хорошо знает Мандельштама как замечательного поэта, знаком с ним по Петрограду, и ходатайствовал об освобождении поэта, далекого от всякой политики» (Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М., 1989).

Как мы уже знаем, Аркадий Тимофеевич никогда не ограничивался одной журналистикой. Севастопольские годы не стали исключением: писатель организовывал здесь свои вечера юмора, сотрудничал с театрами-кабаре, которые помещались едва ли не в каждом доме центра города. Однако это сотрудничество приобрело новый, хотя и вполне ожидаемый оттенок: Аверченко стал актером! Он исполнял роли в собственных пьесах «Хвост женщины», «Лекарство от глупости», «Сердцеед», «Жоржик», в пьесе Осипа Дымова «Актриса» и пр. Судя по репертуару, писатель выбрал себе амплуа комического героя-любовника. В этом нет ничего удивительного: он пошел по пути наименьшего сопротивления, так как эта роль не требовала от него особого перевоплощения. Она была ему близка и в повседневной жизни…

По вечерам Аверченко можно было увидеть в театре-кабаре «Дом артиста» на Екатерининской улице, 49 (по иронии судьбы в этом здании, где при Деникине и Врангеле звучали антибольшевистские фельетоны и куплеты, в конце 1920-х годов будет открыт Музей революции). Здесь Аркадий Тимофеевич нередко встречал оперного певца Леонида Собинова. Тот жаловался:

— Я никогда и во сне не видел, что мне — солисту императорских театров, придется жить в таких диких условиях и

петь в кабаре… Вы слышали о моем горе? Погиб мой сын Юра. Под Мелитополем. На душе у меня пустота, жить не хочется.

— Вы должны жить. Вам есть для кого, — убеждал его Аверченко. — У вас, кажется, есть еще один сын?

— Да, Борис. Офицер, он на фронте. Жена скоро должна родить — одно утешение.

В очерке Аверченко «Старый Сакс и Вертгейм», написанном в Севастополе, есть строки, за которыми встает образ Собинова:

«Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу — на нем старый порыжевший фрак.

Сначала сжалось мое сердце, а потом просветлел я…

Здравствуй, старый петербургский фрак! Я знаю, тебя сшил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне. <…>

Этому фраку лет семь. И порыжел он и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье.

И туфли лакированные узнал — вейсовские.

Держитесь еще, голубчики?

Видали вы виды: сверкали вы по залитой ослепительным светом эстраде Дворянского Собрания, сверкали на эстраде Малого зала Консерватории, а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться на ослепительном паркете Царскосельского, Красносельского, Мраморного — много тогда было дворцов, теперь, пожалуй, половину я и перезабыл…

А нынче вы не сверкаете больше, лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины и долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег: десять тысяч. <…>

И будете вы тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар (Белогорск. — В. М.), из Карасубазара в какой-нибудь Армянск — ведь пить-есть надо даже гениальному человеку».

Аверченко грустил по поводу старого фрака и потускневшей обуви великого певца, а уже через несколько месяцев поношенная шуба и меховая шапка Собинова привлекут внимание красноармейцев. Они арестуют его на набережной Балаклавы как «буржуя» и повезут в севастопольскую тюрьму. Доказывая, что он певец, Собинов запоет под сводами тюрьмы арию Ленского. Певца отпустят, простив ему «буржуйское» облачение.

С апреля 1920 года Аркадий Тимофеевич стал постоянным участником представлений кабаре «Гнездо перелетных птиц», созданного бывшим артистом императорских театров Владимиром Павловичем Свободиным. Аверченко, поначалу

приглашаемый как автор-чтец, постепенно стал художественным руководителем труппы этого театра и отчаянно дурачился: мог устроить юбилейный вечер в честь того, что исполняется ровно 11 лет и 4 месяца и 3 дня со времени напечатания его первого рассказа. Или читал «Оригинальную научную лекцию о Турции с иллюстрациями».

Один из посетителей «Гнезда…», художник и историк русского искусства Е. Е. Климов, вспоминал:

«Летом 1920 года в Севастополе по Екатерининской улице[68] был открыт интимный театр под названием „Гнездо перелетных птиц“. Главным инициатором (может быть, антрепренером, но это не утверждаю) и конферансье в театре был А. Т. Аверченко.

Я был в театре раз или два. Помещение полуподвальное, человек на 75–100, а может быть, и меньше.

Открывал вечер сам Аверченко и из-за него, собственно, и ходили люди в этот театр по вечерам. Что он там был главной персоной, говорит и тот факт, что никаких других имен память не сохранила. Он рассказывал и представлял артистов, всегда, конечно, с юмором» (цит. по: Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. С. 79).

Среди тех, кого забавно рекомендовал публике Аркадий Тимофеевич, были и его близкие петербургские знакомые: бывший «премьер» «Кривого зеркала» Лев Фенин, дочь Тэффи Елена Бучинская, которая хорошо пела. Вполне вероятно, что Аверченко опекал эту юную особу, ведь он прекрасно относился к ее матери. Наше предположение отчасти подтверждает письмо Тэффи, отправленное из Парижа в Севастополь в октябре 1920 года:

«Дорогой Аркадий Тимофеевич!

Очень я обрадовалась, когда увидела Ваши фельетоны в „Последних Новостях“. Повеяло чем-то милым, русским, родным. Пришлите мне весточку. <…>

У меня к Вам, милый друг, огромная просьба. Ради Бога, разыщите Елену и передайте ей письмо и 300 франков. <…> Очень прошу простить… за беспокойство, но… в прошлом году я ей послала все свое состояние и все свои чулки, а она, оказывается, ничего не получила. <…>

Ваша Тэффи».

Театрик «Гнездо перелетных птиц» хорошо знали не только в Севастополе, но и в других городах Крыма, потому что труппа часто гастролировала. Выступали в Симферополе, Феодосии, Евпатории. Об этих поездках напоминает фотопортрет Аверченко, сделанный в евпаторийской мастерской Н. Я. Зейферта. Обнаружив этот документ в архиве писателя, мы смогли

установить адрес фотоателье, в котором был сделан снимок: улица Революции (бывшая Лазаревская), 54. Интересно, что в этом доме прошли детские и юношеские годы известного в 1920-е годы поэта-конструктивиста Ильи Сельвинского.

В «Гнезде…» ставились небольшие одноактные пьески, Аверченко же мечтал увидеть на сцене настоящего, профессионального театра свою комедию «Игра со смертью», которая была им написана «при большевиках». Постановку осуществил лучший в городе театр «Ренессанс» и показал пьесу на Рождество 1920 года. «Игра со смертью» была опубликована единственный раз — в Чехословакии в 1948 году, в России — никогда. Мы обнаружили ее в архиве писателя в рукописных и машинописных вариантах[69].

«Игра со смертью» — это легкий трагифарс с элементами плутовской комедии (мотив «плут обманывает плута» является в ней одним из основных). Фабула такова: в доме супружеской четы Талдыкиных прижился агент по страхованию жизни Петр Казимирович Глыбович. Он опутал своими сетями гувернантку, горничную и, наконец, из корыстных соображений завел роман с хозяйкой дома. Глыбович методично подводит ее к мысли о необходимости застраховать свою жизнь. Добившись от женщины желаемого, Глыбович принимается за ее мужа. В разгар их беседы появляется новое действующее лицо — писатель Иван Никанорович Казанцев — мрачный пессимист, который рассказывает Талдыкину, что врачи обнаружили у него чахотку и жить ему осталось всего три месяца. И тут в голове плута Талдыкина созревает невероятный план: застраховать за свой счет жизнь Казанцева и по истечении трех месяцев получить круглую сумму! Он приглашает к себе доктора, который за взятку дает ложное медицинское заключение о том, что Казанцев совершенно здоров.

Оформив договор страхования, Талдыкин начинает цинично ждать смерти Казанцева. Более того, способствует ее скорейшему приходу: специально угощает больного крепчайшими сигарами, насильно поит вином… Многочисленным кредиторам, осаждающим его, он обещает расплатиться «по окончанию казанцевского дела». Но происходит непредвиденное: Казанцев влюбляется в племянницу Талдыкина и неожиданно для самого себя начинает поправляться. Как-то, приехав на дачу к Талдыкиным, он заявляет: «Кашель почти исчез, аппетит появился. И в весе прибавился на 12 фунтов. <…> И, знаете, настроение как-то лучше». Услышав такую шокирующую новость, Талдыкин выходит из себя:

«**Талдыкин**. Иван Никанорович, что же это вы, а…?

**Казанцев**. А что такое?

**Талдыкин**. А как же… То говорили 3 месяца, 3 месяца, а теперь… 12 фунтов! Я, конечно, не какой-нибудь кровожадный палач, можете себе жить хоть 100 лет… Но я, извините, деловой человек. Я вложил капитал! И если мы уж начали дело…

**Казанцев** (*добродушно*). Дорогой мой, но чем же я виноват? Ей-богу, я не хотел вас подвести… Даю вам честное слово, что я не старался.

**Талдыкин**. Да! Не старались. А 12 фунтов откуда?

**Казанцев**. А черт их знает. Поверьте, что я, если бы знал, что причиню вам такое огорчение…

**Талдыкин**. Позвольте… Но кашель-то все-таки есть?

**Казанцев**. Иногда. По ночам.

**Талдыкин**. Грудь болит? Или совсем перестала?

**Казанцев**. Иногда покалывает.

**Талдыкин**. Гм! Покалывает! Покалывает… Ну, ладно. <…> Вы меня извините, Иван Никанорович… Но если бы вы знали, как мне теперь круто приходится. Все деньги, какие были, ахнул в это дело. Тому плати, этому плати…

**Казанцев**. Господи! Да разве я не понимаю? Не зверь же я, в самом деле… Да вы не вешайте головы. Может, это так просто… временное улучшение. Знаете, как свеча перед тем, как погаснуть, ярче вспыхивает».

Финал комедии счастливый: Казанцев выздоравливает, женится на племяннице Талдыкина, а тот переделывает посмертную страховку на дожитие и получает все свои взносы обратно.

Постановка «Игры со смертью» в севастопольском «Ренессансе» стала началом театральной судьбы этой пьесы, которую в 1922–1923 годах увидят зрители Праги, Моравской Остравы, Риги, Берлина. Рецензент газеты «Prager Presse» в отзыве на показ пьесы в Праге в ноябре 1922 года писал: «Наш русский гость едва ли преследовал какую-то цель, кроме желания доставить публике приятное развлечение, в чем он вполне преуспел». Журналист А. Бурнакин, смотревший «Игру со смертью» в Севастополе, оставил такой отзыв: «Достоинство пьесы Аверченко — ее сценичность и последовательность в развитии фабулы. Зритель не скучает, а, наоборот, с возрастающим интересом следит за ходом пьесы». Севастопольцы были благодарны Аверченко за то, что он смог отвлечь их от жизненных тягот. Петр Пильский вспоминал, что Аркадия Тимофеевича в городе называли «Красным Солнышком» за умение «среди общих тревог, лишений, неудобств, в этом тумане неясности будущего, в атмосфере злых предчувствий, слепоты,

запертости, общей тесноты, сотрясений» сохранять оптимизм и вносить в жизнь «свежесть хороших утр, после которых весь день кажется помолодевшим и замечтавшимся».

Итак, Аверченко предпринял попытку написать «полноценную» пьесу. Судя по отзывам, постановки ее были удачными, но при чтении «Игры со смертью» нас не покидало ощущение, что автор мог передать комическую коллизию гораздо более компактно. В связи с этим вспоминается общеизвестный факт, что мастерам короткой художественной формы большие вещи обычно не удаются.

Экземпляры пьесы вместе с другими документами севастопольского периода (в основном газетными вырезками) составили основу нового, послереволюционного архива Аверченко. Бежав из Петрограда и оставив там все, что было написано и накоплено в течение десяти лет, писатель теперь начал тщательно собирать любые упоминания о себе в прессе: критические статьи, рецензии, заметки о сборниках, гастрольных поездках, отклики на концертные выступления. Все эти материалы он сортировал в хронологическом порядке и наклеивал в специальные тетради (в РГАЛИ хранятся три из них — № 3, 4, 5 за 1919–1924 годы). Особо тщательно Аверченко собирал свои книги. Через «Юг» он несколько раз обращался к аудитории с просьбой «на время одолжить или продать» ему собственный юмористический сборник «Синее с золотом». Эта книга вышла в Петрограде в 1917 году, у писателя почему-то не было ни одного экземпляра (он продолжал ее разыскивать затем и в Константинополе). Как выяснится впоследствии, Аркадий Тимофеевич действовал очень правильно: Аркадий Бухов, к примеру, оказавшись в эмиграции, не имел ни одной своей книги и никак не мог доказать, что он писатель «с именем»…

Так зачем Аверченко собирал свои книги? С целью переиздания? Возможно, он уже понял, что севастопольская «эпопея» заканчивается, а возвращения в Петербург не будет? Скорее всего — так. Книги, вышедшие в Крыму, он готовил к переизданию за границей. 7 сентября 1920 года Аркадий Тимофеевич подарил сборник «Нечистая сила» С. И. Колпашникову, уезжавшему в США. На книге Аверченко сделал следующую надпись:

«Право продажи этой книги целиком или отдельными фельетонами предоставляю исключительно Степану Ивановичу Колпашникову, Аркадий Аверченко Севастополь, 7/IX 1920.

П. С. Право г. Колпашникову предоставляется на всю Америку.

А. Аверченко».

Наступали последние месяцы «врангелевского сидения».

В первых числах ноября началась эвакуация. Первыми уезжали тыловые учреждения белых. Аверченко ежедневно наблюдал, как по Нахимовскому проспекту двигались в сторону пристаней телеги, а в них — военные всех званий с семьями, чемоданами, ящиками. Поначалу погрузка шла медленно, словно на обыкновенные рейсовые пароходы. Затем по городу поползли упорные слухи о том, что Перекопский перешеек, соединяющий Крым с материком, взят красными. И тогда в Севастополе началась паника среди гражданского населения. Аркадий Тимофеевич, сохранявший, как всегда, олимпийское спокойствие, наблюдал, как люди штурмом брали пароходы. Их пытались оттеснить юнкера. В толпе стояли крик, ругань, плач.

Из внутренних районов Крыма в Севастополь хлынула толпа беженцев. Их коляски, телеги, татарские мажары потоком двигались по центральным улицам, и начало этого потока было где-то далеко за городом. Затем и беженцы сели на пароходы. Выйдя как-то вечером на улицу, Аркадий Тимофеевич увидел по всей ее длине слой навоза, рваную бумагу, лохмотья, сломанные деревья и брошенные телеги. Среди всего этого запустения бродили голодные лошади и грызли кору деревьев.

Последними мимо дома Аверченко прошли воинские части. Они следовали в полном молчании, спокойно, не останавливаясь. Их встречали офицеры и провожали прямо к пристаням. На площади Нахимова — центральной в Севастополе — стоял с крымским посохом в руках Николай Агнивцев и кричал душераздирающие стихи:

Церкви — на стойла, иконы — на щепки,
Пробил последний, двенадцатый час!
Святый Боже, Святый — крепкий,
Святый — бессмертный, помилуй нас!

Многие из тех, кто эвакуировался из Севастополя, запомнили прощальный парад войск, устроенный Врангелем на площади Нахимова. В последний раз на городом пронеслось громовое «ура!».

Все эти события, многократно описанные в мемуарной литературе в трагических тонах, Аркадий Аверченко передал в свойственной ему иронической манере:

«…ко мне пришел знакомый генерал и сказал:

— Вам нужно отсюда уезжать…

— Да мне и тут хорошо, что вы!

— Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите…

— Жарко?! Но ведь уже осень, — чрезвычайно удивился я.

— Вот-вот. А цыплят по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел… Говорю вам — очень жарко будет!

— Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблющиеся, но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара?!

— А кто вам сказал, что удар будет „солнечный“? — тонко прищурился генерал.

— Однако…

— Уезжайте! — сухо и твердо отрубил генерал. — Завтра же рано утром чтобы вы были на борту парохода!

В голосе его было что-то такое, от чего я поежился и только заметил:

— Надеюсь, вы мой пароход подадите к Графской пристани? Мне оттуда удобнее.

— И в Южной бухте хороши будете.

— Льстец, — засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за три тысячи… — Хотите кусочек?

— Э, не до кусочков теперь. Лучше в дорогу сохраните.

— А куда вы меня повезете?

— В Константинополь.

Я поморщился.

— Гм… Я, признаться, давно мечтал об Испании…

— Ну, вот и будете мечтать в Константинополе об Испании» («Как я уезжал»).

Был ли у Аверченко выбор? Вряд ли. Не случайно эпиграфом к рассказу «Как я уезжал» он поместил такую сентенцию:

«— Ехать так ехать, — добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки».

По свидетельству Петра Пильского, Аркадий Тимофеевич не торопился с отъездом: «Аверченко <…> на пароход сел чуть ли не последним, и даже не сел, потому что его туда отвезли и посадили друзья». Ефим Зозуля тоже считал, что писателя «увезли в Турцию» мелкие актеры театров миниатюр. Из обеих цитат складывается ощущение, будто Аверченко не собирался уезжать. Вряд ли это так. Разумеется, он испытывал сильные душевные терзания, ведь приходилось покидать родину и свою семью. Возможно, именно поэтому медлил…

Две сестры Аркадия Аверченко — Ольга Фальченко и Елена Ростопчина — тоже отправились в эмиграцию.

Около полудня 14 ноября 1920 года мимо дома на

Нахимовском проспекте, в котором около двух лет прожил писатель, прошел Врангель со свитой. Это печальное шествие состоялось в полной тишине. Барон прощался с Севастополем, Крымом, Россией. Улицы были пустынны. Дул сильный норд-ост, срывая со стен домов последний приказ главнокомандующего: «… Для выполнения долга перед армией и населением сделано все, что в пределах сил человеческих. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает. Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетье».

Мы можем с уверенностью сказать, что Аверченко отдавал должное тем, кто до конца боролся с большевиками (себя он тоже причислял к борцам). В одном из интервью писатель скажет: «Могу с гордостью сказать, что держались мы до последнего, но когда нас оттеснили так, что мы уже висели на кончике крымской черноморской скалы, пришлось плюхнуться в море и приплыть к гостеприимным туркам».

В Севастополе начинался и в Севастополе же закончился российский период жизни Аркадия Тимофеевича Аверченко.

# Глава пятая. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГАЛАТСКОГО МОСТА

В Стамбуле, куда шли корабли из Крыма, осенью 1920 года было неспокойно. После подписания Турцией перемирия со странами Антанты, последние получили право оккупировать любую часть страны. На рейде Босфора стояли английские, французские и итальянские корабли, англичане заняли и форты в проливах. Правящий султан фактически был марионеткой в руках оккупационного режима. Одновременно в стране поднималось национально-освободительное движение во главе с генералом Мустафой Кемалем. Его сторонники — кемалисты — к весне 1920 года стали настолько грозной силой, что англичане были вынуждены в марте занять все правительственные здания, почту и телеграф Стамбула, взять под охрану дворец султана. На минаретах мечетей красовались пулеметы. Город, принявший русских эмигрантов, был разорен продолжительной войной и истощен гражданскими конфликтами. Для его обнищавшего населения беженцы стали настоящим подарком — на них можно было хоть что-то заработать (носильщиками, слугами). Их же можно было легко обмануть…

Пятнадцатого ноября 1920 года Аверченко прибыл в Константинополь. Этому предшествовали следующие перипетии: «На пароходе я устроился хорошо (в трюме на угольных мешках); потребовал к себе капитана (он не пришел); сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля (подозреваю, что они не были исполнены в полной мере) и, наконец, распорядился уснуть» («Предисловие Простодушного. Как я уехал»).

Совершенно по-другому Аркадий Тимофеевич рассказывал о путешествии из Севастополя в Турцию Аркадию Бухову: шел он не на пароходе, а на миноносце, на котором было три моряка, семь гимназистов и два испуганных человека. Они предложили Аверченко пост «хозяина» корабля. «Вот, знаешь, где я получил настоящее удовольствие! — смеясь, говорил он Бухову. — В течение двух дней я был заправским капитаном самого настоящего миноносца! Это, брат, тебе не фельетоны писать».

В Константинополе союзные власти настаивали на обязательном карантине. Аверченко «ни за что не хотели спускать на берег», но он якобы «потихоньку перелез на стоявший подле русский пароход-угольщик», затем сел в лодку и поехал к Гала-те. Едва пристав, он увидел на пристани огромный клубок из человеческих тел — то были носильщики (хамалы), дравшиеся за

его багаж. Аркадий Тимофеевич в шутку решил, что его «здесь знают», потому что «так орать и спорить из-за сомнительной чести тащить» чемоданы могут только поклонники. И вот вместе с носильщиками они «понеслись в голубую неизвестную даль, короче говоря, на Перу».

Аверченко не мог знать, что хамалам запрещено ходить по центральным улицам Стамбула и поэтому они несут груз кружным путем, удлиняя расстояние в два-три раза. Дом по адресу: Rue Cartal, 3[70], в котором писателю заранее сняли комнату, искали долго еще и по другой причине: «Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно, потому что 7-й номер помешается между 29-м и 14-м, а 15-й скромно заткнулся между 127–6 и 19-а» («Русское искусство»). По Пере носились ошалевшие русские, разыскивая друг друга по адресам, нацарапанным на бумажках, и сатанея от турецких названий — «не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк». Вокруг слышалась тарабарская речевая смесь: как во время настоящего столпотворения — все говорили на всех языках. Внимание Аверченко привлек растерянный эмигрант, который, с трудом припоминая французский, спрашивал прохожего, как пройти к русскому посольству.

«Спрошенный ответил:

— Тут-де сюит. Вуз алле ту а гош, а гош, апре анкор гош, е еси[71] будут… гм… черт его знает, забыл, как по-ихнему, железные ворота?

— Же компран[72], — кивнул головой первый. — Я понимаю, что такое железные ворота. Ла порт де фер[73].

— Ну, вот и бьен[74]. Идите все а гош — прямо и наткнетесь» («Первый день в Константинополе»).

Пока писатель искал свою квартиру, под ногами крутились стамбульские мальчишки. Среди них вполне мог оказаться юный Махмуд Нусрет — будущий известный турецкий писатель-сатирик Азиз Несин. В 1970-е годы, став признанным мастером и занимая должность президента Синдиката турецких писателей, Несин показывал «русский Стамбул» советскому журналисту Александру Филиппову, который вспоминал много лет спустя: «Возле известного базара Капалы Чарши Несин показал дом, где, занимая небольшую комнату, проживал русский писатель Аркадий Аверченко. <…> „Знаете ли вы, — говорил Несин, — что Аверченко вместе с другими эмигрантами основал театр миниатюр? Там ставили юмористические сценки на бытовые темы дореволюционной России, пародии на большевиков, а зрителями были в основном русские эмигранты“» (Филиппов А. «Что ты

есть?» // Родина. 2007. № 4.).

Любовь Белозерская (вторая жена М. А. Булгакова), тоже прошедшая через константинопольское изгнание, отзывалась о районе, прилегающем к Капалы Чарши, с содроганием: «В описаниях Востока часто рассказывается об оживленных крытых базарах. Но „Большой базар“ — „Гран-базар“ — „Капалы Чарши“ в Константинополе, наоборот, поражал своей какой-то затаенной тишиной и пустынностью. Из темных нор на свет вытащены и разложены предлагаемые товары: куски шелка, медные кофейники, четки, безделушки из бронзы. Не могу отделаться от мысли, что все это декорация для отвода глаз, а настоящие и не светлые дела творятся в черных норах. Ощущение такое, что если туда попадешь, то уж и не вырвешься…» (Белозерская Л. Е. Воспоминания. М., 1990).

Найдя, в конце концов, свою квартиру, Аркадий Тимофеевич огляделся по сторонам. На минуту ему показалось, что он все еще на родине: вокруг было множество русских харчевен и столовых с вывесками «Казбек», «Ростов», «Одесса-мама», «Закат». Судя по запахам, там подавали борщ и котлеты, угощали «горькой русской», «перцовкой». На площади перед мечетью шла торговля обручальными кольцами, часами, серьгами, столовым серебром, одеялами, подушками, одеждой. Аверченко невольно вспомнил собственное детство, прошедшее рядом с севастопольским базаром. Теперь он отчетливо представил себе все, что его ждет: сутолока, крики, драки, пьяные, нищие…

Так и оказалось. В свой первый константинопольский день он заснул рано, проснулся же от нечеловеческого рева, прорезавшего утренний воздух. Со сна он решил, что кемалисты вошли в город и уже кого-то режут. Однако писатель увидел под своим окном одного-единственного грека, продающего «полудохлую» скумбрию. А уже через некоторое время «крики, стоны и вопли неслись со всех сторон. Зверь встал на задние лапы, потянулся и, широко раскрыв огромную пасть, оглушительно заревел: зверь хотел кушать» («Первый день в Константинополе»). Начиналась жизнь в восточном городе. К реву продавца скумбрии добавились крики йогурджи, предлагавших густое кислое молоко, лимонаджи, ходивших с медными сосудами за спиной и стаканами в широком поясе. Йогурджи и лимонаджи перекрикивали торговцы зеленью и газетами. Здесь же исступленно бормотал продавец лимонов: «Амбуласи, амбуласи, амбуласи!» Ему вторил мальчишка, продающий рогалики с тмином: «Семитие, семитие, семитие!» Очень скоро Аверченко узнал, что для покупки всего этого товара необязательно выходить на улицу: можно просто спустить на веревке корзину с

деньгами. Этот способ ему, как ленивому человеку, очень понравился, и он часто к нему прибегал.

Аркадий Тимофеевич привык к Константинополю быстрее, чем другие его соотечественники. Атмосфера Востока была ему знакома с детства, ведь он вырос рядом с крымскими татарами. Писатель неплохо понимал их язык, близкий к турецкому. Многие названия в Константинополе напоминали крымские: район Адалар (островов) вызывал в памяти скалы Адалары в Гурзуфе, а Кадыкёй — поселок Кады-Кой в окрестностях Севастополя.

Думается, что поначалу писатель был стеснен в средствах. Вот что он писал некоему Чеховичу, личность которого мы установить не смогли: «Милый и дорогой Юрий Иванович! Большое спасибо Вам за хорошее письмо. Те вести, которые Вы сообщаете, как Вы, вероятно, догадываетесь, очень мне приятны. Конечно, я согласен на те условия издания, что выработаны Вами. 120 лир, сами понимаете, не только на полу, а даже и в кармане Вашего покорнейшего слуги не валяются»[75].

Заработать деньги в Константинополе было непросто. Приходилось делать ставку на богатых русских беженцев и иностранцев (в городе в то время находились свыше 50 тысяч английских и французских солдат, а также американцы, греки, итальянцы). Они и повалили в русские кабаре, которые росли как грибы. Самыми престижными и популярными стали «Черная роза» Александра Вертинского и возрожденное севастопольское «Гнездо перелетных птиц» Свободина и Аверченко, попеременно работавшее то в зимнем саду ресторана «Русский очаг», то в ресторане «Паради». Об этом времени напоминает фотография в архиве Аверченко. Она запечатлела стоящих на крыше Аркадия Тимофеевича, Свободина и некую даму по фамилии Марчетич. На обороте сделанная ею надпись: «Почему-то кажется: если Аверченко, то надо написать что-нибудь смешное. А я не хочу. Скажу очень серьезно и искренне: между вами и Свободиным мне было очень хорошо. Спасибо. Марчетич». Ниже приписка: «Вспомните когда-нибудь об общности наших шашлычных переживаний. Марчетич»[76].

«Гнездо перелетных птиц» стало успешным коммерческим проектом, который Аверченко рекламировал на страницах своего журнала «Рождественский Сатирикон» (январь 1921 года):

«ВСЕ МЫСЛЯЩИЕ РУССКИЕ должны проводить праздничные вечера в „Гнезде перелетных птиц“.

Это времяпрепровождение очень проясняет мысли и накладывает на все лица отпечаток истинной осмысленности. „Гнездо перелетных птиц“ смело можно назвать — Академией Изящного Вкуса, Истинной Красоты и Прекрасного Интеллекта.

Человек отличается о животного главным образом тем, что он улыбается. Мы заставляем улыбаться — значит, мы (т. е. Гнездо) совершенствуем всякое человекообразное, возводя его на высшую ступень…»

Активно пропагандировала концерты в «Гнезде…» и эмигрантская «Presse du Soir» («Вечерняя газета»), которой сотрудничество с Аверченко принесло популярность. Часто, проходя по Пере, писатель с улыбкой ждал встречи с двумя бывшими русскими офицерами, неизменно стоявшими на углу.

— Presse du Soir!.. Сегодня фельетон Аверченко! — с заученной улыбкой кричал ему тот, что постарше.

А другой, помоложе, предлагал купить цветы.

Аркадия Тимофеевича можно было видеть на Пере и потому, что здесь гуляли все русские, и потому, что в конце улицы — там, где она соединялась фуникулером с Галатским мостом — находилось Бюро русской печати (Bureau de la Presse Russe). Глава Бюро — севастопольский знакомый Аверченко Николай Николаевич Чебышев — был отправлен бароном Врангелем в Стамбул перед началом крымской эвакуации для сотрудничества с союзной прессой. Он должен был подготовить общественное мнение к приему русской армии.

Аверченко и Чебышев в Константинополе подружились и вместе создали еженедельный журнал «Зарницы». Раз в неделю Аркадий Тимофеевич приносил фельетоны в редакцию. Она занимала помещение большого магазина. Внизу работала канцелярия, над ней, на антресолях, — кабинет Чебышева. У входа Аверченко обычно задерживался, разглядывая вывешенные на витрине огромный портрет Врангеля и карту русских территорий, потерянных большевиками. Далее писатель возникал перед Чебышевым, который вспоминал: «Я точно знал день и час, когда винтовая лестница задрожит под тяжелой поступью и на моих антресолях, где постоянно горело электричество, появится массивная фигура тщательно одетого и причесанного женпремьера, с бритым лицом, толстыми губами, неодинаковостью взгляда из-под пенсне. Я безуспешно старался уловить взгляд. Глаза смотрели по-разному, как будто совсем не смотрели. Тогда я не подозревал, что зрение было больное и что Аверченко хранил в памяти предостережение окулиста, за год перед смертью оправдавшееся» (Чебышев Н. Н. Близкая даль. Париж, 1933).

В кабинете Чебышева Аркадий Тимофеевич заставал самых неожиданных визитеров. Все просили денег. Как-то явился бывший русский фабрикант и предлагал купить пересказ его сна о великом князе Дмитрии Павловиче за 50 лир!

В «Зарницах» печатались писатели Илья Сургучёв, Евгений Чириков, однако в историю русской прессы журнал вошел исключительно благодаря Аверченко. Именно здесь, в пятнадцатом номере за 1921 год, был опубликован его фельетон «Приятельское письмо Ленину», который современные филологи рассматривают как блестящий образец жанра «письмо вождю». (Своеобразную традицию в дальнейшем продолжат Михаил Булгаков, Евгений Замятин, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын.)

«Приятельское письмо…» вполне можно считать итогом размышлений автора о личности, вершившей новейшую историю России. Личность эта, разумеется, не вызывала у Аверченко симпатии. Он обращается к Ленину откровенно фамильярно — на «ты», подчеркивая свое презрение:

«Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Все ли у тебя в полном здоровьи?

Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?

А я тебя помню. <…>

Много, много, дружище Вольдемар, за эти два года воды утекло… Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как соленого зайца. <…>

Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.

Впрочем, что же это я о себе да о себе… Поговорим и о тебе…

Ты за это время сделался большим человеком… Эка, куда хватил: неограниченный властитель всея России… Даже отсюда вижу твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу твое возражение:

— Не я властитель, а ЦИК.

Ну, это, Володя, даже не по-приятельски.

<…> Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.

На кой черт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал до хрипоты с балкона — тебе отчасти и кушать хотелось, отчасти и мир, по молодости лет, собирался перестроить.

А теперь? Наелся ты досыта, а мира все равно не перестроил.

Доходят до меня слухи, что живется у вас там в России, перестроенной по твоему плану, — препротивно.

Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.

Стоит огород городить, действительно!

Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто

скучаешь.

Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие бабеночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.

А какой ты, к черту, Людовик, прости за откровенность!

Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев — и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом и ему кричали „ура“, а тебе что кричат?

— Жулики вы, — кричат тебе и Троцкому. — Чтобы вы подохли, коммунисты.

Ну, чего хорошего?

Я еще понимаю, если бы рожден был королем — ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне — и сочиняй законы для подданных.

А ведь ты — я знаю тебя по Швейцарии — ты без кафе, без „бока“, без табачного дыма, плавающего под потолком, — жить не мог.

Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим киастером — да где уж там!

И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215 523.

Неуютно ты, брат, живешь, по-собачьему. Русский ты столбовой дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами и друга себе нашел — Троцкого — совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.

Если хочешь иметь мой дружеский совет — выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что это для отсталой России „не по носу табак“, так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.

Просто и мило!

Ей-богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось: дрянь, грязь и безобразие.

Не нужно ли деньжат?

Лир пять, десять могу сколотить, вышлю.

Хочешь — приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем — поумней твоего марксизма.

Ну, прощай, брат, кланяйся там!

Поцелуй Троцкого, если не противно.

Где летом — на даче?

Неужели в Кремле?

С коммунистическим приветом

Аркадий Аверченко.

P. S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж, Елисейский дворец, Мильерану для Аверченко».

Заметим, что к осмыслению личности Ленина обращался в эмиграции не один Аверченко. Александр Куприн, к примеру, в 1919 году написал фельетон «25 октября 1917–25 октября 1919 г. Владимир Ульянов-Ленин», в котором нарисовал воистину инфернальный портрет вождя:

«Ленин говорил свободные слова. Слишком свободные! С развязностью умалишенного он развязывал толпы от страха убийства. Убивайте, грабьте, берите, насилуйте, уничтожайте — все ваше, все принадлежит вам.

В нем сидел демон убийства…

И толпа заразилась его сумасшествием. Около него стали собираться подобные ему люди, опьяненные кровью, и он царил над ними. Толпа насильников и убийц вознесла его на высоту и посадила на престол всероссийский…

На этом престоле, в Петрограде и московском Кремле, он был не первый сумасшедший. Правил Россиею безумный Павел, на престоле Московском сидел сумасшедший Иоанн IV Грозный».

Можно вспомнить также характеристику, данную Ленину Иваном Буниным в 1924 году: «…Россия, поджигаемая „планетарным“ злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума. <…> Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить „Семь заповедей Ленина“» («Миссия русской эмиграции»).

У Аверченко же Ленин неизменно предстает трикстерным персонажем, то есть героем авантюрно-плутовского толка. В 1990–2000-х годах подобный взгляд на вождя русской революции стал обыденным — произошло карнавальное развенчание святынь. В последние годы появились, к примеру, исследование историка Левона Абрамяна «Ленин как трикстер» и плутовской роман о Ленине «Правда» Дмитрия Быкова и Максима Чертанова. Однако восстановим историческую справедливость: первым к подобному аспекту образа обратился Аверченко. Он же, как нам

кажется, был первым автором анекдотов про В. И. Ульянова. К примеру, чем не анекдот: «Однажды в детстве мама поймала Ленина с папиросой. Он дал маме обещание никогда не курить. Потом он дал рабочим, солдатам и крестьянам еще много разных обещаний. Но выполнил только первое».

Писатель придумывал о Ленине не только анекдоты. Размышляя над тем, как Владимир Ильич мог бы отреагировать на его фельетон «Приятельское письмо…», и от души веселясь, Аверченко написал самому себе от лица вождя ответ, который сохранился в его архиве в машинописном виде:

«Здравствуй, дорогой Аркадий!

Спасибо за письмишко.

Мы все здесь думали, что тебе давно проломил голову ка-кой-нибудь ревнивый крымский муж, потому что ты насчет баб всегда был ходок большой руки.

Когда мы сбросили белых в море, Луначарский посылал за тобой в Крым специальный вагон, но тебя не нашли.

Стыдно, Аркаша, после такого большого перерыва сразу гадости писать.

Ты, милый, совершенно не осведомлен!

У нас жизнь совсем не плоха и всё то, что пишут наши эмигрантские газеты, — страшный вздор.

Голода, например, нет никакого <…>».

Далее Ленин устами Аркадия Аверченко опровергает слухи о тяжелой жизни в Советской России, извиняется: «…не поцеловал Троцкого, как ты Просил, — боюсь нос откусить» и просит кланяться Керенскому. А заканчивается письмо так:

«Надеюсь скоро увидеть твою коммунопротивную физиономию.

С коммунистическим приветом,

Вл. Ленин»[77].

Подпись Ленина в рукописи выполнена чернилами — Аркадий Тимофеевич не поленился ее скопировать!

Расправившись с Лениным хотя бы на бумаге, писатель продолжал напряженно работать. Как и в Севастополе, Аркадий Аверченко в творчестве константинопольского периода обращался к двум основным темам: русской революции и беженского быта. Своеобразной энциклопедией эмигрантской жизни стал его сатирико-юмористический сборник «Записки Простодушного» (Константинополь: Новый Сатирикон, 1921). Эта книга положила начало художественной разработке этой темы в отечественной литературе: от булгаковского «Бега», «Ке фер?» Тэффи и «Похождений Невзорова» Алексея Толстого до новейших романов о приключениях «русских в Европах» конца 1990-х годов.

Читая между строк аверченковской забавной «константинополиады», невольно понимаешь, что автору удалось, шутя, создать трагикомическую картину авантюрной агонии и «перековки» русского характера.

Бывшая петербургская драматическая актриса, а ныне горничная, в совершенстве изучившая язык «дна»; бывший боевой генерал, работающий теперь в Константинополе швейцаром; бывший барон, продающий на Пере «тещины языки», — таковы «рядовые» герои константинопольских рассказов Аверченко. Но есть и более яркие персонажи, каждый из которых вполне мог бы стать центральным в большом плутовском романе: это те, кого Аверченко описал в рассказах «Константинопольский зверинец» и «Второе посещение зверинца». Сюжет у них сквозной: рассказчик, сидя в «препошлейшем ресторане» Константинополя, созерцает «паноптикум» мошенников, карточных шулеров и авантюристов и слушает рассказ приятеля об их прошлом. Есть в этом «константинопольском зверинце» жулик, который организовывал концерты Шаляпина, но ему «всегда не хватало одной маленькой подробности: самого Шаляпина». Есть бывший русский солдат, которому удалось в годы войны, переодевшись в австрийскую форму, сдаться в русский плен и ни дня не воевать. Наконец, есть бандит «с каменным, неискусно высеченным лицом», который отслеживал на улицах влюбленные пары, отзывал в сторонку мужчину и шептал ему на ухо: «Лиру или в морду!» Чтобы не опозориться на глазах любимой девушки, любой был рад отдать последние деньги.

В фельетоне «О гробах, тараканах и пустых внутри бабах» писатель приводит истории выживания в Константинополе трех своих петербургских знакомых. Один из них, бывший журналист, нанялся к гадалке в оккультный кабинет лежать в гробу и отвечать на «идиотские вопросы клиентов». Другой — бывший поэт — «ходит в женщине», то есть носит на себе чучело картонной бабы с рекламой элитного ресторана. Третью знакомую «кормит» зеленый таракан, ибо она служит «на записи в тараканий тотализатор». Финал рассказа проникнут горечью автора:

«Отошел я от них и подумал:

— Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит…»

Эти тараканы, «кормившие» русских беженцев, многим запомнились. Они появились после того, как союзная полиция закрыла лотошные клубы.

«О, бог азарта — великий бог, — писал Аверченко. —

Отнимите у человека… лото, он зубами уцепится за таракана; отнимите таракана, он…

Да что там говорить: я однажды видел на скамейке Летнего сада няньку с ребенком на руках. Она задумчиво выдергивала у него волосик за волосиком и гадала: „Любит — не любит! Любит — не любит“. Это был азарт любви, той любви, которая может лишить волос даже незаинтересованную сторону…» («Лото-Тамболла»).

Идея тараканьих бегов некоторым русским беженцам казалась фантастической. Любовь Белозерская, к примеру, утверждала, что «на самом деле никаких тараканьих бегов не существовало», и называла это азартное развлечение «горькой гиперболой и символом», придуманными Аверченко. Однако в девятом номере «Зарниц» за 1921 год находим объявление о том, что бывший петербургский кинопромышленник Абрам Дранков арендовал один из залов «Русского клуба» на Пере для кафародрома. Выступают звезды-тараканы «Мишель», «Мечта», «Прощай, Лулу» и «Люби меня, Троцкий!» — фаворит!

Мотив тараканьих бегов, впервые введенный в художественную прозу Аверченко, получил дальнейшее развитие в литературе 1920-х годов. Так, герои плутовской повести А. Н. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1923–1924) Ртищев и Невзоров придумывают «народное русское развлечение» — бега дрессированных тараканов, которое приносит им невиданный успех и материальное благополучие. В пьесе М. А. Булгакова «Бег» (1926) и вовсе выведен «тараканий царь Артур Артурович», рекламирующий невиданную нигде в мире русскую и даже якобы придворную игру: «Тараканьи бега! Любимая забава покойной императрицы в Царском Селе!.. Первый заезд! Бегут: первый номер — Черная Жемчужина! Номер второй — фаворит Янычар… Третий — Баба-яга! Четвертый — Не плачь, дитя! Серый в яблоках таракан!..»

Описывать все эти проявления безобразного совсем не смешно, а грустно и очень тяжело. Но что поделаешь — Аверченко и самому нужно было выживать! Продажа сборника «Записки Простодушного», работа в «Гнезде перелетных птиц», газете «Presse du Soir», журнале «Зарницы» вскоре принесли ему материальное благополучие. Вместе с деньгами вернулся и привычный стиль жизни. Писатель стал завсегдатаем русского ресторана «У Георгия Карпыча» в саду Пти-Шан, из окон которого открывался великолепный вид на Золотой Рог. Сотрапезником Аркадия Тимофеевича часто бывал Николай Чебышев, который вспоминал: «Он (Аверченко. — В. М.) был незаменим за столом. <…> Аверченко любил покушать. И в произведениях его еда

занимала значительное место. Он умел уходить в маленькие радости жизни, садился за стол у „Карпыча“ в „Пти-Шан“ с выражением проникновенного благополучия. Казалось, точно он после треволнений дня входил в тихий порт. Он бережно наполнял рюмки и незаметно руководил дальнейшим направлением обеда, устанавливал всему порядок и черед, избегая чрезмерной торопливости. В актив Аверченко надо записать, что в обиходе в нем не проявлялся ни писатель, ни острослов. Он не злоупотреблял анекдотом. У него не замечалось сценического напряжения, свойственного литературным львам. Он отлично слушал, не стремился завладеть разговором, по производимому на меня впечатлению был скорее скромен, даже застенчив, впрочем, не без известного себе на уме…» (Чебышев Н. Н. Близкая даль).

Обед у «Карпыча» спасал от грусти. А грустить было отчего. В Константинополе к Аверченко пришло осознание случившейся с ним беды: он лишился родины. Однажды журналист Николай Литвин прочитал ему свои не очень искусные, но искренние стихи «Тем, кто с нами»:

Увядший русский смех, умолкшие поэты,
Сегодня далеко для вас Россия та.
Дороже эта нам, что стала без привета
По обе стороны Галатского моста.
В печальных складках рта мы спрятали улыбки, —
Что ж, мы умеем ждать.
Еще, еще немножко,
Быть может, только год, быть может, много лет…

Заканчивались стихи надеждой на то, что

Сверкнет Аверченко чудесным фельетоном,
Обрадует, как встарь, нарядный Сургучёв,
И будут нас пленять своим изящным тоном
Цветные россыпи агнивцевских стихов.

Это стихотворение настолько тронуло Аверченко, что он его сохранил[78].

В душе писателя в константинопольский период происходит сильнейший переворот.

«Точно ли я теперь такой „Простодушный“, каким был тогда, когда ясным ликующим взором оглядывал пеструю Галату, высаживался на константинопольский берег. <…> Точно ли я

таков теперь, каким был тогда?..

О, нет. Гляжу я искоса в зеркало, висящее в простенке, — и нет больше простодушия в выражении лица моего…

Как будто появилось что-то себе на уме, что-то хитрое, что-то как будто даже жестокое. <…>

Во всяком случае — умер Простодушный…

Доконал Константинополь русского Простодушного», — напишет он в заключении к своему сборнику «Записки Простодушного».

Аверченко с болью признавал, что «жестокий боксер» Константинополь «выковал» из русских эмигрантов «прочное железное изделие». Действительно, многим его друзьям выпала нелегкая доля. Аверченко же был более-менее благополучен, поэтому по мере сил старался всем помогать. Когда он узнал, что в одной из больниц города лежит тяжелораненый Сергей Горный (бывший сатириконец), немедленно отправился туда. При встрече Горный рассказал, что получил штыковое ранение под Екатеринославом, попал в плен к махновцам, но с помощью англичан был эвакуирован. Много лет спустя, обращаясь к своему давно умершему другу Аркадию, Горный напишет: «когда я… лежал и махновскую рану мою чинили и латали и зашивали — все никак не могли починить, — ты один приходил и все какие-то доллары совал, не нужно ли, мол, — и сердился, что не беру».

Весной 1921 года Аверченко получил письмо на бланке литературно-художественного журнала «OTETCHESTVO» от Куприна:

«Дорогой Аркадий Тимофеевич!

Сего журнала я редактор, а из этого значит, что стану предлагать Вам <…> сотрудничество. Кроме выше перечисленных в штемпеле качеств, он еще и антибольшевистский. Пришлите же, что полюбится самому.

Ваш сердечно.

А. Куприн» (Париж, 12 апреля 1921 года).

Думается, что Аркадий Тимофеевич не мог не порадоваться за своего товарища и коллегу, который, по-видимому, неплохо устроился. Аверченко с улыбкой вспомнил купринский фельетон «Пролетарские поэты», который кто-то показывал ему в 1920 году в Севастополе. Поводом для написания послужило выступление бывшего сатириконца Василия Князева на конференции пролетарских писателей Петрограда и Петроградской губернии. Поэт призывал всерьез разобраться с деятельностью «Дома литераторов» («очага хищений и контрреволюции»), книгоиздательствами «Всемирная литература» и «Севцентропечать» (якобы там издаются сочинения прежних

буржуазных писателей и нынешних гнусных саботажников), а также с Обществом драматических писателей. Куприн в фельетоне назвал Князева «позорным красным болваном», гордо поднявшим «красное знамя с надписью „васькина литература“»[79].

Приходили Аверченко и очень забавные письма. Одно из них прислали знакомые писателя, супруги Берензон, оказавшиеся в Вене. Они приложили к посланию экземпляр газеты сплетен «Венское эхо», которая на основании сообщения собственного «врадио» пришла к выводу, что известный русский писатель А. Т. Аверченко тихо скончался неизвестно где, так как совсем не отвечает на письма. В шуточном некрологе от имени Веры Берензон говорится: «Аркадия погубили женщины. Я ему всегда говорила: не смей ни за кем ухаживать, кроме меня… У Аркадия в передней с утра и до… (вычеркнуто цензурой) толкутся женщины…» (7 мая 1921 года)[80].

Однажды пришло письмо от Ре-Ми, о котором Аверченко давно не имел никаких известий:

«Лондон

26 ноября 1921 года

Аркадий!

Вчера получил вопль о помощи находящегося в Николаеве Моисея Израилевича Апельхота: если у тебя есть желание и материальная возможность, а главное, какие-либо пути для пересылки денег — помоги. Я со своей стороны уже сделал все, что мог, но мне говорят, что помощь может дойти не ранее как через полтора месяца — может быть, тебе удастся переслать помощь быстрее… Во всяком случае, считаю своим нравственным долгом предупредить тебя о его катастрофическом положении. Из Лондона я стараюсь наладить связь с Радловым и Радаковым, которые в Петрограде, и помочь им хотя бы со съестными припасами, но ответа не имею — моей сестре[81] и брату даже не знаю куда писать, т. к. они выехали из Петрограда и я ни от кого не могу точно узнать, куда!

А за сим будь здоров.

Желаю тебе всего наилучшего.

Жму руку»[82].

В приписке был указан адрес Апельхота (бывшего управляющего конторой «Нового Сатирикона». — В. М.) в Николаеве.

Ре-Ми оказался за границей почти на год раньше Аверченко. 20 января 1920 года он эмигрировал из Одессы на французском пароходе «Дюмон д'Юрвиль». Плывшая здесь же Любовь Белозерская, тогда еще супруга Ильи Не-Буквы, вспоминала, что у

Ре-Ми «кроме таланта, бойкой жены Софьи Наумовны и увальня-пасынка Лёни, ничего за душой не было…». Дон Аминадо — еще один пассажир парохода — писал, что Ре-Ми уже за час до отплытия начал страдать морской болезнью. Ни жене, ни Лёне ни за что не хотел верить, что пароход еще стоит на месте, и, стало быть, все это одно воображение. Но потом он как-то собрался и даже написал портрет капитана судна Мерантье, за что консервные пайки были удвоены всей компании, ехавшей с Ре-Ми. Художник хлебнул свою долю беженского горя в Константинополе. Зарабатывал тем, что рисовал шаржи и настенные панно в русских ресторанах. Затем через Париж, Лондон пробрался в США (работал в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе). Некоторые дополнительные сведения о нем сообщает в своих воспоминаниях Михаил Корнфельд: «…уже в период эмиграции… мы (т. е. я с семьей) встретились неожиданно на Константинопольском рейде с семьей Н. Ремизова. Надо полагать, что эта встреча доставила всем ее участникам большое удовольствие, т. к. мы решили не расставаться, вместе поехали в Париж, сняли одну большую квартиру и прожили совместно, ко взаимному удовольствию, несколько лет, вплоть до отъезда Ремизовых с Никитой Балиевым в Америку, где они окончательно обосновались, поддерживая со мною до последнего времени дружескую переписку» (Корнфельд М. Воспоминания).

Мы не знаем, смог ли Аверченко помочь голодающему Апельхоту, но он наверняка пытался. Аркадий Тимофеевич не мог не тревожиться за своих друзей и родных, оставшихся в Советской России. Переписываться с ними было сложно. Приходилось прибегать к различным уловкам: корреспонденции не подписывать, выражаться иносказательно. По словам племянника писателя Игоря Константиновича Гаврилова, в Севастополь Аркадий Тимофеевич отправлял письма за подписью неизвестной женщины, в которых сообщал краткие сведения о себе и справлялся о делах дома. К сожалению, не сохранились ни эти письма, ни ответы на них, однако мы имеем в распоряжении уникальные воспоминания Игоря Константиновича, отчасти восстанавливающие картину жизни семьи писателя после ухода белых. Предоставим ему слово:

«Помню голод. Напротив нашего дома на улице валялись трупы, и их никто не убирал. В гости к папе приехал его бывший денщик и пригласил переждать тяжелые времена в брошенном имении на Южном берегу Крыма, в Симеизе. Имение было огромное, когда-то очень богатое, но совсем заброшенное. Хозяин, видимо, эмигрировал, в доме жили татары. В огромной

зале была шикарная люстра, к ней они привесили люльку и качали ребенка.

Еще помню: в Севастополе объявили — всем военным явиться в цирк. Их окружили, посадили на баржу, привязали к ногам колосники и утопили в море. Папа не пошел в цирк и чудом спасся. Через некоторое время у берегов Севастополя затонула подводная лодка и водолаза послали ее искать. Он опустился под воду и увидел стоящих перед ним покойников — колосники не давали им всплыть. Водолаз сошел с ума, в городе об этой истории много говорили.

Как мы выживали в двадцатые годы? Сдавали дом, была у нас лошадь. Отец арендовал мастерскую и начал делать зажигалки, так как спички исчезли. Папин близкий друг подрабатывал на Приморском бульваре фотографом. Мама в период нэпа пекла пирожки и чебуреки на продажу. Бабушка жила с нами, помогала по хозяйству».

Казнь белых офицеров, о которой вспоминает Игорь Константинович, часто называют «севастопольским апокалипсисом». Произошло это в конце ноября 1920 года, сразу же после занятия города красными частями. По Севастополю были расклеены объявления об общем собрании в цирке всех зарегистрировавшихся белых офицеров. Пришедшим гарантировали жизнь, не явившиеся автоматически расценивались как враги и контрреволюционеры. В назначенный день цирк и прилегающая к нему площадь были забиты законопослушными «бывшими». В течение двух дней все эти люди… исчезли. Большинство вывозили в окрестности города и расстреливали из пулеметов и револьверов. Тысячи были утоплены. Об этом кошмаре в Севастополе столько говорили, что Игорь Константинович, бывший шестилетним мальчиком, запомнил его на всю жизнь (прочитать о нем он нигде не мог — об этом раньше не писали).

Разумеется, о подобных событиях родственники Аркадию Тимофеевичу не сообщали. Однако и то, что его семья, жившая в последнее время в достатке, теперь терпит лишения, вряд ли его радовало.

Беспокоился писатель и за судьбу своей петроградской квартиры в «Толстовском доме». Актрису Марию Марадудину, оставшуюся в России, он просил наведаться на Троицкую, по возможности собрать все его книги и выслать ему. Марадудина выполнила просьбу и писала Аверченко, что квартира его «как прежде, однако пусто и сыро»; всю обстановку вывезла к себе горничная Надя, которая вышла замуж и живет теперь в Поварском переулке. Никаких книг нет: за исключением одного

комплекта «Сатирикона», вся остальная библиотека погибла.

Горничная Надя поступила очень правильно, забрав обстановку. 19 ноября 1921 года в Советской России был принят декрет о конфискации и переходе в, собственность РСФСР всего движимого имущества граждан, «бежавших за пределы республики или скрывающихся до настоящего времени». О том, что происходило после принятия этого декрета в квартире Аверченко, мы знаем благодаря историографу «Толстовского дома» Марине Колотило. Подъезд, в котором жил писатель, с 1921 года начали заселять транспортными рабочими и сотрудниками ЧК. Через этаж от бывшей квартиры писателя поселили секретаря ЧК Надежду Ивушину, которая непосредственно участвовала в выдворении из дома «бывших». Все вещи из квартир выселяемых, а также бежавших жильцов были сложены огромной кучей в сквере со стороны Щербакова переулка прямо под открытым небом. Каждый желающий мог выбрать себе всё, что ему понравится…

Однако вернемся в Константинополь. В ноябре 1921 года Аверченко, как и все русское общество города, был взволнован опубликованным в газетах декретом ВЦИК «Об амнистии». Многие начали собираться в Россию. По Пере носился слух: «Уезжает даже генерал Слащёв!!!» В трактовке Михаила Булгакова возвращение Слащёва (прототип Хлудова в пьесе «Бег») выглядит так:

«Хлудов. Сегодня ночью пойдет с казаками пароход, и я поеду с ними. <…> Генерал Чарнота, может, поедете со мной? А? Бросайте тараканьи бега!

Чарнота. Постой, постой, постой! <…> Проживешь ты, Рома, ровно столько, сколько потребуется тебя с поезда снять и довести до ближайшей стенки, да и то под строжайшим караулом!»

Отъезд Слащёва 20 ноября обсуждал весь Константинополь, но уже через двое суток «тема дня» поменялась. 22 ноября в большевистской «Правде» появился отзыв Ленина на сборник «Дюжина ножей в спину революции», озаглавленный «Талантливая книжка».

Владимир Ильич наконец-то ответил Аркадию Тимофеевичу! И как ответил! Его рецензия невелика по объему, что позволяет привести ее полностью:

«Это — книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко: „Дюжина ножей в спину революции“. Париж, 1921. Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной,

выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете.

Зато большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички, например, „Трава, примятая сапогом“, о психологии детей, переживших и переживающих гражданскую войну.

До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с полтиной и за 50 рублей и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность — из ряда вон выходящие.

В последнем рассказе: „Осколки разбитого вдребезги“ изображены в Крыму, в Севастополе бывший сенатор — „был богат, щедр, со связями“ — „теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды“, и бывший директор „огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина, и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию“.

Оба старичка вспоминают старое, петербургские закаты, улицы, театры, конечно, еду в „Медведе“, в „Вене“ и в „Малом Ярославце“ и т. д. И воспоминания перерываются восклицаниями: „Что мы им сделали? Кому мы мешали?“… „Чем им мешало все это?“… „За что они Россию так?“…

Аркадию Аверченко не понять, за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях.

Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять» (Ленин В. И. Талантливая книжка // Правда. 1921. 22 ноября).

Статья Ленина вполне вписывается в рамки той политики,

которую в 1921–1922 годах проводили большевики по отношению к писателям-эмигрантам. По словам Алексея Варламова, автора современного жизнеописания Алексея Толстого, «…с точки зрения большевиков, чем „хуже“ вел себя человек в революцию и гражданскую войну, чем яростнее против них выступал и писал, тем теперь было для них лучше. Если *такие* люди одумались и раскаялись, если *эти* к нам перешли, значит, мы действительно сила» (курсив автора. — В. М.) (Варламов А. Алексей Толстой. М., 2008). Аркадий Аверченко, несомненно, был одной из самых авторитетных фигур русской эмиграции, а уж яростная антибольшевистская позиция стала его «визитной карточкой». Если бы такой писатель вернулся в Россию и поставил свой талант на службу пролетариату, резонанс в эмигрантском мире был бы огромный! Вполне вероятно, что рецензия Ленина готовила почву для дальнейших шагов по «заманиванию» Аркадия Аверченко в Советскую Россию.

Именно в это время в Берлине шла психологическая обработка Алексея Толстого, который сделался эпицентром идеологического раскола. Среди тех, кто разделял желание Толстого вернуться в Россию, был журналист Илья Василевский (Не-Буква). Сочувствуя советской власти, он поместил в парижской газете «Последние новости» отрицательную рецензию на сборник «Дюжина ножей в спину революции», характерно озаглавленную «Картонный меч». Если Аркадий Аверченко ее читал, то он наверняка заметил то, что заметили мы, — статья Ленина во многом повторяет статью Не-Буквы: оба рецензента одним из самых удачных сочли фельетон «Трава, примятая сапогом»; оба считали, что политическая ненависть и злость вредят художественным достоинствам произведений Аверченко; оба критиковали пространные воспоминания кулинарного характера. Ироническое и в то же время пафосное резюме статьи Не-Буквы интонационно перекликается с аналогичным местом в рецензии Ленина:

«Книга талантливого автора пострадала от столкновения с политикой и гастрономией.

Картонным мечом большевизма не победить, а творчество и злость так же плохо совместимы, как гений и злодейство» (Не-Буква [Василевский И. М.]. Картонный меч // Последние новости. 1921. 4 января).

Ленин (или тот, кто готовил для него текст статьи «Талантливая книжка»), несомненно, опирался на рецензию Не-Буквы. Последнему, вероятно, большевики «зачли» рецензию «Картонный меч», когда разрешили вернуться в СССР вместе с Алексеем Толстым.

Ленин пошел и дальше рецензии: по его предложению «Правда», «Известия» и некоторые другие газеты стали перепечатывать рассказы и фельетоны сатириков-эмигрантов, сопровождая их критическим разбором.

В 1922 году в Советской России был выпущен сборник Аверченко «Записки Простодушного (Эмигранты в Константинополе)». Этот факт отнюдь не порадовал писателя. Он был крайне возмущен тем, что за издание этой книги ему не заплатили гонорара. Не понравилось и то, что на обложке был помещен шаржированный портрет автора: поникший, оборванный эмигрант Аверченко с сиротским саквояжиком и зонтиком в сведенных руках…

Творчество Аркадия Тимофеевича начала рассматривать советская критика. В 1922 году в Москве вышла книга Н. Мещерякова «На переломе», одна глава которой — «Белогвардейский юмор» — напрямую касалась книги «Дюжина ножей в спину революции»:

«Вышла в Париже недавно книжка Аркадия Аверченко — „Дюжина ножей в спину революции“. <…> Читатель, может быть, подумает, что Аверченко хочет обличать, „бичевать“ тех, кто вредит революции, втыкая нож в спину. Совсем нет. Аркадий Аверченко сам своей книжкой хочет всадить дюжину ножей в спину революции. Революция, по его словам, это „полупьяный детина с большой дороги“. „Да ему не дюжину ножей в спину, а сотни — в дикобраза его превратить“. А сейчас же под предисловием, из которого я беру эти строки, изображена выразительная виньетка: рука, крепко сжимающая нож и готовая нанести удар. Эта выразительная виньетка повторяется в небольшой книжке семь раз, не считая обложки, на которой сам Арк. Аверченко изображен с двумя ножами!

Когда человек настроен так кровожадно, тут уж не до юмора.

Две мечты владеют все время душой, помыслами и творчеством Аркадия Аверченко. Во-первых, воспоминания о прошлом, когда так привольно, сладко, беззаботно, весело, сытно и пьяно жилось на Руси всем эксплуататорам и тем, кто умел им прислуживать. Эта нота красной нитью проходит через всю книжку. <…>

Воспоминания о вкусной еде, о винах, о легкой привольной жизни — это лейтмотив современной эмигрантской белогвардейской и „политической сатиры“. Все это у них было и всего этого их лишила революция. Ну, конечно, „дюжину ножей в спину революции“ за эти преступления… Но старое безвозвратно ушло. „Что прошло, — не воротится вновь“. И бывшими людьми, которые прежде умели быть так беззаботно веселыми, овладевает

безудержная, нечеловеческая, звериная злоба на тех, кого они считают виновниками революции. Такими виновниками они считают коммунистов, а потому ненавидят их всем нутром своим. Коммунистам они хотели бы не только воткнуть „дюжину ножей“ в спину; для них они ищут всевозможные муки. В рассказе „Поэма о голодном человеке“ возбудивший и себя и слушателей до исступления рассказами о наваге, о бифштексе по-гамбургски, о бургундском и т. п. мечтает о том, как он отмстит Троцкому, который в его представлении лишил его всех этих благ:

„— Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!“

С большой боязнью выписываю я эти строки. Я боюсь, что читатели мне не поверят. Неужели веселый балагур Аверченко способен написать подобные строки? Но это действительно есть на странице 17 его сборника „Дюжина ножей в спину революции“. <…> Дальше идти, кажется, некуда. Вот до какой мерзости, до какого „юмора висельника“ дошел теперь веселый балагур Аркадий Аверченко».

Как «веселый балагур» Аверченко отреагировал на статью Ленина и шумиху вокруг нее, можно судить по одному из его интервью:

«*Корреспондент*: Я читал, что сам Ленин в „Правде“ очень похвалил вашу книгу „Дюжина ножей в спину революции“.

*Аверченко*: Очень похвалил. Я, прочитав его статью, сразу же организовал „Общество защиты писателей от ласкового обращения“» (Аркадий Аверченко (Интервью) // Эхо. 1923. 9 января).

По воспоминаниям Е. Л. Гальпериной, второй жены Радакова, после появления статьи «Талантливая книжка» к ее мужу пришел редактор одного из сатирических журналов, некто Ерёмин[83], и сообщил, что Ленин поручил ему предложить Аркадию Тимофеевичу вернуться в Россию. Еремин попросил Радакова написать Аверченко соответствующее письмо. Тот это письмо написал. В ответе Аверченко, среди прочего, заключались слова «не заманите». Эти сведения подтверждал журналист Л. Камышников и передавал слова Аверченко по поводу приглашения Ленина: «Ни во дворец тогда (при Николае II. — В. М.), ни тем более в Кремль теперь я не поеду» (Камышников Л. Аркадий Аверченко // Новое русское слово. 1925. 15 марта).

Между тем Аркадию Тимофеевичу нужно было определяться: если не возвращаться в Россию, то куда ехать дальше? Отъезд из Константинополя становился необходим. Правительство Кемаля,

находившееся в Анкаре, 21 марта 1921 года подписало в Москве советско-турецкий договор о дружбе и братстве. Большевики поддерживали армию Кемаля поставками оружия и золотом. В 1922 году кемалисты одержали ряд крупных побед в боях с войсками Антанты и начали поход на Стамбул. 15 октября 1922 года вступил в силу договор о перемирии, в соответствии с которым союзнические войска могли оставаться в Стамбуле и зоне проливов только до заключения мирного договора (он будет подписан летом 1923 года).

Русская эмиграция, использовав Константинополь как некую «перевалочную базу», начала рассеиваться по Европе. Об этом — фельетон Аверченко «Великое переселение народов» (1921):

«Когда я шел по улице, то случилось так, что этим актером будто кто-то швырнул в меня… так неожиданно налетел он на меня. <…>

— Осторожнее, грудную клетку поломаете, — испуганно воскликнул я.

— Простите, не заметил. Задумался.

— Небось, все о дороговизне здешней жизни думаете?…

— Так. Млеко-та от крав гораздо-та драгота.

— Я… вас… не понимаю.

— Я насчет крав. Млеко-то ихнее, говорю, гораздо драгота.

— Это еще что за арго?

— Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учусь.

— На какой предмет?

— В славянские земли еду…

В это время к моему собеседнику подошел другой актер. Поздоровались они:

— Живио.

— Наздар!

— Скро едъем?

— Как тлько блгарскую взу плучута».

Выслушав всю эту абракадабру, Аверченко пришел домой, посмотрел на карту Болгарии и воскликнул: «Больно-та мала страна-та», невольно тоже заговорив «по-болгарски».

Русские беженцы хлынули в «славянские» земли. Их принимали Болгария, Польша, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия). Но были и те, кто оказался в Германии, Франции, США, в прибалтийских странах.

Аверченко не хотел ехать в Европу и высказался по этому поводу в фельетоне «Трагедия русского писателя» (1921):

«Меня часто спрашивают:

— Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

— Боюсь, — робко шепчу я.

— Вот чудак… Чего ж вы боитесь?

— Я писатель. И поэтому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

— Эва! Да какая же это родная территория — Константинополь.

— Помилуйте — никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля — шофер кричит: „Пожалуйте, господин!“ Цветы тебе предлагают: „Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!“ Рядом: „Пончики замечательные!“ <…>

— Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

— Тому есть примеры, — печально улыбнулся я».

И Аверченко рассказал собеседнику такую историю. Один литератор эмигрировал в Париж. Спустя год, решив написать что-нибудь о родине, он уже не мог вспомнить, где находится Дерибасовская и что это за слово такое «замерзавец» — «человек, который быстро замерзает»? А что такое рабиновка — водка или «еврейская фамилия: Рабиновка — жена Рабиновича»? Еще через год он сел написать «о наша славненькая матучка Руссия», и вот что у него получилось: «Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербуржьен[84]! Один молодой господин ходил по одна улица, по имени сей улица: Крещиатик. Ему очень хотелось manger[85]. Он заходишь на Конюшню сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажешь: garson, une tasse de[86] Рабинович и одна застегайчик avec[87] тарелошка с ухами…»

Аркадий Аверченко боялся оторваться от русского языка и менталитета, которые беженцы смогли сохранить в Константинополе. Но страх перед приходом к власти Кемаля, поддерживаемого большевиками, оказался сильнее.

В апреле 1922 года вместе с труппой «Гнезда перелетных птиц» писатель покинул Турцию. Путь его лежал в Болгарию.

# Глава шестая. ГЛОБ-ТРОТТЕР

После оседлой константинопольской жизни перед Аверченко, как в калейдоскопе, замелькали страны и города. «Я теперь „глоб-троттер“, — шутил он. — Если не знаете, что это такое, то спросите у англичан». Заглянем в англо-русский словарь. «Globe-trotter» — это человек, который много путешествует (дословно — «рысью бегущий по земному шару»).

Пятнадцатого апреля 1922 года русского «короля смеха» встречала София.

Гастроли «Гнезда перелетных птиц» в театре оперетты «Ренессанс» прошли с большим успехом. Каждая показанная пьеса вызывала нескончаемые аплодисменты.

После концерта эмигранты рассказывали Аркадию Аверченко о том, как нелегко им приходится. Лидер Болгарии, премьер-министр Александр Стамболийский, наладил тесные контакты с правительством Советской России. В результате в Болгарии против частей врангелевской армии начались репрессии, которые вели к ее расформированию. Солдат отправляли на работы в горное производство, на строительство дорог. Ходили слухи, что офицеров будут экстрадировать из страны.

«Я никак не могу простить Болгарии того, что она сделала с русскими», — скажет впоследствии Аверченко.

Писатель и его спутники покидали Софию с тяжелым сердцем. Путь их лежал в Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущую Югославию); гастроли планировались в Белграде и Загребе.

Двадцать седьмого мая состоялся концерт в зале белградского музыкального училища «Корнелий Станкович». Успех был велик. Русские зрители аплодировали стоя, им вторили сербы.

После выступления Аркадий Тимофеевич был приглашен в «Гранд-отель» на торжественное чествование, организованное членами Литературно-художественного общества. На вечер он прибыл в сопровождении супружеской четы актеров «Гнезда…» Евгения Искольдова и Раисы Раич, с которыми сдружился.

В ближайшие годы трио Аверченко — Раич — Искольдов станет неразлучным, причем связывать этих людей будут не только деловые отношения. Судя по письмам Раисы Раич, представленным в архиве писателя, она была его последней возлюбленной. Искольдов знал о романе жены и тем не менее замечательно относился к Аркадию Тимофеевичу. Они и на фотографиях всегда вместе, причем Искольдов все время как-то

самоустраняется: то у ног Аверченко сидит, то выглядывает из-за плеча. Словно говорит: «Я понимаю, в сравнении с ним я проигрываю!» Впрочем, певица Кира Вэйн, жившая с Искольдовым в гражданском браке в 1940-х годах, намекала на его гомосексуализм.

Раиса Раич и Евгений Искольдов были самыми талантливыми актерами «Гнезда перелетных птиц». В Белграде они принимали участие в прощальном выступлении на сцене Королевского театра. Они же блистали и в загребском Народном театре 15 июня 1922 года.

Аверченко не задержался ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Хорватии. Он решил поселиться в Чехословакии. Почему? Этому есть и объективные, и субъективные причины.

Чехословацкая республика к 1922 году почти вышла из послевоенного экономического кризиса. В ее развитие вкладывали инвестиции европейцы и американцы. Работали заводы «Шкода». Страна лидировала в мире по экспорту обуви, изделий из стекла. Президент Томаш Масарик хорошо относился к русским беженцам, поэтому их диаспора в Чехословакии считалась одной из самых благоустроенных.

У Аверченко в Праге были хорошие знакомые — местные издатели Отто и Вилимек, выпускавшие его книги еще до войны, в 1912 и 1914 годах. Переводчики рассказов Аверченко на чешский язык Винценц Червинка и Владимир Веверка тоже жили в Праге. Вполне вероятно, что именно они и готовили общественное мнение к приезду русского «короля смеха».

Итак, 17 июня 1922 года писатель въезжал в Прагу. Корреспонденции о его прибытии разместили многие чешские газеты и иллюстрированные журналы. Приведем одно из остроумных интервью этого времени:

*«— Что Вам нравится в чехах*?

— Нравится, что они не сравнивают свои города с другими европейскими городами. А вот один румын мне сказал, мол, Бухарест — это маленький Париж! Однако, возразил я ему, еще ни один парижанин не утверждал, что Париж — это большой Бухарест!

— *А что в Чехословакии Вам не нравится*?

— Способ, каким здесь оберегают спящего человека от холода. Вы наваливаете на него целый ворох перин, от чего постель превращается в пирог: нежное, пышное тесто и начинка из полузадохшегося бедолаги. Утром горничная долго ищет его под этими сугробами, а потом делает ему искусственное дыхание.

— *Скоро ли, на Ваш взгляд, придет конец большевизма в России*?

— Конец большевизма наступит 7 декабря в половине шестого вечера!

— *Почем Вы знаете, что это произойдет именно тогда*?

— А почем Вы знаете, что этого не произойдет?

— *Вы меня убедили! Какую форму правления Вы хотели бы иметь в России будущего*!

— Такую, при которой меня не застрелят.

— *И это вся Ваша программа*?

— Да, я человек скромный!» (8 августа 1922 года).

Из пражских адресов Аверченко нам точно известен только один — отель «Zlata Husa» («Золотая гусыня»), который и по сей день находится в старом центре города, на Вацлавской площади. Чехи объясняют название отеля легендой: владелицей дома когда-то была богатая вдова, имевшая молодую, но крайне непривлекательную и умственно отсталую дочь. Будучи уже в брачном возрасте и имея неплохое наследство, она так и оставалась незамужней. По этой причине ей дали прозвище «Zlata Husa».

К моменту приезда Аркадия Аверченко эта гостиница была очень недешевым новостроем, что его не смутило. Писатель любил устраиваться с комфортом, и если в Петербурге он жил у Пяти углов, то почему бы в Праге не поселиться на центральной площади? А Вацлавская площадь того стоила — она никого не оставляла равнодушным. Каждое здание здесь — памятник архитектуры. Банки, кинотеатры, казино сменяют друг друга. Один из символов Праги — Национальный музей — тоже расположен здесь. Перед ним — конная статуя святого Вацлава, около которой Аркадий Тимофеевич по пражской традиции станет назначать встречи.

Итак, у Аверченко появился новый постоянный адрес, над которым некоторые его знакомые иронизировали. Лиза Культвашрова (о ней пойдет речь ниже) однажды прислала ему шуточную открытку «в никуда»:

«Золотая Гуся или Порося

№ 65 или 56

Все равно — куда попадет».

Вскоре по приезде Аверченко встретился со старыми петербургскими знакомыми — поэтом Петром Потёмкиным и основателем журнала «Аполлон» Сергеем Маковским, осевшими в Праге. Оба состояли в Союзе русских писателей и журналистов в Чехословакии и посоветовали Аркадию Тимофеевичу тоже стать членом этой организации. Она защищала интересы русских беженцев и многим из них оказывала материальную и практическую помощь: организовывала литературные,

литературно-музыкальные и авторские вечера, публичные дискуссии. Союз издавал литературно-художественный сборник «Ковчег» под редакцией Валентина Федоровича Булгакова (последнего секретаря и биографа Льва Николаевича Толстого) и Марины Ивановны Цветаевой (поэтесса жила в Праге и окрестностях с августа 1922 года по октябрь 1925 года).

Одним из основателей союза был Вячеслав Францевич Швиговский, которому Аверченко официально передал заботу по охране своих авторских прав. Швиговский стал для писателя не только деловым партнером, но и добрым другом. Необыкновенно теплые отношения сложились у Аркадия Тимофеевича и с другим членом союза — журналистом Константином Павловичем Бельговским. Аверченко был на восемнадцать лет старше своего нового друга и поэтому ласково называл его «Косточкой». В архиве писателя хранится портрет Бельговского с трогательной надписью: «Милому хорошему другу Аркадию Тимофеевичу, на память о Праге, пражских приключениях, вечерах в „Золотой Гуси“… общих радостях (слава богу, их было много) и общих горестях (одна — но большая — Л. Жукова). На память о всём хорошем от Косточки»[88].

Бельговский помогал Аверченко и его труппе в организации первого выступления в Праге, которое состоялось 3 июля 1922 года в Сметановом зале Обецкого дома. Отзыв об этом вечере тоже писал Бельговский: «Я едва ли ошибусь, если скажу, что одним из наиболее ярких событий в Пражской жизни за последний месяц был приезд в Прагу короля русского смеха Аркадия Аверченко. Несмотря на мертвый летний сезон, несмотря на то, что половина пражан разъехалась по дачам, а другая половина проводит дни у воды на обмелевшей Влтаве, Аркадий Аверченко сумел приковать к себе всеобщее внимание, завоевать всю прессу от социалистической до национальной и — о, небывалое явление в июле, — наполнить один из самых больших пражских залов — Сметанов своими почитателями и поклонниками. С приездом Аркадия Аверченко мягкий русский смех зазвучал в Праге и увлек, развеселил не только русских, но и чехов, заставил просветлеть хмурые озабоченные лица, забыть все печальное в текущей невеселой жизни, отойти в сторону от повседневщины» (Бельговский К. П. Победа русского смеха // Русь. 1922. 5 июля).

Пражане помнили, что Аркадий Аверченко сказал вскоре после приезда в интервью газете «Prager Presse»: «Я вам скажу по секрету — (этого не надо опубликовывать): я прямо-таки влюбился в Прагу, но я не признаю любви без взаимности. И пока Прага не высказалась в отношении меня — я скрою свое чувство в

глубине сердца». Пражане это помнили — и «высказались» положительно. Любовь стала взаимной.

Аверченко отблагодарил своих чешских поклонников целым рядом очень теплых рассказов. Ему здесь нравилось все: и то, что берегут старину («Прага»), и то, что местные жители деликатны, нравственны и воспитанны («Чехи»). Изображал писатель и курьезы, происходящие с бывшим «русским федеративным беднягой», прорвавшимся в чехословацкий «рай» из «Совдепии». Так, герой его рассказа «Русский беженец в Праге» (1922), Андрюша Перескокин, одичавший и оголодавший, никак не может понять, что он оказался в стране, где все есть и ничего не нужно запасать впрок! Перескокин покупает 20 фунтов бечевки («Купил на всякий случай. У нас ведь в Москве бечевок совсем нет»), антисоветские газеты («Эй, мальчик, что несешь? Газеты. Это не советские? Ну, дай тогда десять штук. Что, одинаковые? Это, брат, неважно, зато всю правду узнаю. Все десять и прочту»). Далее герой прогрессирует: «Я увидел его едущим по одной из окраинных улиц Праги на возу с сеном (купил Андрюша сено очень дешево, совсем даром); в одной руке Андрюша держал жареного гуся (ошеломляющая дешевизна — сто крон!), в другой руке бутылку водки (а у нас в Совдепии за водку — расстрел!). Сидя на возу с сеном, Андрюша лихорадочно пожирал гуся, запивал — водкой прямо из горлышка, а в промежутках между жевательным и глотательным процессом на всю улицу горланил „Боже, царя храни!“». Окончилась эта история печально: «Сняли Андрюшу с сена… Повели… И сидит он теперь в компании Наполеона Бонапарта, стеклянного человека и человека-петуха. <…> Андрюша уже приторговался к нему… Ведь в Совдепии петухов давно не видели…»

В Праге у Аркадия Аверченко сами собой наладились связи и завязалась дружески-деловая переписка с бывшими коллегами, оказавшимися кто где.

Критик Петр Пильский (один из «оруженосцев» Александра Куприна) работал в газете «Последние известия» в Ревеле (Таллине). Он просил Аверченко присылать фельетоны и однажды честно предупредил, что материальные дела туговаты и ни на какой крупный аванс тот может не рассчитывать. Аркадий Тимофеевич обиделся на подозрение в корысти и ответил: «Письмо твое я получил, но что я мог ответить, если в главном месте своего письма ты тихо и плавно сошел с ума. Будь я еще около тебя ну… пощупал бы лоб, компресс приложил, что ли. А что можно сделать на расстоянии? Ты, конечно, с захватывающим интересом ждешь: что же это за место письма такое? А место это вот какое (ах, ты ли это писал?): „Разумеется, о том, чтобы

выслать тебе большой аванс, не может быть и речи“. Скажи: друг ты мне или нет? Как же у тебя повернулась рука написать такое? Да где же это видано, чтобы человека с моим роскошным положением и телосложением приглашали, как полубелую кухарку? <…> Эх, брат, горько мне!» (Пильский П. М. Затуманившийся мир. Рига, 1929).

Некоторые недоразумения финансового плана существовали у Аверченко и с крупной рижской газетой «Сегодня», которую редактировал его киевский знакомый М. С. Мильруд. В ответ на невыплату гонорара Аверченко мог прислать в редакцию ¾ фельетона.

Самую активную переписку Аркадий Тимофеевич вел с сатириконцем Аркадием Буховым, который жил в Прибалтике. В 1918 году Бухов выехал на гастроли (Вильнюс, Минск, Белосток, Гродно) и оказался на территории, контролируемой белополяками. Приехав в Ковно (Каунас), он поселился в этом городе, ставшем столицей независимой Литвы. Здесь Бухов издавал и редактировал русскую газету «Эхо», с которой Аверченко сотрудничал еще с 1920 года. Сейчас, когда он обосновался в Праге, их переписка с Буховым стала регулярной.

Корреспонденции Бухова Аверченко хранил, поэтому они представлены в его архиве. Что же касается Бухова, то, возвращаясь в СССР, он не прихватил с собой письма друга-сатириконца, компрометирующие его. Они уцелели в архиве литовского поэта, общественного и политического деятеля Людаса Гиры (Рукописный отдел Библиотеки Академии наук Литвы. Ф. 96–285)[89].

Переписка двух Аркадиев — Бухова и Аверченко — блестящий образец юмористического эпистолярного жанра. Особенно остроумными оба становились в дружеской перепалке, которая часто возникала из-за задержки Буховым гонораров. Когда Аверченко обижался, Бухов оправдывался: «Чего ты ко мне придрался? Когда-то ты на меня накинулся, что я, как старая дева, обидчив. А ты? Ты ведешь прежнюю жизнь: 2 часа попишешь, а 16 жуируешь, я же с утра до ночи работаю безо всяких… Не выслал вовремя денег — что ты из этого создал, говнюк, такую трагедию? Сволочь ты, а не Аверченко»[90].

Заметим, что на Бухова обижался не один Аверченко. Тэффи, к примеру, писала ему:

«Многоуважаемый Аркадий Сергеевич.

Я и все мои литературные друзья глубоко возмущены Вашим неприличным отношением к сотрудникам, в частности, ко мне. Вы сами просили меня писать у Вас (сами понимаете — радости мало блистать в Ковенском листке!) и не только не высылаете

гонорара, но даже не отвечаете на письма. Самое скромное количество вежливости требовало бы от Вас хоть извиниться, что не можете заплатить гонорара. Будьте любезны ответить на это письмо и объяснить Ваше поведение.

Н. Тэффи»[91].

Бухов перессорился со всеми бывшими коллегами и вынужден был постоянно извиняться. Иногда ему приходилось прибегать к проверенному средству — атаке вместо защиты. Вот как это выглядело:

«Ковно, 9/VII <1923> Ученик четвертого класса Аркадий Бухов

Классное сочинение на тему

„Почему Аркадий Тимофеевич Аверченко — стерва“. План:

1). Внешние черты:

a). Отсутствие постоянного адреса и скакание с места на место;

b). Посылка перепечаток вместо оригинального материала;

c). Посылка в ежедневную газету пьесок.

2). Внутренние черты:

a). Вонючая обидчивость;

b). Забывание других тем, кроме антибольшевистских;

c). Нарастание стародавнего (так! — В. М.) характера;

d). Приливание мочи в голову;

e). Непочтительность к друзьям;

i). Невысылка обещанных книг их авторам.

3). Заключение.

Посылка залежалого материала скопом, вместо нормальной регулярной работы — как одно из типичных качеств, плохо рекомендующих г. Аверченко как человека и автора.

См. 5 (пять) Отлично! Арк. Бухов (подпись)»[92].

Так за дружеской пикировкой решались и важные материальные вопросы. Однако сотрудничество с газетами не могло дать того дохода, который приносили концертные турне. Аверченко это понял достаточно быстро: после успешного выступления в Праге его «закрутило». Вплоть до августа 1924 года он будет постоянно гастролировать.

Относительно новой для него профессии актера писатель шутил:

«Скажут мне:

— Плохо вы играете, молодой человек!

— А мне что? Я писатель, а не актер.

А если кто-нибудь из читателей заметит:

— Отвратительный вы написали рассказ, Аркадий Тимофеевич!

— Это не моя специальность… я, в сущности, актер.

Есть люди, которые даже в погребальной колеснице устраиваются удобно и уютно».

Подробности гастрольных поездок — получение виз, контракты, финансовые расчеты — вряд ли увлекут читателя. Остановимся лишь на интересных встречах и происшествиях.

Первый большой тур русского «короля смеха» проходил в июле — сентябре 1922 года по провинциальным городам Чехословакии: Брно, Пардубицы, Пильзен, Ческе-Будеевице, Братислава, Словенские Кошицы, Ужгород, Мукачево (последние два входили в Карпатскую Русь, ставшую после Первой мировой войны частью Чехословакии) под руководством некоего импресарио Ж. Вот, к примеру, как реагировал Аверченко на удачный концерт в столице Моравии, городе Брно: «Вечер состоялся. Он был хороший. Лучше, чем в Праге. Виновника торжества встречали так, что он минут пять стоял и кланялся. Еще бы пять минут и голова отвалилась бы, как спелая груша» (цит. по: Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. М., 1999. С. 104).

А вот в небольшом провинциальном городке Пардубицы было настолько нечего делать, что Аверченко писал Бельговскому: «Какое болото эти Пардубицы, где мы находимся сейчас. Скоро Ж. устроит мой вечер в оазисе пустыни Калахари для десятка воющих шакалов и семьи берберийских львов. У Ж. жуткие планы насчет ряда таинственных городов» (Там же. С. 105).

Оказавшись в Моравской Остраве, центре угольного региона на северо-востоке Чехословакии, Аркадий Тимофеевич невольно вспомнил свою молодость, прошедшую на Брянском руднике. Острава, которую в советские годы называли «чехословацким Донбассом», буквально стоит на угле, а шахты расположены в центре города. Аншлагов не было. Аверченко был недоволен: «Здесь столько угля, что у всех жителей в носах, ушах и легких — есть по доброму килограмму этого полезного топлива. Думаю открыть разработку» (Там же. С. 106).

Забавный инцидент случился в столице Словакии Братиславе. Одна из местных немецких газет — «Pressburger Zeitung» — назвала Аверченко женщиной. Писатель, как всегда, не растерялся. Он отправил опровержение в газету «Slovensky Dennik» следующего содержания:

«Уважаемый господин редактор!

В № 59 „Pressburger Zeitung“ появились обо мне заметки, в которые вкралась небольшая ошибка. Пишут там обо мне, что я — женщина, но у меня есть важные причины утверждать обратное. Опасаясь приставания со стороны уличных ухажеров и вообще

всевозможных недоразумений, прошу точным образом довести до всеобщего сведения мой пол: я — мужчина и в течение всех 38 лет своей жизни не наблюдал никаких отклонений от этой застарелой привычки» (Там же. С. 107).

Подводя итоги этого первого турне, Бельговский писал:

«Аркадий Аверченко делает в настоящее время большое, огромное дело для России. И не только потому, что он ведет жестокую борьбу с поработителями и насильниками России — большевиками, не только потому, что он своим ласковым смехом вливает бодрость и энергию в души уставших и отчаявшихся, не потому, что он клеймит жестоко и беспощадно всё злое, низкое, а потому, что приоткрывает завесу над скрытым в настоящее время лицом истинной России — честной, доброй, всепрощающей; бичуя Россию поддельную, фальшивую, он резче и яснее выделяет лучшие черты истинной России».

Отдохнув месяц в Праге, писатель с группой актеров вновь отправляется в путь. На сей раз в Берлин по приглашению председателя Союза русских журналистов и литераторов Иосифа Владимировича Гессена.

От Праги до Берлина шесть часов езды на поезде. Глядя в окно, Аверченко рассказывал Раич и Искольдову о своем прошлом посещении этого города. Было это летом 1911 года во время турне сатириконцев по Западной Европе. Тогда Аркадию Тимофеевичу Берлин чрезвычайно не понравился. Он от души забавлялся немецким педантизмом, который любого русского может вывести из себя. «Все немецкие двери украшены надписями: „Выход“, будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах, — это целая литература: „просят нажать кнопку“, „просят бросать сюда ненужную бумагу“, под стаканом надпись „стакан“, под графином „графин“, „благоволите повернуть ручку“, в „эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий“», — писал Аверченко в «Экспедиции сатириконцев в Западную Европу…».

Разве мог он в 1911 году предполагать, при каких обстоятельствах снова увидит Берлин? На этот раз город его потряс: ультрасовременные кинотеатры, крупнейший в Европе киноконцерн «UFA», режиссеры-новаторы Писктор и Брехт, сотни газет…

Русская колония Берлина была многочисленной. Эмигранты облюбовали район Шарлоттенбург, бывший когда-то летней резиденцией Фридриха Вильгельма II и Фридриха Вильгельма III.

Главную магистраль — Курфюрстендам — русские в шутку называли «Неппским проспектом» (по аналогии с Невским проспектом, с одной стороны, и немецким словом «пеер» — обман, надувательство — с другой). На этой улице были сосредоточены кинотеатры, театры, великолепные магазины, танцкафе, кабаре. Американский писатель Томас Вольф назвал Курфюрстендам 1920-х годов «самым большим кафе Европы». За столиком в этом «большом кафе» можно было увидеть весь цвет русской литературы, группировавшийся вокруг русских издательств («Север», «Ульштейн», «Арбат» и др.) и русских газет. В эмигрантских кругах, стоящих на антибольшевистских позициях, читали ежедневную газету «Руль», в которой Аверченко регулярно печатался.

Но выходила в Берлине и другая русская газета, просоветская — «Накануне», которая проводила «сменовеховские» идеи. Аверченко был немало огорчен тем, что среди ее сотрудников оказался его хороший петербургский знакомый Илья Василевский (Не-Буква). Склонялся в сторону возвращения в РСФСР и бывший поэт «Сатирикона» Николай Агнивцев, подвизавшийся в берлинском кабаре «Русский театр Ванька-Встанька». Поэт показался Аркадию Тимофеевичу совершенно надломленным: он сильно пил.

Прибыв в Берлин 22 октября 1922 года, Аркадий Аверченко в тот же вечер выступал перед членами Союза русских журналистов и литераторов в ресторане «Лейтгауз». Затем последовали аншлаговые концерты 25 и 27 октября. Публика встречала его шумными аплодисментами. «Я действительно в Берлине, — сообщал писатель Бельговскому. — Город небольшой, но смешной — играю я не в Берлине, а в Шарлоттенбурге — назван так по-немецки, а по-русски — „город шарлатанов“. Вчера меня чествовали — скоро совершенно привыкну к роскошной жизни. Кормят всюду замечательно, а денег ни у кого нет. По Праге очень скучаю, потому что она милая, и потому, что здесь никто не понимает моего чешского языка, — зря я учился, что ли!» (Бельговский К. П. Письма Арк. Аверченко // Иллюстрированная Россия. 1926. № 10).

На следующий день после приезда и первого выступления Аверченко встречался с писателем Глебом Васильевичем Алексеевым, которому подарил свой портрет с дарственной надписью:

«От несчастного, сбитого с толку, затерянного в Берлинской пучине, не знающего ихнего языка — чужестранца Аркадия Аверченко — Глебу Алексееву на память об этом тяжелом событии…

Аркадий Аверченко.

23/X — 1922 Берлин»[93].

Алексеев, бесконечно тосковавший по России, признался Аверченко, что не может «бросить камень» в Алексея Толстого и Илью Не-Букву, переметнувшихся к «сменовеховцам». Как и они, он созрел вернуться.

Аркадий Тимофеевич не нашелся, что ответить. У него самого при мысли о возвращении сжималось сердце, но ни на какие компромиссы с большевиками он не был способен. Про себя писатель решил, что русский Берлин определенно «болен».

Новый, 1923 год Аркадий Аверченко встречал в Берлине, принимая участие в «Новогодней встрече у юмористов» в залах «Скала». Здесь писатель после долгой разлуки встретился с Тэффи: они конферировали на вечере по очереди. Журналист Яков Окснер (Жак Нуар) впоследствии вспоминал, что к Аверченко и Тэффи постоянно подходили и спрашивали: когда же они возродят «Сатирикон»?

— Долго я об этом думал, да много денег нужно, — отвечал Аверченко. — Собрать прежних сотрудников… Выпустить не хуже прежнего, а макулатуру не стоит — не хочу срамить память покойника.

С аналогичным деловым предложением к Аверченко обращался и Аркадий Бухов в одном из писем: «Между прочим, Аркадий, имей в виду следующее. Если бы ты, Тэффи и я дали честное слово друг другу аккуратно работать, мы бы могли выпустить „Сатирикон“ — или в Берлине, или в Риге. Непременное условие, чтобы его редактировал кто-нибудь один из нас и лучше всего ты. Журнал не должен носить характера эмигрантского, нарочито антисоветского — и он будет расходиться. <…> Подумай, а деньги на издание я бы достал»[94].

Судя по всему, Аверченко так ни до чего и не додумался, а в предложении Бухова его могла насторожить «примиренческая» концепция — ничего антисоветского. Заметим, что на родине писателя не стеснялись выпускать «макулатуру», которой он не хотел. Подлинным близнецом его «Сатирикона» было издание 1918 года «Красный дьявол» (вышло И номеров). А вот харьковский «Новый бич» (1922) открыто пародировал «Сатирикон». Публиковавшиеся там рассказы, полностью выдержанные в сатириконском духе, выходили под именами: Аверий Аркадченко, Аркадий Брюхов, Недрефи… В Тифлисе в 1925 году выходил журнал «Красный сатирикон» — приложение к газете «Рабочая правда».

Новогоднее выступление Аверченко в Берлине стало первым

этапом большого концертного тура по Литве, Латвии, Эстонии и Польше, в которое он отправился в сопровождении Раисы Раич и Евгения Искольдова.

Первой остановкой турне стал Ковно (Каунас), где жил Аркадий Бухов с семьей. Аверченко не видел своего коллегу и друга четыре года! За это время у того подросла дочка Наташа. Бухов воспитывал ее оригинально — в традициях черного юмора. Всех гостей девочка называла «идиотами», а любую сказку начинала так: «Шел старый заяц, встретил волка, да как даст ему по морде». В одном из писем Бухов сообщал Аркадию Тимофеевичу:

«Мы написали стихи для Наташки (поется хором — она тоненьким голоском, я… хриплым басом):

Мы на двор ребенка принесем,
Ему череп топором снесем.
Мы ребеночка положим у ворот
Распороть ему ножом живот.
Если к нам придет хороший гость,
Мы ему в живот загоним гвоздь.
Мы с Наташей будем жить вдвоем,
Маме руки-ноги оторвем.

Припев одинаковый для всех куплетов:

Мы из Ольги суп варили,
Супом Натыньку кормили.

<…> Если бы ты был отцом, тоже мог бы петь такие песни, а ты не поешь. Можешь сделать, как Катерина в „Страшной мести“[95]: взять полено, завернуть его в пеленки и качать вместо сына. По умертвенному (так! — В. М.) развитию ребенок будет в папашу. <…>

Леля (жена Бухова. — В. М.) тебе кланяется (она глупа и несамолюбива), а Наталья нет. После моего рассказа о том, как ты сел на вазу с вареньем, ударил ногой в лицо маленькую девочку и испражнился в чернильницу, — она о тебе такого мнения, что тут не до поклонов. Тогда я взял счет с электрической станции, заявил, что это твое письмо, и прочел, как ты просишь выкинуть ее на улицу, облить кипятком и ругаешь маму грязным волком: негодованию не было конца»[96].

Вот в такой веселой семейке и гостили Аверченко, Раич и Искольдов. Через четыре дня после их приезда Бухов поместил в

редактируемом им «Эхе» юмористическое интервью со своим другом:

«Мы посетили писателя с целью побеседовать с ним, и первым его вопросом, когда он поднялся из-за письменного стола, было:

— Интервью?

— *Как вы догадались?*

— По вашему виноватому виду. Это сразу заметно! У венгерских журналистов, например, когда они являлись ко мне, было такое лицо, будто они пришли делать операцию слепой кишки.

— *Разрешите приступить?*

— Всякое сопротивление бесполезно. Приступайте. <…>

— *Где вы жили в последнее время?*

— В Чехословакии. Я в восторге от этой страны! Ласковый, приветливый народ, чудесное отношение к русским. К сожалению, мы чехов не знали раньше, мало знаем и теперь. А они нас очень любят.

— *Что вы делали в Чехии?*

— Устроил 30 вечеров юмора и писал в чешских газетах. Теперь чешское издательство Вилимек выпускает полное собрание моих сочинений.

— *На каких языках вышли ваши книги?*

— На немецком, венгерском, итальянском, польском, болгарском, сербском, хорватском, чешском, финском… Вы не устали?

— *Немножко. Куда вы едете дальше?*

— Мне все равно. Раньше я был русским гражданином и для меня поездка из Петербурга в Третье Парголово была подвигом. А теперь я гражданин мира — и страны мелькают передо мной, как придорожные столбы. Земной шар сделался мал. За последние 3 года он высох и сжался, как старый лимон.

— *Где учились вы актерскому искусству*?

— У большевиков. Не будь их — мне и в голову бы не пришло так энергично вступить на подмостки.

— *Ваше отношение к большевикам*?

— Это дело вкуса. Некоторым и индийская чума нравится. В особенности, если она не у него, а у его соседа…

— *Как вам понравилась Литва*?

— О, я здесь всего 4 дня. Мне только пришлось ознакомиться с отношением ко мне литовского правительства и администрации. Оно мне очень пришлось по душе, и я с удовольствием пожил бы здесь некоторое время.

— *Ваше отношение к русской литературе*?

— Я в литературе больше всего ценю сжатость, краткость. Будь то роман, повесть или интервью — все должно быть кратко.

Мы поняли намек и откланялись» (Аркадий Аверченко (Интервью) // Эхо. 1923. 9 января).

Отзывы о вечере Аверченко и К° в Ковно также были помещены в «Эхе» за подписью А. Панина (псевдоним Бухова). Вот один из них (он интересен тем, что автор рассыпается в комплиментах Раисе Раич): «Зритель, читатель и слушатель печального сегодняшнего дня — устал. Ему хочется улыбки, искреннего смеха, возможности проветрить затхлость самочувствия — потому он так любовно ловит каждую крупицу смеха со сцены. В этом отношении оба вечера Аверченко — вполне удовлетворили публику. К самому Аверченко публика отнеслась очень любовно, вполне понимая, что ей представляется не только театральное зрелище, но и возможность посмотреть и послушать писателя, который считается первым и лучшим юмористом в Европе. Для Европы недосягаем американский юморист О'Генри, замолчал талантливый англичанин Джером К. Джером, австрийская разруха куда-то зашибла Рода-Рода[97] и только Аверченко, переведенный на все языки, рассыпает блестки юмора. В его пьесах, какие мы видели вчера, большую услугу автору оказывает г-жа Раич. Второе свое выступление она провела еще более блестяще, чем первое. Так провести свою роль в милой и изящной безделушке как „Ключ“ может только первоклассная актриса. Автор дал благодарную канву, но узоры на ней вышила г-жа Раич. В „Москвичке в Константинополе“ она другая, в „Жоржике“ снова другая — на протяжении одного вечера артистка перевоплощается и трудно даже определить, какую из ролей она отделала изящнее. Приятно отметить, что г-жа Раич — молодая артистка, и когда перед ней откроется настоящая сценическая дорога, мы наверное услышим о ее блестящей артистической карьере. Г. Искольдов лучше всего был в „Ключе“. Он артист французского комедийного жанра и проводит свои роли с легкостью опытного комедийного актера» (Панин А. [А. С. Бухов]. Театр и искусство. Вечер Арк. Аверченко // Эхо. 1923. 12 января).

В этой рецензии как-то очень чувствуется, что Аркадий Тимофеевич просил друга уделить побольше внимания Раич. «Между прочим, — писал потом Бухов Аверченко, — после твоего отъезда здесь возник вопрос — не ухаживаешь ли ты за Раисой Павловной. Я слишком чистый человек, чтобы думать всякую гадость. Но если не ухаживаешь — дурак. Она очень славная!»

Старый друг оказался проницателен!

Столица Латвии Рига, куда гастролеры отправились из Ковно,

была в начале 1920-х годов самым большим городом Прибалтики с многочисленным русским населением. Аверченко пригласили выступать на сцене Рижского театра русской драмы, который с 1921 года переживал эпоху расцвета. Работой труппы (а в нее влились актеры-эмигранты из России) руководил режиссер М. Я. Муратов (бывший актер Малого театра). У них с Аверченко была договоренность о постановке пьесы «Игра со смертью», впервые представленной в 1920 году в Севастополе. Экземпляр комедии с многочисленными пометками Муратова и карандашными набросками декораций сохранился в архиве Аркадия Аверченко.

Придя в театр, писатель узнал, что одну из главных ролей в его пьесе будет исполнять Елена Маршева — бывшая звезда московского кабаре «Летучая мышь». Тут же появилась она сама и немедленно бросилась ему на шею. Им было о чем поговорить и что вспомнить, ведь когда-то у них был роман…

Двадцать третьего января 1923 года в Рижском театре русской драмы состоялся бенефис Маршевой, в котором она, в том числе, исполнила роль в «Игре со смертью». Об этом вечере напоминает одна из фотографий в архиве Аверченко, на которой он запечатлен с труппой Рижского театра. Елена Маршева — пышная блондинка — сидит рядом с писателем и не сводит с него влюбленных глаз! (Очень скоро, бросив мужа и детей, актриса вернется в СССР.)

После прощального вечера в Риге, который был устроен 27 января, артисты направились в Ревель (Таллин) — столицу Эстонии. Здесь Аркадия Тимофеевича ждал Петр Пильский. Сразу по приезде, устроившись в гостинице «Золотой лев», Аверченко пришел к нему в редакцию «Последних известий», где бывшие петербургские приятели с радостью обнялись.

Газета дала Пильскому задание написать рецензию на выступления Аверченко. «Перед началом первого спектакля я зашел к нему в уборную, — вспоминал критик. — Он был почти готов к выходу и стоял перед зеркалом. На нем был чудесно сшитый фрак. Когда я ему об этом сказал, он с улыбкой, поправив свое неизменное пенсне, ответил:

— Да, все воспоминания прошлого хороши. Теперь уж такого не сшить.

И вот тут, в эти короткие минуты, оставшиеся до поднятия занавеса, он пожаловался мне на свою актерскую тяготу. Ему были неприятны эти однообразные повторения одних и тех же пьес, эти переезды, упаковки и распаковки чемоданов, номера гостиниц, афиши, хождения за визами. Особенно надоедало

играть свои собственные вещи» (Пильский П. Затуманившийся мир. С. 135).

В перерыве между выступлениями в Ревеле Аверченко успел съездить в провинциальную Нарву, где с ним произошел неприятный инцидент. Вот что вспоминал об этом журналист С. Рацевич:

«Приезд в Нарву популярного писателя-юмориста Аркадия Тимофеевича Аверченко вызвал, вполне естественно, огромный интерес. <…> Афиши сообщали, что Аркадий Аверченко дает свой единственный концерт в кинотеатре „Скэтинг“ на Вестервальской улице, выступит с чтением своих новых произведений и под его руководством группа актеров сыграет несколько пьесок, сценок и инсценировок писателя. Билеты брались нарасхват. Переполненный кинозал устроил Аверченко бурный прием. Аверченко вышел на сцену в изящном смокинге, красиво облегавшем его высокую широкоплечую фигуру. Выглядел он молодо, да и неудивительно. При сорока лет от роду, он был в полном расцвете как творческих, так и физических сил. Сквозь стекла пенсне в золотой оправе проглядывали живые, выразительные глаза. В хорошем, бодром настроении, с чуть саркастической улыбкой на лице он обратился к публике со вступительным словом. Никто даже не подозревал, что произошли события, глубоко взволновавшие писателя. Нарвская городская управа решила подзаработать на Аверченко, обложив его увеселительным налогом в размере 40 % с валового сбора. Не помогли никакие доводы, что концерт преследует исключительно культурные цели и устраивается без танцев. Отцы города отстояли свою точку зрения: в концерте участвуют не свои деятели культуры и искусства, а приехавшие из-за границы, поэтому они облагаются столь высоким налогом.

Разговор с публикой завершился такими словами:

— Какие милые, заботливые люди в Нарве, в особенности заседающие в ратуше. Их внимательное к себе отношение я прочувствовал при определении налога на мои выступления. Какая забота! Чтобы легче было возвращаться домой или чтобы никто не ограбил, да и мало ли что, вдруг дорогой потеряешь деньги, они отобрали какие-то 40 процентов, какие глупости, кабы 100 процентов, — другое дело!

Через пару недель в газете „Последние известия“ за подписью Аркадия Аверченко появился фельетон под названием „Отцы города Нарвы“: „Все знают, что я известен своей скромностью. Но вместе с тем не могу удержаться, чтобы не похвастать: есть такой город, который я содержу на свой счет. Я приезжаю в город, привожу свою труппу, выпускаю афиши, снимаю театр, в день

своего вечера играю пьесы, читаю рассказы, получаю за это деньги и потом: все деньги аккуратно вношу нарвским отцам города. На мои деньги эти отцы города благоустраивают мостовые, проводят электричество, исправляют водопровод: и обо всем я должен позаботиться, все оплатить. Хлопотная штука“» (Рацевич С. Глазами журналиста и актера. Гости на нарвской сцене[98]).

Прощальное чествование Аверченко газета «Последние известия» устроила в концертном зале «Эстония», рассчитанном на 1200 (!) мест.

Петр Пильский вспоминал о том, как провожал Аверченко:

«Последний раз мы пообедали в „Золотом льве“, там же, где он остановился. Все было уже уложено. Чемоданы стояли внизу, в передней. Поезд отходил в шесть вечера.

Мы поехали на вокзал и там простились.

Смеясь, он, между прочим, сказал мне:

— Лучший некролог о тебе напишу я.

И шутливо прибавил:

— Вот увидишь.

— Подожди меня хоронить, — ответил я. — Мы еще увидимся» (Пильский П. Затуманившийся мир).

Аркадий Тимофеевич настолько очаровал всех в Ревеле, что после его отъезда многие просили Пильского посылать ему поклоны и приветы в письмах, а однажды две дамы приказали передать «поцелуй в лоб», о чем Пильский и написал Аверченко. Тот ответил: «Ты пишешь: „Н. и Н. целуют тебя в лоб“ (?!)… Милые, старомодные чудачки! Не могли найти другого места. О, как они выгодно выделяются на нашем разнузданном фоне!»

После Эстонии Аверченко направился в Польшу, где выступления были запланированы в Вильно (современном Вильнюсе), Варшаве, Лодзи, Ровно, Пинске. В Варшаве Аркадий Тимофеевич повидал писателя Н. Н. Брешко-Брешковского — легендарного питерского «Брешку»! И об этой встрече есть воспоминания последнего:

«… Наутро после выступления я зашел к нему в отель.

— С успехом, Аркадий Тимофеевич!..

Он меланхолически улыбнулся углом губ и здоровым глазом:

— Да, успех… Не столько мой, сколько моего околоточного… Стосковались мы по нем и… в свое время не ценили… Как не ценили Мариинского театра… Помните „Пахиту“ с Карсавиной… Помните, как виолончель выпиливала всю душу? И этого не ценили… Ничего не ценили… За что они ее так? Бедную нашу Россию? За что?

Ему было невыносимо тяжело…» (Брешко-Брешковский Н.Н.

А.Т.Аверченко. К десятилетию со дня смерти русского юмориста// Иллюстрированная Россия. 1935. № 13).

В приведенных воспоминаниях Пильского и Брешко-Брешковского есть общее место: Аверченко устал! Устал от поездок и от организационных мероприятий. Действительно, он писал об этом турне Швиговскому: «Поездка наша утомительная, но прибыльная… Бешеный темп вечеров… Попробовал я написать очерк о Литве — и не послал. Потому что после напечатания — не пустят меня больше в Литву. Язычишко у меня сволочной». В другом письме сообщал: «От всей этой массы путешествий голова моя сделалась похожей на чемодан, руки — на зонтик, ноги — как трости, а вместо глаз — два железнодорожных билета. Всегда ваш друг и слуга. <…> Пану Швиговскому. Срочно. Сердечно»[99].

Гастроли, начавшиеся в январе, закончились в конце марта.

Невольно возникает вопрос: зачем Аверченко так себя истязал? Почему ему не сиделось в «Золотой гусыне» и не писалось спокойно? Возможны несколько ответов.

Первый: а ему не на кого было рассчитывать! Нужно было создать себе материальную основу для дальнейшей жизни. Аркадию Тимофеевичу уже за сорок — семьи нет, впереди одинокая старость. В памяти постоянно всплывает предостережение харьковских окулистов — он в любой момент может ослепнуть. Кто тогда будет за ним ухаживать, если он не сможет оплатить эти услуги?

Второй: может быть, усиленной работой он заглушал сердечную тоску.

Третий вариант самый прозаичный: возможно, наш герой просто любил деньги.

В пользу последнего ответа говорит следующее: несмотря на усталость от переездов, 9 апреля 1923 года писатель заключил в Цоппоте (Сопоте) еще один договор с берлинской концертной дирекцией Мери Бран и Евгением Искольдовым. Новое турне планировалось на зимний сезон с сентября 1923 года по 1 февраля 1924 года. Согласно заключенному договору, Аверченко получал 40 процентов доходов, причем расходы по проезду он брал на себя.

Заключив договор и присмотрев в Сопоте квартиру для отдыха, Аркадий Тимофеевич ненадолго съездил в Берлин. 11 апреля он конферировал в спектакле в пользу Союза русских журналистов и литераторов в Германии; затем провел переговоры о постановке «Игры со смертью» в одном из берлинских театров.

Аверченко во всем сопутствовал успех — он был желанным гостем в Берлине. Литератор Евгений Шкляр летом 1923 года

писал: «В Берлине… наездами бывают Александр Амфитеатров и Александр Куприн. В большом почете Аркадий Аверченко» (Шкляр Е. Литературный Берлин (Заметки и впечатления) // Эхо. 1923. 26 июля).

В Берлине Аверченко узнал, что весь русский Шарлоттенбург обсуждает «всеядность» Аркадия Бухова, перепечатавшего в «Эхе» фельетон О. Л. Д'Ора из «Правды». Аверченко просили повлиять на товарища и передать ему, что общественное мнение возмущено.

Вернувшись в Сопот, Аркадий Тимофеевич тут же написал Бухову и упрекнул его в том, что тот популяризирует «смрадного человека» О. Л. Д'Ора. Бухов невозмутимо отвечал: «Что ты меня ругал за О. Л. Д'Ора — это ничего. Фельетон был окончательно говенный и перепечатывать его не стоило, но я люблю позлить публику. <…> Твои слова… для меня ценны. <…>…хочу громко какать на берлинское общественное мнение!»[100]

Отдыхая на берегу Балтийского моря, Аверченко старался ограничить себя в общении и посещении публичных мест. Он писал Бельговскому: «Ни разу в кинематографе не был. Это тебе не Прага. Веду себя, как Франциск Ассизский. Скоро доберусь до Праги, и тогда удивлю своей расцветшей красотой и изяществом поз».

Впрочем, и здесь писатель был не один. В газетах появился анонс о его вечере юмора при участии Раисы Раич, Евгения Искольдова, популярного актера-куплетиста Павла Троицкого и других артистов. В архиве Аверченко есть фотография, на которой эта компания запечатлена на знаменитом деревянном сопотском молу. Все веселы и приподняли правую ногу для канкана (Аверченко единственный еле оторвал ступню от помоста…). Павел Троицкий во время этих гастролей подарил Аркадию Тимофеевичу свой портрет с дарственной надписью: «Аркадий Тимофеевич!

Вас мало читать, чтобы знать. Вас нужно видеть и слышать в жизни, чтобы не забыть никогда.

Ваш искренний друг Павел Троицкий.

Zoppot, 26.VI.23».

Кроме этой фотографии в архиве писателя сохранилось письмо Сопотской библиотеки Раисе Раич от 4 ноября 1924 года с просьбой сдать книгу Марка Твена.

Сопоту суждено было стать определенной вехой в жизни Аверченко: здесь он написал свой первый юмористический роман «Шутка Мецената». Впрочем, жанровое определение принадлежит ему самому; то, что вышло из-под пера сатирика, скорее повесть, и очень небольшая по объему. Несмотря на ремарку

«юмористический», от нее скорее хочется плакать. Плакать оттого, что жизнь несовершенна, что Аркадию Аверченко плохо и тоскливо, что он живет тенями прошлого и не видит просвета в окружающей повседневности. Совершенно неудивительно, что Алексей Радаков, прочитав «Шутку Мецената», горько заплакал — так живо вспомнились ему их петербургская бесшабашная компания и молодость, канувшие в Лету.

Первоначальный список действующих лиц романа находим в записной книжечке этого времени:

«Меценатъ среди трех (зачеркнуто) двухъ — сидитъ, жалуется на скуку.

Первый —

Мотылекъ — секретарь журнала „Горная вершина“ — толстый молодой человекъ. Плутъ.

Циникъ.

Кузя — человекъ безъ опред. занятий. Прекрасн. шахматистъ. Лентяй.

Соц. — дем.

Бубенцова (зачеркнуто).

Новаковичъ — нахалъ, развязный парень. Вдохновенно вретъ.

Меценать —

Кальвія Криспинилла.

Жена мецената — крупн.

брюнетка, роскошная женщина.

Маруся — Лучикъ.

Светозарная».

В процессе работы некоторые детали видоизменялись. Мотылек стал секретарем журнала «Вершина», вместо полноты Аверченко наделил его «лицом, покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью». Кузя остался совершенно таким, как планировал автор (за исключением принадлежности к социал-демократической партии). Никакой Бубенцовой в романе нет. Новакович — действительно развязный и нахальный — получил прозвище Телохранитель, жена Мецената стала именоваться Принцессой. «Маруся-Лучик. Светозарная» фигурирует в романе под именем Нины Иконниковой с прозвищем «Яблонька в цвету».

О Меценате в наброске Аверченко не сказано ничего. А с ним все было ясно — это автобиографический персонаж (хотя и с изрядной долей вымысла).

Теперь о прототипах. Под именем Кальвии Криспиниллы — служанки Мецената, — как нам кажется, выведена горничная

Аверченко Надя, которую знал весь литературный Петербург. Эта женщина в романе поражает своей народной рациональностью и мудростью; всех пассий Мецената она «сортирует… на „стоющих“ и „не стоющих“ и ведет с ними по телефону длинные беседы принципиального свойства».

Клевреты Мецената, безусловно, образы собирательные. Однако рискнем предположить, что в Новаковиче много от Петра Потёмкина, который был атлетически сложен и отличался некоторым простодушием.

В шуте Кузе угадывается поэт Евгений Венский (Пяткин), которого коллеги презрительно называли «кабацкой затычкой». Н. А. Карпов писал о нем так: «Венский сотрудничал в „Сатириконе“, но был там на положении „мальчика“, также, как и в „Биржевке“. В этом он, человек талантливый, был виноват сам. Редакторы и заведующие отделами газеты, которых он донимал выпрашиванием трехрублевых авансов на выпивку, не имели к нему ни малейшего уважения и считали его „шутом гороховым“. В разговоре с редакторами, даже самого делового характера, он пересыпал свою речь шутками, не всегда подходящими. Казалось, серьезно он никогда не говорил и всерьез ни к чему не относился» (Карпов Н. А. В литературном болоте).

Как и у Кузи, у Венского была масса знакомых из среды мелких журналистов, собирающихся в ресторане «У Давыдки».

Самые интересные наши догадки связаны с Мотыльком. Таким прозвищем клевреты наградили молодого поэта Пашу Круглянского, который, приходя к Меценату, неизменно произносил: «А я к вам на огонек зашел». Обратим внимание на то, как в романе описывается его знакомство с Меценатом: «Впервые обнаружил его Меценат у витрины большого книжного магазина. Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки и снова распуская их, и вполголоса ругался:

— Ослы! Подлецы! Скоты несуразные. Черти.

— Кто это „ослы“? — ввязался Меценат в его телеграфический монолог.

— Издатели, — доверчиво пояснил Мотылек. — Что они выпускают? Что печатают? Разве это стихи?»

На кого же похож Мотылек? Фразу об «огоньке» неизменно повторял только один сатириконец — одинокий и бесприютный Александр Грин! Вот свидетельство Лидии Лесной: «Грин… просто заходил на „огонек“. <…>

— Я увидел свет в окне. Зашел узнать, по какой причине» (Лесная Л. Грин в «Новом Сатириконе»).

«Телеграфическая» ругань Мотылька — совершенно в стиле Грина петербургского периода. Наконец, морщинистое лицо —

подлинно «особая примета» этого писателя!

Повторимся: это лишь догадки. Важно другое: в клевретах Мецената не видны ни Радаков, ни Ре-Ми. Аверченко, тоскуя по Петербургу, почему-то окружил Мецената (то есть себя) людьми далеко не самыми близкими. Впрочем, по свидетельству Ефима Зозули, дружбы у Аверченко с Ре-Ми и Радаковым не было уже в 1914 году: «Была скрытая вражда, были интриги — и личного характера и делового, и если исключить не очень частые редакционные совещания, то редко, когда один „сатириконец“ встречался с другим» (Зозуля Е. Д. Сатириконцы).

Роман «Шутка…» о том, как Меценат и его свита от скуки решили сделать знаменитостью молодого поэта Валентина Шелковникова, создавшего «шедевр»:

В степи — избушка.
Кругом — трава.
В избе — старушка
Скрипит едва!

Кузя берется протолкнуть в газеты несколько заметок о новом «гении». Петербургские читатели последовательно узнают о том, что «молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников» выступал со стихами в доме Мецената; что «на нашем скудном небосклоне» появилась «новая звезда»; что скоро выходит первая книга стихов талантливого поэта; что Академия наук поставила вопрос о награждении Пушкинской премией поэта В. Шелковникова. Дальше — больше: процесс выходит из-под контроля Мецената. Шелковников, по прозвищу Куколка, действительно становится знаменитостью. Его фотографии продаются у Дациаро[101], портной Анри шьет ему фрак, журнал «Вершины» предлагает ему место редактора, первую книгу стихов берется печатать самое престижное издательство «Альбатрос». Наконец, в Куколку влюбляются жена Мецената и прекрасная Яблонька, которая выходит за него замуж.

В книге присутствуют все приметы литературной жизни дореволюционного Петербурга: владычество бульварной прессы над общественным мнением, тяга к скандалу в искусстве, церемонии коронования в поэты, лукулловы пиры в кабаках. В этом жестоком мире никто не печатает стихи талантливого, но скромного поэта Мотылька, зато бездарность, разрекламированная по всем правилам, прокладывает себе путь с высоко поднятой головой…

Рукопись романа была предложена Бухову, который выплатил Аверченко гонорар в 3400 чешских крон. В «Эхе» 10 июля был

помещен анонс «Первый роман Аркадия Аверченко»: редакция заявила о приобретении «русского текста» большого юмористического романа «Карьера Куколки» у «одной из крупных американских газет» и о намерении начать его публикацию с середины июля. В действительности роман «Шутка Мецената» печатался в «Эхе» из номера в номер с 16 августа по 12 сентября 1923 года. Думается, «утка» насчет «американской газеты» была запущена Буховым специально, чтобы подогреть интерес к рукописи. (Отдельной книгой роман выйдет уже после смерти Аверченко в 1925 году в пражском издательстве «Пламя». В СССР «Шутка Мецената» впервые будет опубликована в 1990 году.)

Аркадий Бухов в письмах предупреждал своего друга, что роман может провалиться: «Теперь относительно романа. С ним мы с тобой немного сели. Я его прочел залпом и… должен сказать, что он написан и тепло и весело». Однако, как считал Бухов, в книге не хватает интриги, остросюжетности, читатель может заскучать. Видимо, так и получилось. Роман не «пошел». Аверченко почему-то обвинил в провале Бухова. Они поссорились.

Бухов — Аверченко:

«Милый Аркадий!

Будь любезен, извести меня, когда ты перестанешь злиться (с обозначением месяца и дня) и когда можно будет тебе написать письмо с просьбой о высылке материала. <…> Сейчас, под серьезную руку позволю тебе сообщить одну вещь. Я печатал твой роман; искренно говорю тебе, что я его прочел с большим наслаждением и та маленькая группа интеллигенции, которая есть в городе, уже оценила его, но массовый читатель, который хочет только сенсационного романа, а не литературного — просто отпал от газеты. Недопоняли. <…> Я пишу это тебе не в пику, а просто, чтобы показать, что я тебя по-прежнему люблю и считаю тебя лучшим другом. А ты и в дружбе своей брыкаешься как жеребец и норовишь копытом заехать в ухо, свинья ты, а не жеребец. <…> С почтением, Бухов»[102].

Аверченко если и был обижен на Бухова, то недолго. В середине августа, когда у писателя выдались свободные три недели, он решил снова съездить в Ковно.

Аверченко — Бухову:

«Дружище!

Хочешь меня видеть? Я имею свободную неделю — приеду в Ковно на 1–2 вечера. А потом — не знаю, когда и свидимся: еду по Европе, а м. б. и в Америку. Так что — нажми свои клапаны и получай меня в свои объятия, если еще не угасла на Литве твоя козацкая мощь и сила. Кроме вечеров — о многом потребно

потолковать. Да, а хоть бы и без толков, неужели тебе не хочется, правнук собаки, меня увидеть?! Целую тебя в левый волос — третий от уха. Твой друг Арк.

<Приписка> Дорогой Аркадий Сергеевич,

Аркадий поручил мне подробно сообщить Вам цель нашей поездки, что делаю с большим удовольствием, так как уж больно хочется попасть в Ковно и так же мило провести время, как в прошлый приезд. Мы подписали контракт на 15 вечеров в Бессарабию, куда мы должны прибыть к 15 сентября, а до этого мы 3 недели свободны, вот Аркадий и решил поехать в Ковно на недельку. Мы завтра выезжаем в Берлин, где пробудем до 20 августа, это последний срок нашей берлинской визы и, если к 20 августа Вам удастся нам выслать визы в Берлин — Аркадию, мне и Раисе Павловне (между прочим, у нас чешские паспорта), — но, главное, если Вам дадут на месте разрешение Аркадию выступить, а то мы потратим на дорогу, а потом придется вернуться обратно. Я думаю, что Аркадию они не откажут, я Вам высылаю прежнее разрешение, полученное мною в Ковне на 2 вечера, Вы им это покажите и, потом, Ваше слово тоже что-нибудь значит. Ведь все-таки это не балет, а Аверченко и мы хорошо себя вели в Литве, так что у них данных никаких нет нам отказать. Главное, не забудьте, что мы можем сидеть в Берлине до 20 авг. Если же от Вас будет телеграмма, что разрешение и визы посланы, то я на несколько дней смогу удлинить право пребывания в Берлине. Прошу вас немедленно телеграфировать по адресу:

Berlin. Bozenerstrasse 4 bei Mayer

Tschetschik — Avertschenko

<…> Словом, ждем и надеемся, что скоро увидимся. Я и Раиса Павловна шлем вам и семье привет.

Ваш Е. Искольдов.

P. S. Вот, наконец-то, у Вас будет возможность, когда я приеду, выругать меня как следует за то, <что> я Вам столько надоедаю. Е. Искольдов»[103].

Искольдов упоминает о том, что у них троих чешские паспорта. Действительно, в архиве Аверченко хранится паспорт, оформленный дирекцией полиции Праги 14 мая 1923 года. В этом документе указана совершенно немыслимая дата рождения писателя — 6 марта 1884 года. Как это могло произойти? У нас нет никаких других версий, кроме той, что Аркадий Тимофеевич умышленно «омолодил» себя на четыре (!) года.

Неизвестно, ездил ли Аверченко в Ковно, как собирался. Турне же по Бессарабии, о котором шла речь в приписке Искольдова, должно было начаться в середине сентября 1923

года. Но не обошлось без организационных накладок, причины которых сложно понять, если не обратиться к реалиям жизни Бессарабии того времени.

Бессарабия (бывшая территория Российской империи) была с 1918 года занята Румынией. Русское население страны противилось румынизации и с воодушевлением встречало любого русского артиста. Власти считали все выступления заезжих русских провокацией и поводом к митингу. Именно поэтому Аверченко долго не мог получить въездную визу. Его приезд в Бухарест несколько раз откладывался. Пошли даже слухи, что он уже в Бухаресте, но заболел гриппом. Писатель же возражал, что заболел не гриппом, а «визой», и не в Бухаресте, а в Праге.

Въездная виза в Румынию все же была получена, но козни властей не заставили себя долго ждать. В бухарестской газете «Universul» появилась кляуза под названием «Что происходит в Бессарабии?», автор которой недоумевал, почему правительство разрешило въезд и гастроли «врага» Румынии, «еврейского писателя из России». Ссылаясь на сатириконский фельетон Аверченко периода Первой мировой войны, автор статьи обвинял Аркадия Тимофеевича в том, что он «после Пуришкевича установил в прежней России мысль, что Румыния не нация, но профессия — цыган-скрипачей», а также «изобрел особое слово, которое он применял к румынам, — „Тудасюдеску“». На основании вышеизложенного предлагалось немедленно выдворить «врага» из страны и запретить любые выступления.

*Аверченко — Бельговскому:*

«Начал я свои гастроли очень хорошо, как вдруг появляется в „Универсуле“ форменный донос, что я „враг“ Румынии. Вызывают меня в Кишинев, я вместо того еду в Бухарест. Спектакли, конечно, прекращаются. Тщетно я доказывал, что свой фельетон о Румынии я писал восемь лет тому назад, когда она еще не вступила в войну, что дело восьмилетней давности пора бы и забыть. Доказывал, что нет на свете такой страны, которой бы я не ругал в свое время, — румыны очень обиделись и запретили мне спектакли. Тогда я поднял на ноги целый ряд симпатичных людей (маршал Ангелеску, министр иностранных дел Дука, министр Бессарабии Инкулец, сенатор Лошко), — и они меня отстояли. Не только отменили высылку, но министр внутренних дел Франесович (очень симпатичный парень) даже дал разрешение на спектакли, — и вот я завтра опять еду в глухие дебри Бессарабии» (цит. по: Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. С. 131).

Благополучным исходом инцидента писатель был обязан и энергичному вмешательству чешских дипломатов в Румынии. В

письме Бельговскому Аверченко рассказывал: «Кстати, среди местных чехов имею массу друзей, а чешский посланник Веверка — одна прелесть. <…> Они уже смотрят на меня, как на своего, тем более что я по-чешски стал болтать невероятно нахально. При всех случаях стоят за меня горой. Не встречал я другого подобного народа».

Добившись возобновления гастролей, Аркадий Тимофеевич вернулся в Бессарабию и выступал в Кишиневе, Бендерах, Аккермане, Измаиле, Килии, Галаце. Заметим, что география этих выступлений нас поразила. Мы не раз бывали в современных Измаиле и Килии — крошечных городках! Что же они представляли собой в 1923 году?!

В Румынии Аверченко тесно сотрудничал с журналистом Ноем Бенони, который в 1925 году, незадолго до смерти писателя, издал в Бухаресте один номер литературно-художественно-юмористического журнала «Неделя» — плод их совместной деятельности. В Прагу проникли слухи о том, что Аркадий Тимофеевич вообще решил остаться в Румынии. Василий Немирович-Данченко сообщал Бухову в Ковно: «Аверченко напугал было всех. Совсем сошелся с Бенони и тот похвалялся печатно постоянным и исключительным сотрудничеством. Но румыны никак Аркадия Тимофеевича переварить не могли, вспоминая его прошлое во время войны отношение к ним, и, говорят, что он благополучно возвращается в Злату Прагу» (26 ноября 1923 года)[104].

Из Румынии Аверченко, по его словам, «перепорхнул» в Сербию. Первый месяц нового, 1924 года он с Раич и Искольдовым провел в Белграде: выступали в зале «Корней Станкович», принимали участие в праздновании старого Нового года.

О пребывании писателя в Белграде существуют воспоминания журналиста Николая Рыбинского, обнаруженные историком А. В. Молоховым в московской Библиотеке Русского Зарубежья:

«…как-то в дружеской компании после сербских „ражничей“ (шашлыков) и лютой ракии, за ароматным турецким кофе, среди прочей болтовни заговорили о литературе, и Аверченко сказал:

— Давно меня мучит одна тема о символе русской революции, да негде печататься. Если бы издавалась большая газета, вроде сытинского „Русского слова“, я бы написал большой пышный подвал, а темой был бы подлинный случай. Прибыла к нам с визитом французская эскадра. После официального парада состоялось объединение русских и французских матросов. Был обед с традиционной русской чаркой водки; французы поставили вино. Потом французы стали показывать гимнастические

упражнения на мачтах. Какой-то подвыпивший матрос решил „догнать и перегнать“ французов, быстро поднялся на салинг, стал на голову и, к общему ужасу, сорвался и полетел камнем. К счастью, непонятным образом, зацепился и с ободранной спиной повис на рее. Бледный, с перекошенным от боли и испуга лицом, он закричал французам: „А так умеете, сволочи?..“» (цит. по: Молохов А. В. Проблема реконструкции архивных фондов писателей-эмигрантов (на примере фонда А. Т. Аверченко)/ Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук. М., 1999. С. 324).

Соскучившись по Праге, Аверченко писал Бельговскому: «Како стэ. Молим лепо не забуравьте мнэ, као я вас не забуравил (словечко-то, а? это значит по-сербски „забыть”!). Еще три-четыре дня и я буду путовать до Злата Прага. Ну что, у вас там все здорово изменилось?“»

Гастролями в Белграде закончился 1923 год — год «глобтроттерства». Раиса Раич и Евгений Искольдов, бывшие рядом с Аверченко последние четыре года, отправились в Берлин. Они подписали контракт на выступления в русском кабаре «Карусель», открытом в 1922 году на Курфюрстендам. Аркадий Тимофеевич вернулся в Прагу один.

# Глава седьмая. «РУССКИЙ ГАШЕК»

Трудно сказать, кто и когда впервые назвал Аркадия Аверченко «русским Гашеком». Однако жители Праги с таким сравнением согласились.

Мы не знаем, встречались ли когда-нибудь два «короля смеха» — русский и чешский, ведь к моменту появления Аверченко в Праге Гашек уже жил в Липнице. Вряд ли Аркадий Тимофеевич и желал этого знакомства: в начале 1920-х годов у Ярослава Гашека была «комиссарская» репутация. Причиной этому стало его пятилетнее скитание по России, за время которого писатель успел послужить в Чехословацком легионе, вступить в РКП(б), поработать в политотделе 5-й Армии Восточного фронта. Сам Гашек несомненно был знаком с творчеством Аркадия Аверченко. В одном из фельетонов о Советской России — «Идиллия винного погребка» (1920) — он высмеивал слухи, ходившие в Праге: якобы с Горького заживо содрали кожу и бросили его в яму с негашеной известью. Тэффи поджарили на конопляном масле, а потом замариновали в уксусе. Борисом Колосовым зарядили Царь-пушку в Кремле и выстрелили в сторону Ходынки. Вдову Льва Толстого зажарили, а через Мережковского пропустили электрический ток в два миллиона вольт, от чего он сошел с ума. Аверченко же раздели донага при 45-градусном морозе и поливали водой до тех пор, пока он не превратился в огромный ледяной сталактит.

Вскоре после приезда Аверченко в Чехословакию Ярослав Гашек скончался (3 января 1923 года). Аркадий Аверченко остался в Чехословакии единственным писателем-юмористом европейского уровня. «Чехи носили его на руках, — вспоминал Н. Н. Брешко-Брешковский. — Много переводили, щедро платили. По всей эмиграции шли пьесы, приносили авторские. Жилось хорошо!» (Брешко-Брешковский Н.Н. А.Т. Аверченко. К десятилетию со дня смерти русского юмориста).

Мысль Брешко-Брешковского как нельзя лучше иллюстрирует следующая запись в блокноте Аверченко:

«Литературный гонорар с 17 июня 1922 по 1 сент. 1923

*Сербія*

"Политика" 8 фельет. х 500 кр. = 4000

Подходцевъ[1] ..... 1500

Освитъ-книга ..... 500 6000

*Загребъ*

2 книги ..... 2500

Фельетоны (600 далее 1 слово нрзб.) ..... 300 2800

Прага (Чехія)

Мелк. фельет. вначале ..... 1000

Брно (Подходц.) ..... 3000

Мор. Остр. Зап. прост.[2] ..... 5000

"—" фельет. (по 1000 кр. мне!) ..... 5000

Право (1 слово нрзб.) (2 кн. аванс) ..... 2000

Слоба глова[3] ..... 1000

Моножекъ и Сватекъ (450+450+500) ..... 2000

3 книги (1 слово нрзб.) (Червинка) х 500 ... 1500

Отто[4] "Розск. для выздор." ..... 1500

(1 слово нрзб.) "Прага" 4 х 200 ..... 800

"12 портр." у Сегеньяна ..... 4000

Разн. мелк. гонорары ..... 1000 27 800

Отъ Виногр. театра аванс ..... 3000

"—" Моравск. Остр. ..... 1000

Остальн. гонораръ ..... 2000 6000

---

Переносъ

Переносъ 42 600

Отъ Виллимека[5] ..... 8000

Отъ Гашлера ..... 600

Загрничн. полученія

Германія "Зап. Прост." ..... 400

Ковно — романъ ..... 3400

Варшава — Келтничъ 1000 фр. ..... 2000 5800

---

*Прагеръ Прессе*

3 перв. пьес х 3000 ..... 9000

долги по 1 сентября 1400 ..... 15 300 24 300

Итого получено

съ 17 июня 22 по 1 Сент 23

за 15 месяцев ..... 80 300».

О благосостоянии писателя в это время красноречиво свидетельствуют следующие факты: он имел текущий счет в Промышленном банке Праги и едва ли не единственный (!) отказался от субсидии, выплачиваемой чешским правительством

русским писателям-эмигрантам.

За годы пражской эмиграции у Аверченко вышло более десяти книг. Его издавали не только в Праге, но и в Париже, Берлине, Варшаве, Загребе, Софии, Харбине, Нью-Йорке.

Наиболее значительные сборники этого времени — «Двенадцать портретов знаменитых людей в России» (Париж — Берлин — Прага: Internationale Commerciale Revue, 1923) и «Пантеон советов молодым людям на все случаи жизни» (Берлин: Арбат, 1924).

«Двенадцать портретов…» вполне можно считать продолжением «Дюжины ножей в спину революции». Создана эта книга в том своеобразном жанре, который сложился в среде русской эмиграции: это пересказ и комментирование слухов из Советской России либо публикаций в тамошних газетах. Этому жанру отдали дань и Аркадий Бухов, и Александр Куприн, и Алексей Толстой, и Тэффи. У них даже сложился некий композиционный шаблон: экспозицией служит фраза: «Как рассказали нам недавно вырвавшиеся из Советской России…», далее следует изложение чудовищных и порой абсолютно невероятных слухов. Заключающее резюме всегда одно и то же: в России все ужасно, большевизм скоро падет, нужно еще чуть-чуть подождать…

Книга Аверченко включает «портреты»: «Мадам Ленина», «Мадам Троцкая», «Феликс Дзержинский», «Петерс», «Максим Горький», «Федор Шаляпин», три портрета Керенского и пр. Как видим, мишени насмешек сатирика — всё те же. Надежда Константиновна Крупская, к примеру, вызвала его ненависть тем, что, по сообщению советских газет, однажды вывела «босоногую команду» детей в авиационный парк. После прогулки она спросила малышей, не хотят ли они конфет. В ответ «тихий стон пронесся по рядам». Тогда Крупская велела детям опуститься на колени и просить конфет у Бога. Они стали просить, но чуда не случилось. «А теперь станьте на колени и скажите: „Третий интернационал, дай нам конфет!“» — велела Крупская. Дети выполнили. И случилось чудо: неподалеку поднялся аэроплан, полетел над детишками и осыпал их леденцами!

Досталось от Аверченко и Максиму Горькому:

«Без малого четыре года буревестник, „ломая крылья, теряя перья“ от усердия — без малого четыре года славословил буревестник советскую власть.

Державинские хвалебные оды казались щенками перед тем огромным распухшим слоном, коего создал Максим Горький, написав ликующую, восторженную оду Ленину…

В той компании привычных каторжников и перманентных

убийц, которые правят Россией, Максим Горький был своим, хорошо принятым человечком. <…>

Правда, он был только зрителем этого нескончаемого театра грабежей и убийств, но сидел он всегда в первом ряду по почетному билету и при всяком курбете лицедеев — он первый восторженно хлопал в ладошки и оглашал спертый „чрезвычайный“ воздух мягким пролетарским баском:

— Браво, браво! Оч-чень мило. Я всей душой с вами, товарищи!» («Максим Горький»).

Аркадий Аверченко подверг критике работу Горького в Комиссии по улучшению быта деятелей искусств. Одним из мероприятий этой комиссии, как широко известно, стало горьковское воззвание «Честные люди» (июль 1921 года) о бедственном положении русской интеллигенции: «Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Мусоргского, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни, и я смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедля помогут ему хлебом и медикаментами». Текст воззвания был разослан по телеграфу А. Франсу, Г. Уэллсу, Э. Синклеру, Г. Гауптману, Т. Масарику и пр.

В изображении Аверченко эта акция выглядит так:

«Растрогались сумрачные финны:

— Извольте, — говорят. — Мы вам дадим кой-чего для ученых, но так как все ваше начальство — воры и могут украсть для себя, то мы все собранное привезем сами.

Привезли в Дом ученых и писателей и стали делить:

— Александр Пушкин! Вам полусапожки и две банки сгущенного молока! Иван Тургенев! Получайте исподнее, фунтик сахару и четвертку чаю. Выпейте за здоровье богатой и могучей Финляндии. Менделеев! Свиного сала фунт, банка какао и пиджачная тройка — совсем почти еще крепенькая!

Получили Пушкины, Лермонтовы, Менделеевы и Пироговы по сверточку, как дворницкие дети на богатой елке, и, сияющие от счастья, снова расползлись по своим клеткам».

Но более всего сатирика возмутило даже не само письмо Горького, а ответная «благодарность от имени писателей и ученых», в которой несчастные люди свидетельствовали, что эмигрантское общество неправильно оценивает деятельность Горького, а они «стоят ближе к делу» и утверждают, что Алексей Максимович — душа бескорыстная. «Бедные вы, бедные… Свидетельствуете! А свободно ли вы свидетельствуете, знаменитые ученые кролики, запертые в вонючую клетку на предмет вивисекции?» — восклицает Аверченко.

Этот фельетон все же нуждается в комментарии, ведь многие были благодарны Горькому совершенно искренне. Больному Александру Грину, например, он помог в 1920 году лечь в больницу, а затем обеспечил его жильем, питанием и работой. Нина Николаевна Грин вспоминала слова мужа: «Я был так потрясен переходом от умирания к благополучию, к своему углу, сытости и возможности снова быть самим собой, что часто, лежа в постели, не стыдясь, плакал слезами благодарности» (Грин Н. Н. Воспоминания об Александре Грине. Феодосия; М., 2005).

Абсолютно блестящим скетчем, выдержанным в традициях черного юмора, представляется нам «Феликс Дзержинский». Поводом к его написанию послужили сообщения в газетах о том, что знаменитый советский чекист очень любит детей. Разумеется, эта тема вызвала поток желчного юмора Аверченко:

«В детском приюте — ликование:

— Дядя приехал! Дядя Феликс приехал!!

— Тише, детки, не висните так на мне… Ну, как поживают мои сиротки?

— Как, сиротки? Что вы, товарищ Дзержинский! У них у всех есть отцы и матери.

— Хе-хе. Были-с. Были да сплыли. Этого беленького как фамилия?

— Зайцев.

— Ага, помню. Это совсем свеженький сиротка. С позавчерашнего дня. <…> А ты, девочка, чего плачешь?

— Папу жалко.

— Э-э… Это уже и не хорошо: плакать. Чего ж тебе папу жалко?

— Его в Че-ка взяли.

— Экие нехорошие дяди. За что же его взяли?

— Будто он план сделал. А это и не он вовсе. К нам приходил такой офицерик и он с папочкой…

— Постой. Постой, пузырь. Какой офицерик? Ты садись ко мне на колени и расскажи толком. Как фамилия-то офицерика?

— Какая у тебя красивая цепочка. А часики есть?

— Есть.

— Дай послушать, как тикают.

— Ну, на. Ты слушай часики, а я тебя буду слушать.

— Постой, дядя Феликс! Ты знаешь, у тебя точно такие часы, как у папы. Даже вензель такой же… и буквочки. Послушай! Да это папины часы.

— Пребойкая девчонка — сразу узнала! Твой папочка мне подарил.

— Значит, он тебя любит?

— Еще как! Руки целовал».

Однако не все эмигрантское творчество Аверченко столь безрадостно. Так, в сборнике «Пантеон советов…» мы вновь встречаемся со старым, милым весельчаком Простодушным. Такое ощущение, что не было никакой революции и что книгу эту он написал у себя на Троицкой, сидя в любимом кресле в кабинете… Здесь нет ни черной злости, ни отчаяния, ни антибольшевистских филиппик. В предисловии «От автора» говорится:

«Молодые люди! Я вижу — некому о вас позаботиться по-настоящему… Вас с детства учат истории, географии, геометрии и тригонометрии, но скажите по совести: разве все эти науки помогают вам в обычной вашей светской и сердечной жизни? Нужна ли вам тригонометрия, когда вы объясняетесь в любви дорогой вашему сердцу женщине? И зачем вам география, если вас пригласили на свадебный обед или на похороны вашего друга, или вы приступили к изложению смешного, для забавы общества, анекдота?..

Светская жизнь — очень хитрая, запутанная штука, и не всякому удается проникнуть в ее прихотливые изгибы и завитушки.

Я проник! Я проник во все: и в психологию хорошенькой женщины, и в психологию жениха, и даже в психологию тетки жениха с материнской стороны. Я могу заботливо вас сопровождать по скользкому житейскому пути, деликатно поддерживая под руку, чтобы вы не шлепнулись носом о мать-сыру землю.

Я все могу».

И проникший во все таинства светской жизни, всеведущий автор щедро раздает советы о том, как держать себя в обществе и на званом обеде; на свадьбе и на похоронах и даже как выигрывать войны (это для начинающих полководцев). Все эти рекомендации, разумеется, полны бесподобного аверченковского юмора и доброй иронии.

1924 год стал для писателя временем больших ожиданий: у него появился шанс поехать в США. Судя по имеющимся материалам, речь шла не о разовом визите, а о переезде на постоянное место жительства. Еще в октябре 1923 года, когда Аверченко был на гастролях в Румынии, нью-йоркская газета «Новое русское слово» сообщала:

«Все настойчивее говорят о приезде известного русского писателя-юмориста Аркадия Тимофеевича Аверченко.

За время его странствования по Европе американские газеты в большом изобилии питались его музой — говоря проще:

перепечатывали в переводе и в переделке его всегда остроумные фельетоны. Разумеется, за это автор ничего не получал, кроме славы, из которой < … > шубы не сошьешь.

Некоторые газеты теперь согласились уплатить Аверченко за пользование его материалом. Это хотя и необычно, но очень мило. Аверченко привозит с собой много интересных рукописей. Ждут его в октябре» (Некто. Новости дня // Новое русское слово. 1923. 4 октября).

Можно предположить, что эту заметку написал сотрудник газеты Осип Дымов — бывший сатириконец, эмигрировавший из России еще в 1913 году. И Дымов, и оказавшаяся в Нью-Йорке певица Иза Кремер (петербургская приятельница Аверченко), и Ре-Ми, и Никита Балиев старались помочь ему с приездом. Однако Аркадий Тимофеевич почему-то колебался. В одном из интервью он говорил, что никак не может решиться переехать в Америку: «Жалко покинуть эту дряхлую, выживающую из ума старуху-Европу».

Между тем об Америке писатель мечтал всю жизнь. Его детская любовь к Майн Риду и индейцам в юности сменилась огромным увлечением творчеством Марка Твена. Когда в Петербурге появились первые рассказы Аркадия Аверченко, многие критики называли его «русским Твеном», а аверченковскую «Автобиографию» 1910 года давно принято считать стилизацией под тексты Твена. Это была своеобразная дань памяти и уважения заокеанскому юмористу, который в 1910 году скончался. Когда это случилось, «Сатирикон» тут же принялся издавать полное собрание сочинений Твена в 11 томах. Вступительную статью — «Певец здравого смысла (Несколько слов о Марке Твене)» — написал сам Аверченко.

В 1924 году, уже став «русским Гашеком», Аверченко мог подтвердить титул «русского Твена». Однако по причине, которая нам неизвестна, поездка в США не состоялась.

Второго марта 1924 года писатель дал остроумное интервью Бельговскому, из которого мы узнаем, какие у него были планы: «В Прагу возвратился и остановился в отеле „Злата Гуса“ Аркадий Аверченко, совершивший большое турне по Румынии и Югославии. Я застал писателя за энергичным писанием многочисленных писем.

— *Уже за работой?*

— Нет, это я принимаю еженедельную ванну: омываю свою грешную совесть перед корреспондентами.

— *Но вы только что вернулись из большого турне…*

— Турне — это верно. Но почему же из большого? Всего два государства. Прошлый раз я объехал одним взлетом пять стран.

Вот это турне! А сейчас — только Румыния и Сербия!..

— *Говорят, в Румынии у вас были недоразумения?*

— Ну, уж и недоразумения. Просто хотели меня выслать из страны, как врага Румынии.

— *А вы… действительно!..*

— Даю вам слово, что нет! У меня столько своих дел, что еще быть чьим-нибудь врагом — это хлопотливо. Правда, восемь лет тому назад я написал фельетон о румыне Туда-Сюдеско, но кто же мог предполагать, что у Румынии такая хорошая память? Да и это бы, пожалуй, не открылось, если бы не постарался русско-сербско-молдаванский шпион д-р Душтяк — сотрудник „Универсула“: когда он напечатал свой донос — вся страна закричала, будто ее ножом ткнули.

— *И вас… сейчас же выслали?*

— Нет, по этому поводу было только постановление Совета министров. Но несколько умных дальновидных румын приняли в моем деле горячее участие и сумели доказать, что меня обижать не следует. И я остался и дал еще ряд спектаклей по Бессарабии и Строму Регату. Кстати, прошу отметить в вашем журнале то исключительно горячее, благородное и бескорыстное участие, которое приняло в этом деле чехословацкое посольство во главе с посланником г. Веверка и первым секретарем д-ром Гавелка.

— *Какие города вы объехали?*

— Кишинев, Бендеры, Аккерман, Измаил, Рени, Белград, Бельцы, Килию, Галац и Бухарест. Впрочем, в Бухаресте 2 раза назначались мои вечера и 2 раза они запрещались перед самым началом. Однако уехал я по своей воле. И расстался с румынами по-хорошему. Один румын даже целовал меня. Впрочем, это частная подробность. О ней, пожалуй, не стоит и упоминать. Из Румынии я перепорхнул в Сербию. Опять-таки благодаря исключительной любезности сербского посланника в Бухаресте.

— *Как вам понравился Белград?*

— За эти 20 месяцев, что я не был в Белграде — города не узнать. Он великолепно отстроился, почистился… Еще два-три года — и в Европе будет одной культурной европейской столицей больше. Растет молодежь!..

— *Что вы писали в последнее время?*

— Роман „Игрушка Мецената“ и несколько рассказов. Роман вышел на немецком языке и выходит на чешском, сербском и венгерском.

— *А… на русском?*

— На русском! Для этого нужно подождать полного выздоровления Берлина. Сейчас получилось курьезное положение: иностранцы знакомятся с русскими писателями

раньше русских. Я, например, написал комедию „Игра со смертью“ и она ставится на каких угодно языках, кроме русского. В России я не могу ее поставить.

— *Почему?*

— Потому, что советское правительство конфисковало в свою пользу все авторские писателей-эмигрантов. В таком же положении находятся Чириков, Сургучёв, Арцыбашев и многие другие. Не обязаны же мы обогащать Третий Интернационал. Да вот вам пример: выпустил я книгу по-русски: „Записки Простодушного“. А Госиздат сейчас же выпустил ее в России. А выпущу я книгу на венгерском или чешском языке — и спокоен. Хотя некоторых и это не останавливает: мои рассказы в „Прагер Прессе“ на немецком языке переводятся некоторыми варшавскими газетами на польский, а бессарабскими русскими газетами с польского обратно — на русский… Когда это было видно, чтобы русского писателя переводили на русский язык?!

— *Ваши ближайшие планы на будущее?*

— Я получил предложение от одной американской газеты сотрудничать; конечно, это опять перевод — но что же делать? Вероятно, придется ехать в Америку, но если возможно будет „говорить с места“, то засяду с весны в Италии и буду в промежутках писать новый роман. Должен сознаться, что писание романа — превеселое занятие: нет никаких рамок, в которых поневоле заковывается небольшой рассказ. Ощущение воли и могущества — будто плаваешь в небольшой лодочке по необозримому океану, где миллионы путей, — поворачиваешь свою ладью куда хочешь, никто тебе не указ. А как подумаешь, что впереди еще возвращение в Россию, то… хорошо жить!» (Арк. Б. Аверченко о самом себе (От нашего пражского корреспондента) // Эхо. Aidas. Иллюстрированное приложение к газете «Эхо». 1924. 2 марта).

Тон этого интервью самый веселый, но на самом деле Аверченко страшно устал. В это время его стали посещать грусть и безотчетная тоска, которые он называл «хандрой». Не радовали и письма от друзей. Аркадий Бухов грустно сообщал: «Скучно мне до черта. Очень меня беспокоит такая вещь. За эти 6–7 лет нас совершенно забывают в России. Если суждено вернуться — не вернемся ли мы таинственными незнакомцами…» Сидя как-то в одиночестве в пражском ресторане «Золотой якорь», Аверченко написал своему другу, актеру Г. Серову: «В честь рождения нашей дружбы это письмо пишу в „Золотом якоре“. 12 часов дня. <…> В графинчике 40°. Малосольный огурец и шпроты раскинулись на своем фаянсовом ложе в ленивой истоме. Доносятся стуки бильярдных шаров. Вдали уныло гудит шарманка… (Впрочем, о

шарманке я прибавил для стиля. Так пишут все приличные писатели.) Вот и вся моя жизнь во Христе»[105].

Журналист Борис Оречкин вспоминал:

«Как рыцарь служил он (Аверченко. — В. М.) до конца своей Прекрасной даме. И тем больнее было прочитать в одном из последних его писем: „Скучно на этом свете, господа, а в Праге — в особенности…“

Аверченко стало скучно. Сколько трагедии в этой фразе… Потерять улыбку, потерять веру, — значит, потерять все» (Оречкин Б. Рыцарь улыбки. Статья памяти Аверченко // Эхо. Иллюстрированное приложение. [Берлин], 1925. 15 марта).

Кстати, о «потерянной улыбке» — ни на одной из фотографий, уцелевших в его архиве, писатель не улыбается.

Аркадий Тимофеевич начал посещать церковь Святого Николая (Микулаша) на Староместской площади — единственный православный храм в Праге. Он был духовным центром русской эмиграции. Все прихожане, и Аверченко не был исключением, не чаяли души в настоятеле — епископе Сергии (в миру — Аркадии Дмитриевиче Королёве). Небольшого роста, полный, очень веселый, этот человек с неухоженной бородой не очень-то походил на священника. Но душа его была светлой — для всех у него находилось доброе, утешающее слово. После службы в Никольском храме все собирались на подворье, где разливали чай, подавали к нему варенье. За мирской беседой отец Сергий рассказывал о своих заботах. Все силы он отдавал сбору средств на постройку православной церкви Успения Богородицы на Ольшанском кладбище.

О чем молился Аркадий Тимофеевич? Наверняка о том же, о чем и все эмигранты. О благополучии близких, о скорейшем возвращении на родину. Была у него еще одна причина для обращения к Богу: начиная с марта 1924 года Аверченко начал жаловаться на ухудшение здоровья. Мы не знаем, что именно его беспокоило. В одном из писем Бухову он сообщал, что начал принимать йод. Возможно, уже в это время у него начались приступы удушья, которые он посчитал симптомами заболевания щитовидной железы. Из писем Раисы Раич становится ясно, что в своем недомогании Аверченко обвинял ее:

«Мой милый, родной Аркадинтка!

Если бы ты знал, как меня огорчают твои невеселые письма. В последнем твоем письме я прочла между строк брошенный мне укор относительно Цоппота… Очень мне тяжело чувствовать себя виновной в твоей болезни. Разве я этого хотела? Тогда я была уверена, что все, что происходило, тебя нисколько не затрагивало…

У меня сейчас только одно желание — чтобы ты был здоров… я своей материнской заботой о тебе постараюсь все искупить. <… > Я тебя очень, очень сильно люблю большой, настоящей, всепрощающей любовью. <…> Я тебе приготовила подарочек — хорошие французские духи…»[106]

Мы не знаем, что писал Аркадий Тимофеевич Раисе Раич, и судить об их отношениях можем только по ее ответам (в архиве Аверченко сохранилось 16 ее писем). Их содержание достаточно традиционно: бешеные признания в любви («Люблю тебя, как сумасшедшая, только ты и больше никто»), отведение от себя подозрений в неверности («Если тебе что-нибудь обо мне будут писать, не верь!»), уличение его в неверности («Между прочим вы, Аркадий Тимофеевич, у меня в подозрении насчет Фани… Чувствую, что что-то было…»), упреки в том, что он редко пишет («…пока Женя мне писал из Берлина, ты приписывал на его клочке, ты даже не написал мне отдельного письма!»), сведения о собственном здоровье и внешнем виде («Гастрит болит как будто меньше»; «Я себе сшила хорошенькие платья и пальто, стала шикарная женщина, только похудела — это мне не идет, правда фигура стала лучше») и пр.

Насколько мы можем судить по письмам Раич, эта связь была сложной и мучительной для обоих. Они часто бывали в разлуке, поэтому Аркадий Тимофеевич страшно ревновал, а его возлюбленная, похоже, была несколько легкомысленной особой. Как-то он упрекнул ее в том, что она в его отсутствие развлекается и флиртует с неким Мишей. Женщина оправдывалась:

«Милый, родной Аркадочка!

Как тебе не стыдно! Ну, за что ты так на меня накинулся. Ей-богу, такое письмо я не заслужила. То, что я ходила в Индру или Какаду — то если бы ты знал мое душевное состояние, то не только в Индру, а к черту на рога пойдешь. Если бы ты знал, как ты меня расстроил своим письмом, я всех от себя прогнала, и сижу и ною, ну разве это лучше? А если я и ходила куда-нибудь, то это было очень прилично. <…>

Милый Аркадик! Умоляю тебя, напиши мне ласковое письмецо, успокой меня, а не то я с ума сойду. И не думай обо мне ничего плохого. <…> В разлуке еще острее почувствовала, как я люблю тебя» <…>[107].

Оправдательные письма из Берлина шли друг за другом. Вот еще одно:

«Здравствуй, мое милое, любимое солнышко!

Если бы ты знал, как я скучаю по тебе. После твоего письма я на всех наплевала, ни с кем не встречаюсь, так что жизнь моя

сейчас течет однообразно. <…> Живу мыслью о том, что ты скоро приедешь. Считаю дни, и сердце сладко замирает, когда думаю о том, что скоро смогу тебя обнять. Мальчика моего родного. Аркаденька, вот пишу тебе всю правду, о которой ты меня просил. У меня даже в мыслях не было не только закрутиться с кем-нибудь, но и посмотреть на кого-нибудь. С Мишей я встречалась до тех пор, как он мне не объяснился в любви. Как только я увидела, что дело принимает другой оборот, я его от себя отстранила <…> но еще раз тебе говорю, ни одному слову не верь: всем сердцем я с тобой и никто для меня, кроме тебя, не существует.

Помни это, милый.

Не забывай меня и знай, что ни одной минуты не прожила, не думая о тебе. Солнышко, приезжай скорей. <…> Пиши чаще. <…> Твоя Раиса»[108].

В отношениях Аверченко и Раич много неясного. К примеру, она регулярно отдавала ему какие-то денежные долги. Наконец, ее почему-то не было с ним, когда он умирал.

Письма Раич Аркадию Тимофеевичу не имеют датировки и конвертов, однако, судя по их содержанию, переписка между ними велась с февраля — марта 1924 года, то есть с момента окончания их совместного турне по Бессарабии и Сербии. К этому же времени относится и начало трогательной переписки Аверченко с Лизой Культвашровой, молодой женщиной, о которой мы почти ничего не смогли узнать. Познакомились и подружились они наверняка в Праге. Предположительно в марте 1924 года Лиза переехала в Хомутов — старинный городок в северо-западной Чехии. Все вещи сразу вывезти не удалось, поэтому они хранились у Аверченко в «Zlata Husa». У Лизы была сестра Котя (Екатерина?), которая училась в Праге, и брат Карл, служивший в чехословацкой армии. Эти два имени постоянно фигурируют в письмах Лизы и Аркадия Тимофеевича. К ним следует добавить кличку Лизиной собаки Боджи, которую она называла своим «ребенком». В одном из писем к Аверченко она просила: «Напишите что-нибудь в свое оправдание перед Боджи, т. к. иначе мне будет невозможно Вам писать, он будет все время лаять и ревновать меня к Вам».

В письмах Аркадия Тимофеевича то и дело встречается слово «мама», причем он пишет явно не о своей маме, оставшейся в Севастополе. Рискнем предположить: Лиза, Котя и Карл были детьми какой-то приятельницы писателя (скорее всего, актрисы), которая просила его за ними присматривать. Он и относился к ним по-отечески, но Лиза, как мы полагаем, относилась к нему чисто по-женски. Она очень скучала по Аркадию Тимофеевичу и

даже позволяла себе устраивать сцены ревности, когда тот был занят, и ему, как ей казалось, становилось не до нее. Вот текст одной из ее открыток:

«Аркадий Тимофеевич!

Мы сидели и ждали. Потом стало невмоготу, вернее, не в перенос терпежу. Я решила уходить. Так душно и скучно. Ка-кой-то Ваш двойник все время торчал в дверях, ходил вверх и вниз. Думали, что это Вы. Но, увы! Терпение кончилось».

Аверченко относился к Лизе с безграничными вниманием и нежностью. Письма к ней столько говорят о его чуткости и доброте, что мы к ним не можем и не считаем нужным добавлять никакого комментария. Вот одно из них, отправленное вскоре после отъезда Лизы в Хомутов:

«Ситуация — такая: солнечное воскресенье. Утро. Гулял, купил цветочков — мимозы и нарциссы — долго и любовно возился, распределяя по вазам.

Теперь сижу: в комнате солнечно, весело, пахнет цветами. Мимозы, как капли яркого золота.

Хорошо!

Здравствуйте, милая… Я сегодня тихо и блаженно отдыхаю после спектаклей, на душе кроткое умиротворение.

Сегодня утром уехал Карл. Сложил у меня свои, Ваши и Котины вещи.

Думаю, вечером устроим такой праздник: надену Карлин военный мундир, Вашу шляпу с зеленым пером, зажгу на полу примус и в таком воинственном наряде буду долго плясать вокруг горящего примуса, напевая дикие песни Родины.

Не бойтесь, шляпку не помну. Она хорошенькая, с зеленым перышком. Я перышко погладил и поцеловал. Не за то, что зелененькое, а в память того, что Вы сейчас там одна и скучаете.

Котя несколько дней не показывается: свирепо учится. Научится — тогда и разговаривать с нами не пожелает, потому как мы необразованые (так! — В. М.)

А как Вы там, в Хомутове? Расставили ли уже мебель? Покрасили, что надо (кроме губок)?

Не увлеклись ли Вы там кем-нибудь? И кто он? Реальное лицо? Имя литературное? Живет в Средней Европе? В Чехословакии? В Хомутове?

Видите, от меня ничего не скроется. <…>

Ах, Лизочка! Что делается в кино! Картины хорошие-прехорошие и ложи бывают не сбоку. Право бы приехали — тепло, не дует. Вчера продал две свои новые книги: роман „Шутка Мецената“ и „Рассказы циника“[109]. Вот уж на весну деньги и есть. Куда бы-нибудь уползти на природу и написать еще один

новый роман.

Целую Ваши милые пальчики, если Вы их не растерли во время установки мебели.

Будьте милой, сияющей, и не забывайте окруженного мимозами и солнцем Аркадия Аверченко»[110].

Лиза в Хомутове отчаянно скучала и очень просила Аверченко приехать ее проведать. От скуки она писала стихи. Однажды намекнула Аркадию Тимофеевичу на то, что написала стихи и о нем, но не выслала, потому что он «препротивное создание». Он невозмутимо отвечал:

«Милый, славный друг Лизочка!

Я запоздал ответить на Ваше чудесное письмо на целых два дня, но… как говорят наши предки: „О сударь честной! Не вели казнить — вели слово молвить!“

А слово мое такое: эти 4–5 дней я был бешено занят редактированием и сборкой двух моих книг для „Пламени“ („Рассказов циника“ и „Шутки Мецената“. — В. М.) — целый день и вечер у меня толкались в комнате переплетчицы и другая пречистая публика — голову закрутили мне страшно… Я бы, конечно, мог выхватить для письма полчаса, но не было бы такого настроения, как сегодня, когда голова свежа, ничем не забита и у меня снова в ушах звенит Ваш голос, не сплетаясь с другими грубыми голосами.

И настроение после такой бешеной работы — умиротворенное и хочется, чтобы Вы сейчас сидели на покрытом плюшевым пледом диване и рассказывали, как жульнически выдавали себя за дочь Колчака…

Теперь — несколько серьезных вопросов: 1). Что это значит: „Солнышко светит с Пилюшкинской щедростью“? Что это за загадочный для меня Пилюшкин, который, очевидно, прославился своей щедростью — раз имя его сделалось нарицательным?! Я из-за Пилюшкина целую ночь не спал!

2). Почему Вы простудили себе грудь? Этот способ развлекаться я глубоко осуждаю. Хотя, конечно, Вы вольны распоряжаться Вашей грудью, как Вам заблагорассудится. Ведь не можем же мы, Ваши друзья, высказать те же претензии, как в старом анекдоте еврей-наборщик на митинге:

— Товарищи! Вот идет буржуй! Видите, какой у него живот?! Это его живот?!! Это наш живот! Это его грудь?! Это наша грудь!

Серьезно же говоря, больную грудь нужно чем-нибудь смазать. Точно — не знаю, чем. Боюсь советовать. А то насоветую такое, что Вы не грудь, а советчика смажете.

3). Отмечаю полное отсутствие логики во фразе: „Вы мне мешали спать — всю ночь снились“. Тяжелый, несправедливый

упрек! Или я Вам снился — тогда Вы спали или не снился, и Вы бодрствовали, в чем я не виноват, так как не прочь присниться еще разочек-другой. Ну, это все пустяки. <…>

Вы пишете: „…не глупость ли все на свете, кроме… чего думаете? Напишите!“

Пишу… „Кроме таинственной, прекрасной жизни сердца. В этом весь смысл нашей обворованной жизни“.

О стихах: чужого мне не нужно, но мое — мне отдайте! Раз стихи для меня — извольте выслать. За свою собственность буду держаться зубами.

На „препротивное создание“ я не сержусь ни капельки, потому что таковой и есть, и правда мне была всегда милее. А вот в Хомутов я приеду с удовольствием, но Вы должны также прибыть в Прагу, дабы выработать церемониал въезда, приема и проч. Тем более, что эту недельку картины в кино идут — аховые — слышите! Слышите! Только еще четыре дня. Одна другой лучше, и все со зверями. Одних тигров до 20 голов, да и другой скотины в каждой фильме многое множество. Так приедете, а? Написали бы, что ли? Тем более, что „программа“ почти выработана и закончена.

А Вы ловко догадались насчет мармеладу. Ну да, есть. В шкафу. Преогромная коробка, да такой, подлец, вкусный — впервые я отыскал такой (одно слово нрзб. — В. М.). (Прочли слово? Не все мне с Вашими письмами мучаться — получайте и Вы!!!)

Лизочка, пожалуйста, не претендуйте на сумбурность письма — это я писал, последовательно отвечая на пункты Вашего письма, которое (честное слово) такое очаровательное, что я за него готов расцеловать Котю как ближайшее к Вам существо. Напишите еще так, ладно?

А стихи Ваши очень хороши. Извините, что эти слова пишу не как влекущийся к Вам человек, а как придирчивый, угрюмо-скептический редактор „Сатирикона“, куда бы я с удовольствием их взял, будь у меня еще этот журнал.

Отмечаю в Вашей прозе стилистическую погрешность: Вы пишете — „Хочу, чтобы солдаты умыли пол“. Гм! Пол-то можно умыть, но только в том случае, если он мужской или женский. А деревянный — можно и вымыть. Предостаточно с него. Однако я твердо хочу получить еще такое письмо, хоть и с десятком „неразборчивых слов“. <…>

Вы — милый чудак. Ну, благослови Вас Бог — а я делаю, что могу, — мысленно нежно целую Ваши ручки. Аркадий Аверченко!!!! Ваши шляпы не пропадут: я их тщательно храню: сдуваю с них пыль, выколачиваю и ежедневно мою мылом и

губкой. Так что — приедете — не узнаете их»[111].

Встреча в Хомутове все-таки состоялась в середине апреля 1924 года. Этому предшествовало следующее событие. Однажды Аверченко принесли в номер письмо и ароматно пахнущий сверток. Аркадий Тимофеевич немедленно отправил открытку в Хомутов:

«Дорогие друзья!

Спешу вас всех уведомить, что неизвестная женщина принесла мне вчера письмо, очевидно от мамы, и сверток, в коем, судя по формам и аромату, икра и балык. Другой бы, конечно, тут же — слопать! А я — не такой. Вот — сообщаю. Приезжайте за этими скоропортящимися продуктами экстренно.

Всегда весь Ваш Аркадий Аверченко, известный содержатель рыбьих складов.

Чувствую себя плохо, хандрю, собираюсь лечиться.

Эх, жизнь наша треугольная!»[112]

Лиза отвечала, что примет подарок при одном условии: Аркадий Тимофеевич должен доставить его лично. И вот Аверченко вместе с Косточкой (Константином Бельговским) едет на один день в Хомутов, расположенный в 100 километрах от Праги. Через пару часов они уже обнимались на вокзале с Лизой и Котей.

Хомутов, старинный городок у подножия Крушных гор, несколько портили заводские трубы и угольная пыль. Однако средневековый центр с ратушей, прилегающей к церкви Вознесения Святой Девы Марии, с храмом Святой Катерины, церквями Святого Игнасия и Шпейхара гостям Культвашровых понравились.

Прогулявшись по городу, компания направилась к Лизе домой и устроила пир с поеданием икры и балыка. Аркадий Тимофеевич сразу занял кухню, где готовил свое фирменное блюдо из картошки.

Вечером, проводив гостей на вокзал, Лиза с Котей вдруг почувствовали признаки сильного отравления. Они грешили на какое-то масло, которым не только кормили своих гостей, но которое еще и вручили им в качестве подарка. Лиза в письме беспокоилась, не отравила ли она двух друзей. Аркадий Тимофеевич отвечал:

«Здравствуйте, сестрички-лисички!

Во первых строках моего письма сообщаю, что животики у нас не болят ни капельки, хотя помнится, масло мы и ели… С маслом случилась другая история, горшая. <…>

Помните, перед уходом, когда Карл уронил с перил на пол мой саквояж?

Ну, уронил и уронил. А когда я спал в вагоне — слышу от саквояжа странный запах.

Что такое?! Открыл сак, а там — флакон с (одно слово нрзб. — В. М.) вдребезги и аромат этой гадости просочился на весь саквояж. А сколько он (сей последний) стоит? Впрочем, я забыл, сколько я вам соврал.

Пассажиры здорово ругались. А живот не болит, что Вы…

Ну, конечно, я в кино не попал!! Завтра уезжаю в Берлин с дьявольской неохотой.

Дело прошлое, Лизочка, а нам у Вас было хорошо. Чудно, как дома у сестер. Мы до сих пор с Косточкой вспоминаем тепло и благодарно.

А рассказами об икре и балыке мы вызвали столько слюны во рту своих друзей, что из этих слюней можно принять ванну — кому не противно!

У нас жара, чего и вам желаю от Бога. Если буду у заутрени, то поставлю за Вас свечку самого лучшего воску, добытого наиболее доброжелательными пчелками.

Так же низко кланяюсь, целую Ваши ручки и прилагаю привет милому Бригадику, как пишет мама, — Карлу.

Ваш Аркадий

P. S. Не скучаете по жаренному моими руками картофельному (одно слово нрзб. — В. М.)?

Вот были времена! Потомки будут вспоминать у костра.

Ах, Лизочка, вот спасибо за пуховку. Замечательная. Знаю, что все мои знакомые женского пола будут клянчить („подарите, дескать“), но эта пуховочка для меня священна и никому я ее не дам. И так хороши будут.

Косточка — свинья! Я ему еще позавчера говорил: принесите для Лизы книги ко мне (я ему в свое время подарил массу замечательных книг), а он не принес. Так что последнего пока только мизерное количество. А как приеду (о том извещу), то приготовлю новую партию»[113].

В приведенном письме есть один важный момент: Аверченко собирался в Берлин «с дьявольской неохотой». Видимо, именно эту эмоцию вызывала у него перспектива очередных выступлений с Раич и Искольдовым. Их планировалось два: 30 апреля в зале «Брюдерферейна» и 6 мая в ресторане «Оливье».

В этот свой приезд в Берлин Аверченко, судя по всему, был крайне раздражен, потому что он успел поссориться с Раисой Раич и Буховым. Первая, очевидно, снова не угодила возлюбленному своим легкомыслием, а второй — уже в который раз! — не дал гонорара. У Аркадия Тимофеевича произошел какой-то конфликт на материальной почве в берлинском

отделении газеты «Эхо», о чем он и уведомил Бухова в резком письме. Тот оправдывался:

«Милый Аркадий!

Из Берлина мне прислали твое идиотское письмо. Спасибо. Когда-то тебя в Питере по-дружески называли лошадью. Это была ошибка молодости. Если тебя кто-нибудь сейчас называет ослом — передай ему, что он более проницателен. <…>

Помнишь, что сказал Сенека: „будь говном, но не сразу“. <…> Сегодня ей (жене Алене. — В. М.) показал твое письмо. <…> Она тоже набросилась на меня (такая же стерва, как и ты).

Когда получишь деньги — начинай снова посылать фельетоны, только по-человечески, как в „Сегодня“, а не склеенные запасы из сундуков.

Твой Аркадий Бухов»[114].

Аверченко обнаружил это письмо с приложенным гонораром, вернувшись в Прагу. Он тут же сменил гнев на милость и ответил Бухову так:

«Ну-с, голубчик…

Выходит так, что я лошадь, осел и, вообще, сволочь, а ты окружен золотым нимбом? <…> Ах ты, гнилая подошва интендантской поставки 77-го года! Ах ты, пошлый фарисеишка, развратный верблюд, импотент правды! <…> Золотой нимб вокруг головы? Этим бы нимбом да по морде! <…>

Твое письмо написано неправильно.

На будущее время прилагаю образец: „Многоуваж. и высокородный Арк. Тимофеевич! Да, я — стерва и пес… Я не отвечал по 2 мес. на В/письма, я задерживал В/нищенский гонорар, я хотел столкнуть вас с филистимлянином и рукоблудом Оречкиным, который суть — арап… И откуда, многочтимый А. Т., вы могли знать, что я ему написал письмо о выдаче Вам гонорара. Вас-то я об этом не уведомил? Да, Арк. Тим.! Я прогнил насквозь во лжи и лени, но спасение для меня — В/высокая дружба, и отныне я буду аккуратен, как хронометр и почтителен, как граф. Целую В/очаров. ручки. Простертый ниц — А.“. Вот тебе высокий эпистолярный образец, которому следуй!»

* * *

Материальчик вам требуется?

Так-с, так-с.

Такой как в «Сегодня»? А хватит ли у вас животишек, чтобы оплачивать мои королевские гонорары?! И когда это, скажите на милость, я посылал Вам «склеенные запасы из сундуков?!».

Эта фраза не только гнусно-безграмотна (будто я тебе посылаю склеенные (?) сундуки (?!) из своих запасов (?!!)) — она еще и лжива!!

Ты гадок мне, Аркадий!

Например — возьми прилагаемый проект! Это — сокровище Голконды, ящик Пандоры, все как на подбор нерасцветшие лотосы египетск<их> обелисков.

Напр.:

«**Волчьи ягоды**» — новейшие казусы в самой тонкой изящной форме, самые свежие, освещенные матовым, смягченным светом тонкой не обидной для большевиков иронии. N. B. Ты, кажется, чорт, их побаиваешься.

«**Сильный характер**» — изящн. безделушка в стиле Буль, на которой читатель отдохнет от репараций и Клайпеды. Даю тебе слово, что нигде не была напечатана; написана и для игры (Греки и Рак), а также для легкого чтения эстетов. Э! (скажет читатель) не дурак же Бухов, значит, если выискивает такие улики тонких психологов души человечьей.

«**Бессарабия**» — теперь ты знаешь, бесхвостая газетная мышь, что о Бессарабии все говорят. Интерес к ней повышенный. Честно говорю — предисловие написал только что, а остальное печатал во время турнэ в низменной бессар<абской> газете, которую и бессарабы-то мало читают. Об этом предваряю заранее, чтоб не было ламентаций о склеенных сундуках.

Теперь серьезно: хочешь, бери, нет — возвращай немедленно — пойдет в «Сегодня». Но я думаю, что легкая форма «впечатлений» для «Эхо» приемлема, не обременяя желудка.

За всю рукопись «Бессарабии» (4 больших фельетона — тоже не обременю 120 лит, и за 2 фельетона 80 лит. Итого — 200 или 20 долларов, или 30 довоенных золот<ых> рублей, а я тебе, чорту, в «Сат<ириконе>» за один фельетон больше платил).

На фонарь эксплоататоров!!

Ну, вот, Аркашенька — отвечай же мне немедленно и грациозно.

Собираюсь ехать в Ригу — если это мимо Ковно — остановлюсь у тебя дня на 2. Ты это устроишь?

Если Аленушка «такая же стерва, как и я», то я счастлив этим одинаковым расовым признаком с ней. Гонорара пока не переводи — напишу, когда и куда. В Праге буду дней 10–12, так что для ответа адрес прежний: Арийцу — Ark. Avercenko, Praha, hotel «Zlata Husa».

Остаюсь любящий тебя

Бледнолицый Арк. Авер.

Запись на полях

«Аркадий! Я пью йод (10 кап. на прием, после еды.) Может, и тебе уже пора? Выпьем вместе „на ты“.

Аленушку и Наталью с почтительностью раскаявшегося гуляки — целую. Стали у меня падать волосы — не прислать ли тебе пучок для посева?»[115][116]

Юмористическое письмо с «отчетом» о поездке в Берлин получила и Лиза Культвашрова:

«Осмелюсь довести до Вашего сведения, что я такой же хороший, как и был, если не еще лучше, хотя дальше — куда же? Тут уже начинается область Франциска Ассизского, Варвары Великомученицы и других святых.

Ну, вот. Путался я преимущественно всюду. Берлин, как и Днепр, — чуден при всякой погоде. Жизнь там бьет ключом. Опять же — немцы, автомобили…

Сказать, что я Вас не люблю, не скучаю по Вам и не хочу очень, очень Вас видеть, — могут только потерянные личности и подонки общества!

О Вашем мизерном проектишке — приехать в Прагу на один день — мы еще крепко поговорим!

И 3 дня проживете — хороши будете.

За это время я закормлю Вас чудной окрошкой, мороженым, а уж фильмы — ну, что там говорить! До пятницы… идет такая вещь, что Вы меня за нее будете нежно и благодарно целовать, а я, конечно, не такой человек, чтобы отказываться.

Вещь называется „Вавилон“. О!

Вышлите мне с обратной почтой чертеж новой сковородки для жарения картофеля. Справлюсь ли я с ней, боюсь.

Как у Вас кухня — в порядке?

Или без меня — запустили?

Если от моего чувства к Вам единственное средство — выкупать меня в уксусе — ну что ж. Я не такая жемчужина, как была у царицы Клеопатры: в уксусе не растворяюсь.

Пожалуй, наоборот — затворяюсь.

Мое утверждение, что я очень люблю Вас, высказанное в категорической форме на 1-й странице, столь же непоколебимо подтверждаю и на 3-й.

Вот Вам! Заварили кашу — теперь и расхлебывайте. Скучаю, милый друг, скучаю.

Изредка читаю в книжку (так! — В. М.).

Кстати, о книжках: одна моя книжка вышла в Мадриде на испанском языке.

Называется „Cuentos“[117].

Что бы это значило, не знаете?

По этому случаю покупаю себе макинтош, кастаньеты и

влюбляюсь в севильянку! Вы, часом, не из Севильи?

Хорошо бы тогда. И искать не надо.

От Испании прямой и логический переход — к Коте.

Что-то она изменилась очень. Ко мне не показывалась. А когда я упрекнул ее, оправдание: „Нет, я к Вам заходила еще тогда, как у подъезда ‘Злата Гуса’ один человек на земле умирал“. Такой случай, конечно, был, но я думаю, что Котя из подлости — сама же этого человека отравила и ко мне в подъезд подсунула. Играть жизнью человека только д ля того, чтобы отделаться от меня, — считаю позором…

Ну, славная Лизочка, вот все, что у меня накипело, а затем жду: 1). Письма. 2). 3-х дней в Праге! Ё?

Целую ручку левую и правую. Ах, как мало у человека конечностей!.. Раз, два и обчелся.

Ваш Арк. Аверченко»[118].

Лиза шутливо отвечала:

«Вы пишете: „Изредка читаю в книжку…“ Вы, вероятно, хотели сказать „смотрю“? <…> Что же касается покупки мантильи — одобряю; сейчас очень в моде. К сожалению, на вопрос — я не из Севильи? — отвечу: совсем из противоположной стороны — из Сибири…» Затем девушка представила «отчет» о новой сковородке: «Вот Вам приблизительный „план“… новой сковородки (далее следовал рисунок с указанием параметров: ширина — 20 сантиметров, длина — 30 сантиметров. — В. М.). Жарит — восторг! Довольны? Что же касается кухонного порядка — куда!»[119]

Летом 1924 года настроение Аркадия Тимофеевича несколько улучшилось. Этому немало способствовало появление в Праге его бывшего соратника по «Гнезду перелетных птиц» Владимира Свободина. Они расстались в 1922 году в Софии, а потом и вовсе потеряли друг друга из виду. В апреле 1923 года Аверченко принесли от Свободина письмо:

«Ну, наконец-то, дорогой Аркадий, получил я какое-то приблизительное сведение о твоем местонахождении… Я даже подписался на Ежемесячник Международных Тюрем в надежде хоть там отыскать твой адрес и, каюсь, с некоторой сладострастностью перелистывал вестник, подумывая: „Ну-ка, голубчик, куда ты попал?“ <…> Сейчас я в Софии, где в качестве режиссера драмы в Свободном театре заканчиваю сезон…

Прежде всего, сообщи, как тебя находить, и что думаешь сделать, чтобы приблизить меня к своей пресветлой особе с долларами? <…> Где то Раичка и Женя? Раю можешь поцеловать, но только без хамства! в щечку! а не в губы! <…>

Ну, жду очень письма.

Твой В. Свободин» (2 апреля 1923 года).

«Пресветлая особа с долларами» пригласила Свободина в Прагу, где тот возглавил труппу Пражской русской драмы.

Летний сезон 1924 года Аверченко планировал провести, отдыхая, на Рижском взморье. С октября вступал в действие очередной концертный контракт на выступления в городах Германии. Раич с Искольдовым ждали его в Ганновере.

Однако пределы Чехословакии Аркадий Тимофеевич больше никогда не покинул.

# Глава восьмая. КОРОЛЬ УМЕР

В один из дней августа 1924 года Аркадий Тимофеевич сидел в «Zlata Husa» и с негодованием читал заметку в газете «Berliner Borsen-Courieре»: «АВЕРЧЕНКО В НИЩЕТЕ. По сообщениям польских газет, известный русский сатирик Аверченко в данный момент лежит в Праге в больнице без гроша и ослеп».

«Черный пиар», как известно, лучший «пиар», однако Аверченко негодовал. Он позвонил Бельговскому и попросил разослать в редакции газет опровержение.

Через некоторое время в русских эмигрантских изданиях для успокоения читателей и друзей было опубликовано «Письмо в редакцию» Аверченко, где в том числе говорилось:

«1). Я уже поправляюсь после операции и не ослеп, я вижу так же хорошо, как и до операции.

2). Я не в больнице, а у себя дома в отеле „Злата Гуса“.

3) …я, может быть, и нищий, но, работая в нескольких русских, чешских, немецких и американских издательствах, — чувствую себя недурно. Благополучие мое дошло даже до того, что я (кажется, единственный) отказался от субсидии, выплачиваемой чешским правительством русским писателям, живущим в Чехии.

4). „Без пфеннига“ я нахожусь, может быть, потому, что все расчеты веду на чешские кроны и доллары».

Письмо с разъяснением ситуации получил и Аркадий Бухов:

«Здравствуй, мужественный старик!

Из газет ты, конечно, знаешь о моей внезапной глазной болезни, о перенесенной операции, а теперь в дополнение могу тебе сообщить, что я уже выздоравливаю и вижу так же хорошо (или так же плохо, т. к. я близорук) — как и раньше. Мое счастье, что моя болезнь свалилась на меня в Праге — за день-два перед отъездом в Ригу и к тебе в Ковно, ибо я хотел побыть у тебя немножко. Хорош бы я был в диком Ковно, где глаза не оперируют, а просто вытыкают зонтиком, чтоб не возиться.

В Праге же профессионалы знатные. Через неделю я уже совсем буду здоровенький, крепенький как огурчик… А в немецких и польских газетах были заметки, что я ослеп и лежу в больнице без пфеннига денег, в нищете. Вот тебе твоя паршивая пресса… Эх вы, газетчики ободратые!»[120] Письмо было в шутку датировано 36 августа 1948 года.

Газеты, сообщавшие о болезни Аверченко, настолько сгустили краски, что Раиса Раич, находившаяся в гастрольной поездке по Германии, если верить письму, не находила себе

места:

«Мой родной Аркадинька!

Прости, что так долго не писала. <…>…в Дюссельдорфе, когда мне случайно попала в руки газета, из которой я узнала о твоей болезни, меня охватило такое отчаянное настроение, что… не только писать, а вообще не знаю, как я в это время жила. Знаешь, когда я прочла газету, я как безумная стала метаться по всему отелю, я была похожа на кошку, которую напоили валерьянкой, а вечером на спектакле у меня все было в тумане, я ничего не соображала, и такое состояние у меня продолжалось довольно долго. Потом… сведения от Косточки меня немного успокоили, а… ванны, которые я принимаю каждый день, привели немного в порядок мои нервы. Как ты себя теперь чувствуешь, мой дорогой? Если можешь, черкни мне пару слов. Буду очень рада получить от тебя весточку. Косточка очень кратко, сжато пишет о твоем здоровье и никогда от тебя не шлет привета.

Милый, посылаю тебе 15 долларов от себя лично в счет моего долга, прости, что пока так мало, но у нас в Дюссельдорфе дела были довольно кисленькие, но… теперь все хорошо, и в будущем мы обеспечены на 1 января всюду на хорошую гарантию, так что теперь буду аккуратно тебе выплачивать.

Сколько ты еще пробудешь в Праге?! Женя в начале сентября хочет приехать на несколько дней к тебе. У меня к тебе громадная просьба, чтобы ты вместе с Женей приехал к нам. Аркадий, ты не пожалеешь. Тебе у нас будет очень хорошо.

Крепко тебя целую. Будь здоров. Твоя Рая»[121].

Так что же случилось с Аверченко летом 1924 года?

Как мы помним, он планировал направиться на Рижское взморье, а по пути заехать к Буховым. В середине июля, буквально накануне отъезда из Праги, ему вдруг стало нехорошо: обострилась болезнь левого, поврежденного, глаза. Боль была настолько нестерпимой, что пришлось посетить пражского профессора-офтальмолога Брукнера.

После осмотра стала очевидной необходимость немедленного удаления глаза. На этот раз Аркадий Тимофеевич не сопротивлялся: он мужественно перенес часовую операцию под местным наркозом и дальнейшие перевязки. Зная о том, какое значение наш герой придавал своей внешности, можно представить, насколько ему было тяжело морально.

Писателю вставили протез. Он очень просил Брукнера никому не говорить об этом, и тот обещал. Похоже, правду знал один Бельговский, потому что все эти подробности он все-таки поведал поклонникам Аверченко уже после его смерти.

Именно ЧП с глазом и стало поводом для появившихся в газетах слухов о слепоте и нищете писателя. К августу Аркадий Тимофеевич оправился от перенесенной операции, а его «Письмо в редакцию» действительно успокоило его близких. Раиса Раич писала из Ганновера:

«Мой милый, родной Аркадинька!

Безумно рада, что ты себя хорошо чувствуешь. <…> Мы все ждем тебя с трепетом, а я в особенности. Ты, родной, на меня не сердись, что так редко пишу, но у меня совершенно нет времени. Я очень много работаю, ведь у нас теперь ежедневно по два спектакля — в 5 ч. и в 9 ч. Так что целый день провожу в театре, а после спектакля так устаю, что еле добираюсь до кровати.

Ничего, кроме газет, не читаю (прямо ужасно). Здесь нельзя достать никакой русской книги. Очень прошу привезти несколько книг, мы все тебе будем очень благодарны. Если бы ты знал, как часто мы тебя вспоминаем. На репетиции читали твое „Письмо в редакцию“. Страшно хохотали, очень, очень остроумно.

Мы в труппе все очень дружны, за исключением Степовой, она оказалась ужасным человеком. Фальшивая, хитрая, сплетница, лгунья неприятная, совершенно неразвитая… до ужаса. При встрече много тебе расскажу про нее. А вот остальные очень милые, в особенности Сара… какая очаровательная, умная, в высшей степени культурная женщина, я ее очень люблю. Со Степовой я, конечно, не ссорюсь… вначале, пока не раскусила, была с ней очень дружна, а теперь стараюсь ее не замечать. Ты ей предлагаешь службу в Драме у Свободина, но она так бездарна, что, кроме своих песенок, ничего не умеет, имей это в виду.

Как поживает… Свободин? Передавай ему мой сердечный привет. <…> Посылаю тебе мои карточки, которая в пальто, кажется, ничего, в русском костюме мне меньше нравится, интересно знать твое мнение.

Ну, будь здоров, крепко тебя целую, до скорого свидания. Твоя Рая»[122].

Все близкие Аверченко успокоились. Успокоился и он сам и снова стал собираться на Рижское взморье. При этом он старался не обращать внимания на частые приступы внезапного удушья, возможно, считая их следствием перенесенного стресса. Однако Аркадию Тимофеевичу так и не суждено было снова увидеть балтийский берег. Приступы удушья участились, резко ухудшилось зрение. Пришлось отложить не только поездку в Ригу, но и всякую работу.

Аверченко, как и большинство мужчин в таких случаях, надеялся на «авось» и к врачу идти не собирался. Раиса Раич писала:

«Милый Аркадий!

<…> Очень я огорчена твоей болезнью. Не будь ребенком, пойди к доктору и серьезно полечись, а, главное, тебя нужно спасать из Праги, для тебя этот климат убийственен. Приезжай к нам, будешь жить, ни о чем не заботясь, мы тебя полечим и ты увидишь, что скоро поправишься.

Я эти дни себя чувствую неважно, очень болит сердце, как еще никогда не болело. <…>

Я помню, что тебя растирала Надя скипидаром и ментолом, пропорции по твоему усмотрению. Это неважно. Да и потом ты наверняка скоро получишь от Нади рецепт.

Ну, Аркадинька, будь здоров. Не хандри. Не придирайся к Раичке. Крепко целую. Люблю. Рая»[123].

Судя по этому письму, Аверченко предполагал вылечиться каким-то растиранием и уповал на помощь своей бывшей петербургской горничной Нади.

В начале декабря пришло письмо от Бухова, который тоже жаловался на здоровье: «Чтобы тебя порадовать, могу сообщить тебе, что сильно волнует <меня ситуация > с почками и печенью. Не теряю надежды, что весь этот гарнитур скоро испортится и у тебя. Пять месяцев не пью. А ты, сволочь, пишешь о мадере с медом. А птичью мочу с инбирем ты не пил? То-то!»[124]

Аверченко ответил другу невесело:

«Здравствуй, старый дракон из фильмы Нибелунги!

Пока никакой Зигфрид не пропорол тебе брюха — пишу. Я, брат, здорово болен, читать и писать мне запрещено, почему эти строки я и диктую одной великосветской графине, к которой впоследствии, если ты разоришься, могу устроить тебя конюшенным мальчиком. Хотя не знаю, бывают ли лысые конюшенные мальчики! Ответом на этот вопрос можешь не спешить. Я теперь так болен, что ты, пожалуйста, свои паршивые почки не ставь рядом с моим благородным, но больным сердцем. Получил я от Горного письмо, он так тебя в этом письме страшно выругал, что пересылаю тебе кусок с восторгом сладострастья. А ты почему не ответил на мои письма, Аркадий? Если тебе за хронические кражи перебили лапы, то мог бы диктовать, правда, не графине, которая тебя и на порог не пустит, а кому-нибудь из лиц подлого сословия. Если я помру, то научи Наташку уважать память дорогого покойника. Жену Алену я целую, а тебя, старого грешника, морально обливаю кипятком, предвосхищая тем все посмертные события в аду, в номерах Чертовой бабушки, куда ты, конечно, попадешь после смерти! Аркадий, если ты не ответишь и на это письмо, то дружбы нет! И я рву совершенно наши

дружеские связи. Посмотрим, как ты покрутишься без моих ароматных, благоуханных манускриптов. Подписываю с закрытыми глазами, потому что противно смотреть на тот листок, который скоро будет в твоих руках» (17 декабря 1924 года)[125].

Аркадий Тимофеевич старался не огорчать своих друзей и продолжал так же шутить, хотя самому было не до смеха. В его письмах этого времени ощутима затаенная тоска. Вот характерное послание Лизе Культвашровой, ставшее ответом на ее упреки в том, что он о ней позабыл:

«Золотая головушка!

Вы меня обокрали!

Это моя система: когда я сделаю что-либо нехорошего или вообще удивлю мир своей неблагодарностью или небрежностью, то оправданий не представляю никаких…

А вместо этого притворяться разобиженным, несчастненьким и говорить нечто подобное Вашему выражению в письме: „Я думала, что Вам не до меня да и вообще. Вам, видно, без меня весело“.

Приемчик отменно ловкий: и себя оправдает и своего корреспондента обидит, унизит, уязвит.

Однако давайте условимся в будущем на такие штуки друг с другом не пускаться.

А я был очень огорчен в свое время, что Вы, будучи в Праге, забросили меня не скажу, как собаку, потому что какая-то собачонка у Вас находится в страшном фаворе (судя по письму) — и не я буду, если при личной встрече из ревности не оборву ей уши и хвост. Впрочем, может быть, это уже сделано?

Итак, долой собак и да здравствуют чудные, грандиозные люди вроде меня!

Вы бы, Лизочка, гордились лучше, чем так-то жить… Ведь не проходит дня, чтобы мы с Косточкой о Вас не вспомнили и как это выходит красиво, логично: заговорим о какой-нибудь знакомой даме, начнем ее разбирать и окончим таким вечным припевом:

— А все-таки лучше нашей Лизочки нет!

— Ну, Лизочка! Она замечательная!

— Чудесная!

— Эх, повидать бы ее!

Еще вчера был точь-в-точь такой разговор.

Однако по Праге среди туч угольной пыли пронесся один ароматный слух: будто Вы очень скоро приедете в Прагу!

Если язык моего бледнолицего брата Косточки — круглые очки и он не лжет — то это будет превосходно! Заранее ангажирую Вас на спектакли Художественного Театра и на пару-

другую кинофильмов. А уж сколько смешных глупостей будет за Ваш приезд — так это на трех возах не увезете. <…>

Кое-что написал за это время. Очевидно, Ваш вольноотпущенный Пегас заскочил по дороге ко мне. Одним словом: рассказов за это время — урожайно.

Итак: или немедленно сломя голову приезжайте или сломя таковую же — отвечайте — как и что!

Уж очень хочется повидаться, накарай мою душу Господь, как говорят севастопольские мальчишки.

Славному вояке Карле шлю дружеский поцелуй. Вам — восторженное целование левой ручонки, а собачке Вашей крепкий пинок под брюхо: у Карли это должно хорошо выйти.

Всегда Ваш А. Аверченко»[126].

К концу декабря Аркадию Тимофеевичу стало настолько плохо, что его запасы оптимизма и юмора начали иссякать. Накануне нового, 1925 года он едва ли не впервые в жизни серьезно ответил на просьбу газеты «Эхо» поделиться с читателями пожеланиями:

«Врачи на время запретили мне работать, запретили читать и писать, и я лишен поэтому возможности формулировать свои новогодние пожелания так подробно, как я бы это сделал, если бы был здоров. В двух строках мои пожелания таковы:

— На будущий год я желаю России снова сделаться Россией, а русской эмиграции перестать быть эмиграцией».

Обеспокоенные друзья заставили писателя пройти полное обследование в клинике профессора Младеевского, специалиста по сердечным заболеваниям и артериосклерозу. Доктор предписал диету и лечение на курорте. Лиза Культвашрова советовала Аверченко поехать в Яхимов — родоновую здравницу в окрестностях Карловых Вар. Он невесело отвечал: «Насчет Яхимова это — может быть, богатая идея, а может, и нет. Все будет зависеть от профессора, у которого я думаю спроситься. Как он скажет? А Вам, золотой дружочек, спасибо за заботу обо мне. И Карли за то же поцелуйте. Мне и самому Прага осточертела, как старая унылая жена с длинным носом и кривыми губами».

Младеевский, у которого Аверченко «спросился», велел отправиться на шесть недель на курорт Подебрады для сердечных больных. Этот старинный городок, расположенный в 45 километрах от Праги, славился и славится мощными источниками минеральных вод с высоким содержанием углекислого газа, магния, кальция, сероводорода.

Аверченко решил ехать. Проводить его вызвался верный Бельговский.

«Мой глупый, родной Аркадинька! — писала Раиса Раич. —

Просто поразительно, как тебе не везет. Нет года, как ты беспрерывно болеешь, и каждый раз что-нибудь другое. Мой родной… как можно скорее поезжай в Подебрады и серьезно полечись. Как ты там, бедненький, будешь жить? Если бы я могла, я бы прискочила к тебе и поехала бы с тобой в Подебрады. Я думаю, что Женя может к тебе приехать, он сейчас в отпуске. Делает контракты.

Я жду не дождусь, когда кончится этот год, и наступит первое июня, чтобы поехать к морю отдохнуть. А главное — повидать тебя и быть с тобой вместе. Я тоже порядком устала, ведь работаю каторжно… все время простуда, бронхит да и сердечко побаливает. Видишь, я от тебя не отстаю. Посылаю тебе пока сто марок, а когда Женя приедет, пришлем еще. Будь здоров, крепко обнимаю, твоя Рая»[127].

Накануне отъезда из Праги Аверченко еще продолжал заниматься делами. Председателю Союза русских писателей В. Ф. Булгакову он писал насчет публикации своего рассказа «Зайчик на стене» в альманахе «Ковчег», выпускаемом союзом: «Рассказ мною написан и лежал у меня уже дней пять, но доктора запретили мне читать и писать… Об условиях мы с Вами не говорили, но я твердо надеюсь, что Союз меня не ограбит, тем более что я — инвалид — законопачиваюсь на пять недель в Подебрады, а это, как Вы знаете, роскошный и дорогой курорт…» (17 декабря 1924 года).

Двадцать второго декабря выехали. «Ехали полные верой в то, что там его ждет исцеление. Ведь врач сказал, что через шесть недель одышка прекратится, правильное дыхание восстановится, можно будет приступить к работе», — вспоминал Бельговский.

У дверей гостиницы, в которой Аверченко забронировал номер, произошел неприятный инцидент. Швейцар, услышав его фамилию, бестактно и с оттенком какого-то ужаса воскликнул:

— Боже, пане Аверченко, где же ваш юмор?

Увы, красота старинного городка, готические замки, чудесные ландшафты и минеральные воды не помогали. Больному становилось все хуже. Некоторым развлечением оставались для него письма от поклонниц. «Я глупая женщина, — сообщала одна из них, Елена Адомайтис. — Я ревную Вас ко всем Вашим старушкам и старикам, ко всем людям, окружающим Вас; даже к книгам, к Вашей комнате, к больному Вашему сердцу… Никогда больше не приду к Вам, у Вас всегда сидят всякие любимые… Мое сердце разрывается… Я люблю Вас выше слов…»[128] Или вот другое письмо — от совершенно незнакомой Елизаветы Думаревской из Белграда: «Ваши книги умеют всегда меня вывести из мрачного настроения, которое так часто

овладевает мной. Я очень благодарна за них, славный Аркадий Тимофеевич»[129].

Часто приходили письма от Раисы Раич, которые, как мы уже говорили, Аверченко вряд ли радовали:

«Дорогой мой Аркандинтка!

<…> Смотри, лечись аккуратно, поскорей выздоравливай, и приезжай. Сейчас около меня сидит наша актриса Надечка Кончак, очень хорошенькая женщина в твоем вкусе — полненькая блондинка! Умоляю тебя скорей приехать! Прости, родной, что пишу на клочке и карандашом, но я плакала в уборной во время антракта… ведь ты знаешь, как я тебя люблю, правда? Ну, родной, закончу свою записочку и пойду петь „Маруся отравилась“ (шарманка). Крепко целую. Жду. Твоя Раичка»[130].

Прочитаешь такое письмо и подумаешь: где-то кипит жизнь, кто-то плачет в уборной, кто-то поет, но тебе во всем этом уже нет места!.. Сидя в одиночестве в гостиничном номере, Аркадий Тимофеевич встречал самый грустный и последний в своей жизни Новый год — 1925-й.

Бельговский, навещан друга два раза в неделю, с ужасом наблюдал, как тот постепенно таял и все сильнее и сильнее начинал задыхаться. Константин Павлович бросился к другому специалисту, который после осмотра велел немедленно перевезти Аверченко в Прагу.

Двадцать третьего января 1925 года писателя уже на носилках доставили в клинику по внутренним болезням профессора Силлабы в Пражской городской больнице. Он был в полубессознательном состоянии и двое суток бредил.

Никто не ожидал трагедии: Аркадий Тимофеевич был в самом расцвете лет! Однако диагноз оказался страшным: полное ослабление сердечного мускула, расширение аорты и нефросклероз. Возможно, в этот момент кто-нибудь из специалистов вспомнил о летней глазной болезни Аверченко — она могла быть первым симптомом склероза почек (как это было с Михаилом Булгаковым).

В ближайшие полтора месяца состояние больного то улучшалось, то ухудшалось. В последнем случае он шутил, что положение его «деликатное». Несчастного донимала бессонница. О чем он думал в эти часы? О чем старался не думать? Кто знает…

Чтобы отвлечься, Аркадий Тимофеевич по ночам фантазировал, мысленно писал новые рассказы, пьесы, а утром пересказывал их содержание навещавшим его. Последних узнавал больше по голосу: болезнь вызвала осложнение — слепоту. Лишенный возможности чтения (своего любимого занятия!)

Аверченко просил читать ему вслух. Служащим больницы особенно запомнился молодой студент Сережа Ситенко, постоянно сидевший в изголовье больного с книгой в руке.

Аверченко лежал в обычной общей палате, все время на спине, от чего сильно страдал. Очень неудобными были и железная больничная кровать (мы даже знаем ее номер — 2516), и подушка, набитая соломой. Молоденькая секретарша издательства «Пламя», стараясь хоть как-то облегчить мучения Аркадия Тимофеевича, принесла ему из дома свою подушку…

Остается необъяснимым, почему Аверченко — человек материально не бедствовавший — умирал в таких условиях?! Впрочем, в этой истории много неясного. Например, Игорь Константинович Гаврилов до сих пор считает, что его дяде «помогли умереть». Вот его слова: «Аркадий жил в Чехословакии и собирался уезжать в Америку. А это было время, когда в СССР начались репрессии. За границей „наши“ ставили вопрос о всемирном коммунизме. И, по всей видимости, наше ОГПУ было везде. В больнице положение Аверченко ухудшилось, думаю, что не само собой». Намеренно приводим мнение Игоря Константиновича — вероятно, подобные разговоры велись после неожиданной и ранней смерти писателя, тем более что он никогда не жаловался на сердце.

Многие свидетельствуют, что Аверченко не падал духом и вовсе не собирался умирать. Он все еще шутил и планировал по выздоровлении написать фельетон о больнице и чувствах лежащих в ней. Бельговский в статье «Последние дни А. Аверченко» (Сегодня. 1925. 13 марта) вспоминал об этом так:

«Те, кто знал Аверченко до этого времени, а знали его очень многие… никогда бы не узнали Аверченко в последние месяцы его болезни… внешне Аверченко изменился до неузнаваемости. Внутренне он до последнего момента оставался все тем же… и сестры, и врачи, ухаживающие за ним, не могли подходить к нему иначе как с улыбкой, для всех них у Аверченко, часто задыхавшегося, говорившего с трудом, находилась шутка, меткое слово. Вот, например, один из эпизодов. Аверченко в последнее время не любил ставить термометр. Он чересчур давил его измученное тело. Поэтому он держал его часто не так как надо, и температура нередко бывала чересчур низкой.

Однажды Аверченко пришлось повторить неприятную для него процедуру, но он сразу обратил ее в шутку, улыбнулся и сказал сидящим в это время у его кровати друзьям:

— И чего сестра недовольна, ведь 35 градусов — это еще много. Вот я раз поставил термометр вверх ногами и было всего 7 градусов, вот это действительно мало…

Он пытался излечить и самого себя здоровыми токами своего удивительного юмора, но, увы, это средство, так благотворно действовавшее на других, не помогло ему».

Когда положение стало совсем тяжелым, кто-то предложил вызвать из Парижа сестер Ольгу и Лену.

— Не стоит их тревожить, у них своя семья, а главное — визу получить трудно. Скоро поправлюсь, — ответил Аркадий Тимофеевич.

Складывается ощущение, что сестры вообще ничего не знали о его болезни. После кончины брата они просили свою пражскую приятельницу Н. В. Модрас навести справки о его последних днях.

Перед смертью писатель очень грустил и повторял навещавшим его: «Как плохо и тяжело быть одиноким… А я думал, что у меня много друзей!» Кого он имел в виду? Кому не мог простить своего одиночества? С кем хотел попрощаться? Этого мы не знаем, однако вряд ли ошибемся, если предположим, что в последние недели жизни Аверченко сожалел о том, что не женился и не имел детей. Тяжело умирать в окружении случайных людей, а их, видимо, было много.

Один из них, литератор и переводчик Додо (Дорофей Бохан) оставил такие воспоминания:

«А. Т. болел уже давно. Он умирал медленно — но безостановочно. Все посещавшие его знали, что он уже не поправится — но не всем было известно, что знал это и сам умирающий… Трудно было верить, что этот, почти без движения лежащий полутруп еще дышал всей полнотою жизни своего яркого, красочного дарования, что он продолжал творить! <…> Склероз сердца — страшная, смертельная болезнь — даже для сравнительно молодого, 40-летнего человека — и писатель, зная свою судьбу, не будучи в силах писать, рассказывал своим друзьям и своим посетителям бесконечное количество анекдотов. Как тем для „будущих“, ненаписанных рассказов… Умиравшего писателя часто приходили навещать в „немоцнице“ (больнице) знакомые и незнакомые… В последние дни допускали немногих…

Пишущий эти строки видел А. Т. за 2 недели до смерти; это был уже полутруп. Его полное, красивое лицо обратилось в страшную маску скелета, обтянутую кожей; только глаза сверкали огнем и жизнью. Он с трудом мог поднять руку — и говорил с видимым усилием… Рука была прозрачная…

И странно: он говорил анекдоты. Он смеялся! Я помню фразу Аверченко в одном из его рассказов; он назвал Ч. Диккенса, которого обожал, „смертным с улыбкою Бога на лице“… И сам —

умирал с улыбкою.

Вот анекдот, слышанный мною из уст умирающего:

— Слушай, Хаим, купи у меня товар…

— Хорошо… Только: 10 % наличными, а 90 % векселями! Идет?

— Идет.

— А какой товар и много?

— Не очень!

— Сколько?

— Два вагона: один вагон минутных стрелок к карманным часам, а другой — повидла…

— Ах, вот как! Так ты оставь себе стрелки, а мне продай вагон повидла!.. Я дам половину наличными, а только половину векселями — и самыми хорошими!..

— О-ой, ой!.. Не могу… Только оба вагона вместе… Бери разом весь товар… Его нельзя разделить…

— Да почему разделить-то нельзя?

— Э, э… Как тут разделишь, когда стрелки перемешались с повидлом!» (Додо. К кончине А. Т. Аверченко // Виленское утро. 1925. 19 марта).

Константин Бельговский посчитал своим долгом сообщить друзьям Аверченко правду о его безнадежном положении. Аркадий Бухов вспоминал: «Мы сидели и разговаривали об этом спокойно: мы просто не решались этому верить. Ведь нельзя же верить тому, что этот здоровый, всегда веселый человек, от которого на версту пахнет жизнерадостностью, лежит и умирает. Просто не вяжется представление о тяжелой болезни по отношению к этому человеку…» (Бухов Арк. Умер Аверченко// Эхо. 1925. 14 марта).

Пока друзья сидели и «не верили», наступило 8 марта, которое Бельговский назвал «днем рокового предзнаменования»: у больного произошло кровоизлияние, причиной которого стал лопнувший в желудке сосуд. Врачи еще более усилили диету.

Двенадцатого марта 1925 года в четыре часа произошло второе кровоизлияние, после которого, не приходя в сознание, в начале десятого утра Аркадий Тимофеевич Аверченко скончался.

Он не дожил двух недель до своего 45-летия.

Печальная весть быстро облетела центры русской эмиграции. Некрологи написали все бывшие коллеги Аверченко — Сергей Горный, Александр Куприн, Аркадий Бухов, Петр Пильский, Тэффи…

«Неожиданная кончина широко популярного писателя-юмориста, так преждевременно ушедшего из жизни, еще теснее смыкает круг русской писательской семьи, — скорбел Саша

Чёрный. — Кто бы ни ушел из тех, немногих, кто привлекал к себе внимание за последние десятилетия, — поэт ли, прозаик, драматург, — смены нет и не видно. <…> В эмиграции, вне окружения старого многоцветного и сочного русского быта, добродушный юмор Аверченко резко надломился. С непоколебимым упорством вгрызался он в безрадостную и бездарную тему: „большевизм“. <…> В последние годы Аверченко неутомимо бил своей легкой скрипкой по чугунным красным головам, и это невеселое, новое для него занятие является большой и доблестной заслугой покойного писателя. Разумеется, за вывернутой наизнанку сумасшедшей большевистской жизнью никому не угнаться. Любая вырезка из советской хроники фантастичнее любого гротеска самого Щедрина, но в мире все растущего эмигрантского безразличия и усталости дорого каждое слово протеста и непримиримого отрицания красной свистопляски. <…> Мы надеемся, что в эмиграции найдется русское издательство, которое догадается выпустить в свет „Избранные рассказы Аверченко“. Покойный автор отличался одним редким качеством: он почти никогда не был скучен. А избранные его рассказы, собранные внимательной рукой и связанные вместе, не залежатся на книжных складах и будут лучшей данью памяти жизнерадостного писателя и человека, который вне всяких теорий словесности простаком-самоучкой пришел в литературу и всем нам подарил немало веселых минут» (Чёрный А. Памяти А. Т. Аверченко// Иллюстрированная Россия. 1925. № 16).

В нью-йоркской газете «Русский голос» проникновенный некролог поместил Осип Дымов, так и не дождавшийся приезда своего друга в США: «Прощай, Аркадий — прощай навеки, прости… Не судить, не „писать“ о тебе сейчас хочу. Со склоненной головой пробую собрать мысли о тебе и сквозь милый свет нашей дружбы силюсь увидеть тот свет исторического смысла, который окружает и окружит твою работу, твою улыбку и твою раннюю горькую смерть на чужбине… А теперь: да будет покой и мир над твоей могилой».

Некоторые литераторы заговорили о зловещем смысле названия аверченковской пьесы «Игра со смертью». Поэт-сатирик Жак Нуар писал: «…пришло на мысль, что последняя его юмористическая пьеса „Игра со смертью“ оказалась для него символической и что в этой „веселой игре“ победила Смерть…» (Нуар Ж. Об ушедшем // Эхо. Иллюстрированное приложение. [Берлин], 1925. № 12 (85).

Хоронили Аркадия Аверченко 14 марта при большом стечении народа. Прага прощалась со своим «королем смеха»: в

витринах всех книжных магазинов были выставлены его портреты в траурной рамке и книги, вышедшие в Чехословакии. Местные газеты поместили некрологи, в которых говорилось, что из жизни ушел «самый значительный юморист России предвоенных лет» («Prager Presse»).

Панихида прошла в церкви Святого Николая (Микулаша) на Староместской площади. Отпевание совершил епископ Сергий, хорошо знавший покойного. Свой последний поклон пришли отдать представители министерства иностранных дел Чехословакии, Синдиката чехословацкой печати, Общества славянской взаимности, а также жившие в Праге писатели Евгений Чириков, Василий Немирович-Данченко. Организацию печальной процедуры взяли на себя Союз русских писателей и журналистов и эмигрантское «Братство для погребения православных русских граждан и для охраны и содержания в порядке их могил в Чехословакии», более известное как «Успенское братство».

Из каплички крематория, где происходило отпевание, гроб несли на руках до Ольшанского кладбища. В русском секторе некрополя обращал на себя внимание строящийся православный храм Успения Пресвятой Богородицы — детище епископа Сергия Пражского. Рядом с этим собором, возведенным по об-раздам новгородской и псковской древнерусской архитектуры, и обрел свой последний приют Аркадий Тимофеевич Аверченко[131]. Его тело заключили в металлический гроб и специальный футляр на тот случай, если в будущем родственники или представители русских культурных организаций пожелают перевезти останки в Россию. С правой руки покойного был сделан гипсовый слепок.

На девятый день после кончины Аркадия Тимофеевича были отслужены панихиды в православных храмах Праги, Парижа, Берлина, Риги. Состоялись вечера памяти.

Завещания Аркадий Аверченко не оставил. Никто из его родственников в Праге не появлялся, поэтому Вячеслав Швиговский и Константин Бельговский решили самостоятельно урегулировать наследственные формальности. Первый был назначен опекуном над имуществом покойного и защитником его авторских прав, второй вел постоянную переписку с сестрами Аверченко Ольгой и Еленой, жившими в Париже.

Была составлена опись имущества (то есть того, что осталось в больнице и в номере «Zlata Husa»): три кожаных чемодана, две корзины, портфель, шесть мужских рубашек, девятнадцать галстуков, зимнее пальто, термометр, бинокль, зажигалка, пенсне — всего 75 наименований на сумму 2605 крон. Опись рукописей заняла 27 страниц. По заключению экспертизы литературного

наследия А. Т. Аверченко, составленному переводчиком Винценцем Червинкой 14 января 1926 года, стоимость авторских прав была определена в 22–25 тысяч чешских крон. Все бумаги писателя были сложены в корзину в восьми папках: 109 рассказов, 20 пьес, 100 страниц разрозненных отрывков и пр. Согласно постановлению Пражского окружного суда, общая сумма наследства составила 48 тысяч чешских крон.

Много это или мало? Как мы помним, один литературный гонорар Аверченко в период с июня 1922-го по сентябрь 1923 года составил 80 300 крон, то есть в 1,6 раза больше, чем вся сумма, оставшаяся после его смерти…

Акт о передаче наследства был вручен 31 марта 1927 года В. Ф. Швиговскому. Половину наследства получила мать писателя, а вторая половина была разделена в равных долях между его пятью сестрами. (В это же время произошел курьез с таинственным сыном Аркадия Аверченко, о котором мы рассказывали читателю в первой главе.)

Как утверждает Игорь Константинович Гаврилов, его мама вместе с бабушкой действительно ходили на почту и получали какие-то деньги. На вопрос: до каких пор отчисления приходили? — он ответил: «Не помню. Но, скорее всего, до конца 30-х годов, когда отца арестовали. А потом мы и фамилию эту боялись называть».

Как сегодня обстоят дела у потомков сестер Аверченко за рубежом (и есть ли они?), неизвестно. Что же касается прямых российских наследников — Игоря Константиновича и его семьи, то никаких отчислений от реализации и переиздания произведений Аверченко они не получают.

Архив писателя в декабре 1928 года был отправлен в Париж его сестре Ольге Фальченко (которую Аркадий Тимофеевич выдавал замуж во врангелевском Крыму). Ольга хранила архив до своей кончины в 1965 году. Она же поддерживала связь с сестрой Леной Ростопчиной (графиней). Обе вплоть до середины 1930-х годов продолжали переписываться с родными, оставшимися в Севастополе, и даже ухитрялись посылать им посылки. Известно, что сын Ольги, Иван Григорьевич Фальченко, скончавшийся в период 1952–1962 годов, был похоронен на Русском кладбище имени королевы эллинов Ольги в Пирее, но могила не сохранилась.

Как сложились судьбы других сестер и матери Аркадия Аверченко, мы знаем благодаря племяннику писателя Игорю Константиновичу Гаврилову.

Сусанна Павловна Аверченко (мать писателя) пережила сына на десять лет и скончалась в 1935 году в Севастополе

(похоронена на старом городском кладбище на улице Пожарова; могила ее утеряна).

Младшая сестра Неонила (которую Аркадий Тимофеевич тоже когда-то выдавал в Севастополе замуж за комиссара) в начале 1920-х годов умерла от тифа.

Старшая сестра писателя Любовь Тимофеевна, которая вырастила его и научила читать, в первые месяцы Великой Отечественной войны была депортирована как жена грека из Севастополя на Урал. Там она и скончалась. Сегодня в Москве живут ее праправнучки Алексия и Ольга.

Сестра Мария Тимофеевна, которая когда-то увезла младшего брата Аркадия из Севастополя на Брянский рудник, всю жизнь там и прожила. Мария Тимофеевна хранила теплые воспоминания о брате, берегла три его портрета-открытки и фотографию могилы. Она много рассказывала о нем своим донбасским сослуживцам. От одного из них, А. С. Теплова, в 1970 году правление Союза писателей СССР получило такое письмо: «… мне из Донбасса прислали три открытки и одну фотографию памяти Аркадия Аверченко. По соседству со мной жили сестра и племянник Аверченко. Сестра Мария Тимофеевна Терентьева и племянник Михаил Иванович в 60-е гг. умерли, и осталось кое-что из памяти о брате и дяде. До революции Аверченко жил в г. Севастополе, о чем неоднократно рассказывали и Мария Тимофеевна, и Михаил Иванович. О брате своем она часто вспоминала. Больше чем эти открытки, у нее ничего не было. Аверченко я не знаю ни лично, ни по его трудам… На двух открытках фото Аверченко, на четвертой могила в Праге, где он захоронен… Сообщите мне, если это ценные реликвии». Сегодня документы, переданные А. С. Тепловым, хранятся в изофонде Государственного литературного музея в Москве. Мария Тимофеевна умерла на Брянском руднике. Ее дочь и сын детей не имели, эта линия прервалась.

Сестра Надежда Тимофеевна, мама ныне здравствующего Игоря Константиновича Гаврилова, в 1923 году родила второго сына, Глеба, который внешне был очень похож на Аркадия Аверченко (сравнение фотографий это подтверждает). Муж Надежды Тимофеевны — бывший офицер царской армии — в конце 1930-х годов был арестован и выслан из Севастополя как «враг народа», оказался в Казахстане, а его высланная семья в итоге поселилась в Москве. В первые годы войны они воссоединились.

Оба сына Надежды Тимофеевны стали учеными.

Глеб Гаврилов имел научную степень доктора физико-математических наук, был профессором Московского

энергетического института. Сын Глеба Гаврилова Дмитрий живет в Москве.

Игорь Константинович — кандидат технических наук, автор 50 работ по закрытой тематике. После выхода на пенсию — в 86 лет! — он занимается проблемами геронтологии. Свои статьи в медицинских журналах печатает под литературным псевдонимом Гаврилов-Аверченко.

У Игоря Константиновича Гаврилова двое детей: сын Алексей ныне проживает в поселке Ровдино в Архангельской области. Дочь Наталия, профессор Московского государственного педагогического университета, имеет двух дочерей — Екатерину и Веру.

После того как в 1940 году Севастополь покинула семья Надежды Тимофеевны, в городе не осталось никого из Аверченко. Другие люди въехали в их дом, а военные события 1941–1942 годов стерли его с лица земли[132]. Улицы Ремесленной, на которой жил и сам писатель в детстве, и его родственники, больше нет. В Одесский овраг, где она находилась, в 1950-е годы свозили весь мусор от расчистки разрушенного Севастополя. В 1956 году овраг полностью засыпали, и теперь родная улица Аверченко… под землей. На ее месте — детский парк и центральный рынок.

Итак, закончился жизненный путь Аркадия Тимофеевича Аверченко: севастопольского «карантинского босяка», петербургского «короля смеха», чехословацкого «русского Гашека». Но не оборвался путь творческий! У литературного наследия писателя сложится собственная судьба, полная взлетов и падений, но в итоге — счастливая.

# Глава девятая. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Память о «короле смеха» Аркадии Аверченко еще долго жила в среде русских эмигрантов. Его книги продолжали выходить в Германии, Франции, Польше.

Двенадцатого марта 1930 года, в пятую годовщину со дня смерти писателя, епископ Сергий Пражский отслужил панихиду на его могиле. Пришедших огорчило то, что до сих пор нет надгробия, однако Константин Бельговский («Косточка», любимый друг Аверченко) сообщил, что закончен сбор средств на памятник и его установка планируется к концу года. И действительно, 26 декабря стараниями чешско-русского общества «Мир» на могиле Аркадия Аверченко была установлена стела из белого мрамора с надписями на русском и чешском языках. На ее открытии было людно. Председатель общества «Мир» произнес речь, в которой, в числе прочего, сказал: «Чешские и русские члены общества решили увековечить память русского писателя до тех пор, пока Россия сама не почтит память деятелей, служивших ее культуре и прославлению ее имени во всем мире» (Б. Конст. [Бельговский К. П.] Открытие памятника на могиле А. Т. Аверченко // Сегодня. 1930. 30 декабря).

Впоследствии поклонники Аверченко присылали деньги на поддержание его могилы. Средства поступали на имя Николая Ивановича Астрова, сменившего В. Ф. Булгакова на посту председателя Союза русских писателей и журналистов. Так, в РГАЛИ хранится чек на 80 крон, пожертвованных в 1931 году некоей Жозефиной Л. из Ревеля. Женщины не забывали своего кумира!

В 1930 году вечера памяти Аркадия Тимофеевича Аверченко прошли в Праге, Париже, Берлине, где сатириконец Сергей Горный произнес прочувствованную, образную и немного сумбурную речь, которую напечатала берлинская газета «Руль». Волнение Горного объяснимо. Напомним, что он, единственный из коллег, кто знал Аверченко с юных лет, познакомившись с ним еще в 1890-х на Брянском руднике.

«Аверченко ходил меж нас — солнечный увалень, с душой, словно вечно щурящейся от смеха… — говорил Сергей Горный. — До самых последних — так нежданно, так жестоко наступивших последних дней, он был одинаково мягок и ровен со всеми. Что в нем было самым необыкновенным?.. Свежесть. В этом разгадка этого удивительного, хрустящего на зубах, как арбуз с хохлацкой бахчи, таланта. Он подходил ко всему попросту, не надуманно, и этой свежестью покорял. Умение посмотреть со стороны, по-

смешному и по-новому увидеть — ведь в этом и есть основа юмора.

Таким Аверченко был всегда. Книжки его: крепкие, крутые, на солнце рожденные, — не преходящее „веселое“, не только „смешное“, но уже историческое отделение нашей библиотеки. Нет, они должны дождаться руки бережной, руки любящей, которая их опять переплетет, соберет, соединит и издаст „Полным собранием сочинений“» (Горный С. Памяти А. Т. Аверченко // Руль. 1930. 28 апреля).

Не менее, чем о появлении собрания сочинений Аркадия Аверченко, русские эмигранты мечтали о возрождении «Сатирикона». Эта идея «витала в воздухе»: большинство бывших сотрудников журнала оказались в Европе. Наконец, в 1931 году на отчаянное предприятие решился Михаил Корнфельд[133], живший в Париже. Он возобновил выпуск журнала, поручив его редактирование Дон Аминадо и пригласив талантливых авторов: В. Азова, И. Бунина, В. Горянского, С. Горного, Б. Зайцева, А. Куприна, Сашу Чёрного, художников К. Коровина и А. Бенуа, М. Добужинского, И. Билибина. Дело было поставлено с размахом: подписка на журнал и его продажа осуществлялись в Австрии, Англии, Германии, Голландии, Дании, Греции, странах Прибалтики, Турции… Однако без Аверченко ничего не получилось. Парижский «Сатирикон» не имел успеха. Читателям он запомнился главным образом перепечаткой первых четырнадцати глав «Золотого теленка» Ильфа и Петрова (с подзаголовком «Роман из советской жизни»). Всего вышло 28 номеров; на том дело и кончилось.

Десять лет спустя после кончины Аркадия Аверченко, в 1935-м, его вновь вспоминали поклонники и друзья. В эмигрантских газетах появился ряд публикаций. В одной из них Н. Н. Брешко-Брешковский утверждал: «Читатель не забыл Аверченко. Растет новый читатель среди молодого поколения. В отчетах двухсот пятидесяти библиотек эмигрантского зарубежья Аверченко стоит на одном из первых мест» (Брешко-Брешковский Н. Н. А. Т. Аверченко. К десятилетию со дня смерти русского юмориста // Иллюстрированная Россия. 1935. № 13).

Парижский журнал «Иллюстрированная Россия», напечатавший статью Брешко-Брешковского, в том же году выпустил две книги Аркадия Аверченко: «Чудеса в решете», «Подходцев и двое других».

А дальше… была Вторая мировая война. Многие из тех, кто лично знал Аркадия Тимофеевича и писал о нем, ее не пережили. Во время гитлеровской оккупации в Риге умер от инсульта Петр Пильский; в 1943 году погиб под бомбежкой в Берлине Николай

Брешко-Брешковский. В 1945 году, вскоре после освобождения Праги советскими войсками, сотрудниками НКВД был арестован и вывезен в СССР Константин Бельговский (дальнейшая судьба этого светлого человека неизвестна). В 1948 году скончался в Мадриде Сергей Горный. Несколько ранее, в 1932 году, в местечке Лаванду на юге Франции умер Саша Чёрный. В 1952 году не стало в Париже Надежды Александровны Тэффи.

Уходили сатириконцы — те, кто помнил Аркадия Аверченко. Один только Николай Ремизов (Ре-Ми), бывший когда-то Арамисом в «мушкетерской» компании, дожил до глубокой старости — он умер в 1975 году в Палм-Спрингс (Калифорния). Имя этого художника (в американской версии — Nicolai Remisoff) было широко известно в артистических, кинематографических и телевизионных кругах США. В 1943 году Ре-Ми встретился в Нью-Йорке с Евгением Искольдовым. Они вместе работали над представлением оперы «Сорочинская ярмарка» на сцене Метрополитен-опера. К этому времени Искольдов уже жил не с Раисой Раич, а с оперной певицей Кирой Вэйн (как сложилась судьба Раич, выяснить не удалось; Искольдов же в 1956 году покончил с собой).

Ни Искольдов, ни Ре-Ми ничего не написали о своем друге Аркадии. В 1960-е годы его имя вернул из забвения совершенно посторонний человек — американец русского происхождения Димитрий Александрович Левицкий. Казалось бы, не было никаких причин для того, чтобы именно этот исследователь занялся изучением биографии и творчества Аверченко. По образованию Левицкий был юристом, но его настолько привлекала филология, что он в 56 лет (!) поступил на славянское отделение Пенсильванского университета в Филадельфии, а впоследствии защитил докторскую диссертацию. Тему научной работы подсказал профессор Мечислав Гергелевич, читавший курс о композиции короткого рассказа. Этот преподаватель не только «заразил» Левицкого творчеством Аркадия Аверченко, но и помог получить разрешение писать и защищать диссертацию на русском языке.

Работая над библиографией, Димитрий Александрович посещал русские книжные магазины в Нью-Йорке и Райстер-тауне под Вашингтоном, принадлежащие эмигранту Виктору Камкину. Возможно, именно Левицкий, увлеченный Аркадием Аверченко, подал Камкину идею выпустить к 80-летию писателя сборник его произведений. Идея была воплощена в жизнь — в 1961 году Камкин издал «Избранное» Аверченко. Левицкий же продолжал активную работу. Он разыскал тех сатириконцев и родственников писателя, кто еще был жив. 17 сентября 1964 года исследователь

встречался в Париже с Михаилом Германовичем Корнфельдом. В Париже он также посетил сестру Аркадия Аверченко Ольгу и первым, спустя сорок лет (!) после смерти писателя, работал с его архивом. Затем Левицкий нашел адрес жившего в США Ре-Ми и переписывался с ним.

Результатом кропотливого труда ученого стала диссертация «Жизнь и литературное наследство Аркадия Аверченко» (1969). Первую ее часть — биографическую — в 1973 году выпустил все тот же Виктор Камкин, которого за размах издательского дела называли «американским Сытиным». Предисловие на английском языке написал научный руководитель Левицкого, профессор М. Гергелевич. Эта книга об Аркадии Аверченко не прошла незамеченной: на нее дали отзывы практически все эмигрантские издания. Рецензенты были единодушны в том, что исследование Д. А. Левицкого — полноценное, авторитетное и исключительно интересное. Однако пройдет еще несколько десятилетий, прежде чем этой работой заинтересуются в России. Это произойдет в 1990-х годах. В это же время о «русском Гашеке» вспомнит Прага.

Полувековое забвение имени Аверченко в Чехословакии объясняется тем, что большинство русских эмигрантов «первой волны» покинули страну в 1945 году, опасаясь прихода советских войск. После войны республика взяла курс на строительство социализма — кому теперь был нужен «белогвардеец» Аверченко? Его заброшенная могила постепенно зарастала травой. В 1960-е годы советский писатель-сатирик Григорий Рыклин, оказавшийся в составе туристической группы на Ольшанском кладбище, вспоминал: «…как я был поражен, очутившись перед одной запущенной могилой. Как?! Неужели это он? Неужели он здесь, на окраине чехословацкой столицы? Сомнений быть не может. На пожелтевшей, слегка треснувшей мраморной доске буквы, которые когда-то были похожи на золотые, рассказывают коротко и ясно: „Здесь покоится русский писатель А. Т. Аверченко“».

1990-е годы стали временем демократических перемен в Чехии. В 2001 году пражская газета «Русская Чехия» выступила с инициативой поместить мемориальную доску на здании отеля «Zlata Husa», а также назвать одну из улиц именем Аркадия Аверченко. Мы не знаем, увенчались эти начинания успехом или нет, но они, безусловно, благородные.

О том, насколько Аркадий Аверченко сегодня дорог русской общине Праги, красноречиво говорит история, произошедшая весной 2009 года. Член Общественной палаты Российской Федерации Борис Якеменко отправил запрос в российское посольство в Чехии о возможности перезахоронения останков писателя в Москве. Чешские дипломаты отреагировали

негативно, заявив, что русская община Праги ухаживает за могилой и не видит никаких оснований для ее переноса куда-либо. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Чехии Алексей Келин утверждал, что Аркадий Аверченко очень дорог пражанам и «для многих представителей русской эмиграции его имя и сегодня остается тесно связанным с городом, куда привела его судьба». Председатель общественной организации «Русская традиция» Игорь Золотарев выразил «свое несогласие с бытующей ныне модой на возвращение на историческую родину, в равной мере как праха отдельных представителей, так и многих исторических и архивных материалов русской эмиграции»[134].

Да, «историческая родина» Аркадия Аверченко только через 80 лет вспомнила о его могиле, а судьба его творчества в России вообще была нелёгкой. Мы постарались проследить ее, прибегнув к несложной хронологии.

**1920–1950-е годы**. В 1920-е годы советские издательства, руководствуясь ленинской оценкой («Талант нужно поощрять»), тысячными тиражами выпускали книги Аверченко. Цифры говорят сами за себя: в период с 1927 по 1930 год было выпущено 26 изданий. Авторы предисловий, с одной стороны, называли писателя «петрушечником и наследником Смердякова» (А. Старчаков), а с другой — не могли не признать его таланта: «Аверченко несправедливо считают мастером литературы для вагонного чтения: не классик, конечно, он рассыпает зачастую незаурядные блестки юмора…» (А. Зорич).

Однако массовый читатель постепенно начинал забывать Аверченко: складывался новый быт. У советского народа появились свои юмористы и сатирики, писавшие на злобу дня: Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Кольцов, Пантелеймон Романов, Михаил Булгаков, Валентин Катаев. Все эти писатели выросли на «Сатириконе», поэтому многие их произведения пропитаны иронией в духе Аверченко.

Филолог А. П. Долгов, защитивший в 1980 году кандидатскую диссертацию «Писатели-сатириконцы и советская сатирико-юмористическая проза 20-х годов» (М.: МГПИ имени В. И. Ленина), пришел к выводу, что наибольшие аллюзии на Аверченко прослеживаются в сатирико-юмористической прозе Ильфа — Петрова. В контексте непосредственного заимствования Долгов сравнивал, к примеру, рассказы Аверченко «Индейка с каштанами» и Ильфа — Петрова «Непременный спортсмен». Все зощенковеды согласны с тем, что «Голубая книга» (1934) появилась под влиянием «Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом“ под его углом зрения». Связь между этими

произведениями подметили многие читатели 1930-х годов, и кто-то из них изрек афоризм: «Зощенко — это Свифт, которого приняли за Аверченко». Переклички с Аверченко есть и у Михаила Булгакова (достаточно вспомнить эпизод из «Театрального романа», в котором Максудова характеризуют как «самого обыкновенного Аверченко»). Даже при первом знакомстве с текстом романа «Мастер и Маргарита» специалист обнаружит аверченковские мотивы. К примеру, описание времяпрепровождения Воланда и свиты в главах «При свечах» и «Извлечение Мастера» имеет несомненные аллюзии с аналогичными сценами в «Шутке Мецената» (вплоть до шутовской игры в шахматы!).

Для молодых сатириков 1920-х годов и сам Аверченко, и все бывшие сатириконцы были непререкаемыми авторитетами. Огромным почетом были окружены те, кто остался в СССР и продолжал работать в журналистике. «Живой легендой» называли художника Алексея Радакова. Напомним читателю, что в 1918 году, когда владельцы «Нового Сатирикона» бежали из Петрограда, именно ему пришлось вернуться для ликвидации типографии журнала. Так он и остался в Советской России. В годы Гражданской войны Радаков создавал «Окна сатиры РОСТА», оформлял спектакли авангардистов в петроградском ГБДТ, в 1919 году издавал детский журнал «Галчонок», рисовал для созданного Максимом Горьким детского журнала «Северное сияние» и даже основал в Петрограде артистический кабачок «Петрушка», который сам и оформил. Многим со школьной скамьи знаком плакат Радакова эпохи военного коммунизма — «Неграмотный — тот же слепой…» (1920): крестьянин с завязанными глазами и вытянутыми вперед руками вот-вот шагнет в пропасть…

После окончания Гражданской войны Алексей Александрович рисовал карикатуры и шаржи для журналов «Лапоть», «Бегемот», «Бич», «Смехач», «Безбожник». В 1930-е годы он стал одним из ведущих художников «Крокодила». Судя по воспоминаниям жены художника Михаила Черемных, и в эти годы Радаков сохранял те же («портосовские») черты характера, за которые его когда-то очень любил Аркадий Аверченко:

«Москва. <…> Раннее утро. <…> И вдруг… навстречу нам выезжает экипаж. На потертом сиденье в лучах восходящего солнца, как в ореоле, перед нами настоящий тореадор. Широкополая шляпа. Кольца темных волос. Маленькие баки. Великолепный горбатый нос. Тореадор сидит, широко расставив ноги. В вытянутых руках он держит перед собой бутылку с вином и огромную целую колбасу. Все радостно закричали: „Давай! Давай! Поворачивай!“ — Извозчик повернул. Мы все поехали

дальше. Так впервые я увидела художника Алексея Александровича Радакова. Впоследствии он очень часто приходил в нашу маленькую квартиру в Глинищевском переулке и заполнял ее своей большой фигурой, громким голосом: „Дети мои! Мишель, римский патриций! Прекрасная дама, ручку!“ — и своими рассказами об Италии, о Париже, где он учился в академии. <…>

В шестнадцатиметровой комнате, где Радаков жил с женой, царил… совершеннейший беспорядок. Все было завалено рисунками, живописными полотнами. Тут же часто сидели натурщики. Радаков писал их и всегда что-нибудь напевал. На табуретке стояла бутылка с красным вином. Радаков говорил: „Тот, кто жил во Франции, не может обходиться без вина“. Масса у него бывало народа и особенно молодежи. Их всех Радаков называл „старики“. Был он доступен, прост, интересен. Многим молодым много дал. <…> Колоритнейшая фигура Радакова всегда обращала на себя внимание» (Черемных Н. А. Алексей Александрович Радаков / Мастера советской карикатуры. М., 1978).

Последние работы Радакова были посвящены борьбе с фашизмом. С началом Великой Отечественной войны он рисовал плакаты для «Окон ТАСС». Один из них, созданный в июне 1941 года, был широко известен, а название его — «Болтун — находка для шпиона» — стало крылатым. Умер Радаков в 1942 году в эвакуации, в Тбилиси, имея репутацию авторитетного художника, мастера.

«Конкурентом» Радакова в рассказах о сатириконском прошлом в 1927 году стал вернувшийся из эмиграции Аркадий Бухов. Бухов сразу же занял подобающее ему место: был принят в Союз писателей, с 1934 года заведовал литературным отделом «Крокодила». Писатель-юморист Леонид Ленч в предисловии к переизданию буховских «Юмористических рассказов» (М., 1959) вспоминал:

«Он (Бухов. — В. М.) был превосходным журнальным работником. Работоспособность его была поразительной. В случае необходимости он один в фантастически короткий срок мог сделать весь номер журнала: придумать темы для рисунков, написать рассказ, фельетон, заметку, подписать карикатуры. И все это легко, без лихорадочной спешки, без натуги, как бы играючи.

Мы, молодые тогда, начинающие сатирики и юмористы, только ахали, глядя на него:

— Вот это техника!»

Далее Ленч вспоминал о том, что Бухов любил молодежь и

часто рассказывал забавные истории из жизни дореволюционных литераторов. При этом он сам много смеялся, и иногда до слез. Когда смеялся — весь трясся и морщил нос, становясь похожим на большого, толстого, симпатичного кота. А глаза не смеялись — в них была горечь.

Валентин Катаев, тоже печатавшийся в «Крокодиле», вспоминал о Бухове: «Мы вместе написали несколько веселых пародий и фельетонов, причем Аркадий Бухов всегда играл первую скрипку. Все самое смешное было придумано им. Он по праву занимает место рядом с Ильфом — Петровым и Зощенко» (Катаев В. Все самое смешное было придумано им // Вопросы литературы. 1967. № 8).

Бывшие сатириконцы погрузились в совершенно новую, советскую журналистскую реальность. Вспоминали ли они хоть иногда своего шефа Аркадия Аверченко?

Да, вспоминали. В конце 1920-х годов работал над мемуарами «Записки старого журналиста» О. Л. Оршер. Много рассказывал об Аверченко своей жене Е. Л. Гальпериной Алексей Радаков. Впоследствии она написала интереснейшие мемуары, рукопись которых хранится в Российской государственной библиотеке. Сам Радаков, как мы уже знаем, усидчивостью не отличался, поэтому его воспоминания должен был кто-то записать. С этой задачей в 1940 году успешно справился литературовед Василий Абгарович Катанян (биограф Владимира Маяковского и последний муж Л. Ю. Брик). В 1930-е годы воспоминания о «Сатириконе» сел писать поэт Василий Князев. Часть его рукописи — глава «Радаков и Аверченко» — хранится сегодня в РГАЛИ. Судя по ее содержанию, Князев и в 1930-е годы не мог успокоиться и продолжал чернить своего покровителя Аверченко, а бывших коллег-сатириконцев называл «литературной сволочью» и «обер-клоунами невских панелей». В 1939 году закончил работу над большим очерком «Сатириконцы» Ефим Зозуля.

Из всех названных нами воспоминаний была опубликована только рукопись Оршера (1930). В последующее десятилетие никакая работа, в которой упоминалось бы имя Аркадия Аверченко, увидеть свет больше не могла. Роковую роль в посмертной судьбе писателя сыграл Максим Горький. Именно он когда-то не признал у молодого юмориста из Харькова таланта, и именно он во вступительном докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей (1934) окончательно «похоронил» его, назвав представителем «чисто мещанской литературы». Этого оказалось достаточно для того, чтобы имя Аверченко было предано забвению. Его книги отныне пылились в спецхранах

центральных библиотек, и получить доступ к ним могли только самые «благонадежные» исследователи. Изъятию из библиотек подлежали все сборники писателя, вышедшие после 1917 года, а также издания 1920-х годов, в которых «слишком обильно» цитировался Аверченко. В числе последних в спецхран библиотеки Музея В. И. Ленина попала упомянутая нами в пятой главе книга Н. Мещерякова «На переломе. Из настроений белогвардейской эмиграции» (М.: Госиздат, 1922).

Кто сыграл «роковую роль» в судьбе друга Аверченко — Бухова, неизвестно. 29 июня 1937 года в своей московской квартире (по адресу: Москва, Малый Афанасьевский переулок, 1/33) он был арестован. 7 октября того же года Бухов был приговорен ВК ВС СССР к высшей мере наказания по обвинению в шпионской деятельности и расстрелян в тот же день. В связи с этим небезынтересно привести фрагмент письма, отправленного Союзом советских писателей СССР наркому внутренних дел Николаю Ивановичу Ежову 5 сентября 1937 года с грифом «Секретно»: «Многие члены Союза Советских писателей остро нуждаются в жилплощади, а многие из них ввиду сноса домов, в порядке реконструкции Москвы остались и остаются совсем без площади. <…> За последнее время органами НКВД арестован в Москве ряд писателей — членов и кандидатов Союза Советских Писателей. Правление Союза Советских Писателей СССР просит Вас разрешить использовать для заселения писателями — членами Союза — следующую площадь, освободившуюся вследствие ареста: <…> 19. БУХОВА А. — М. Афанасьевский п. д.1»[135]. Всего список включал двадцать одну фамилию. Так невольно и вспомнишь булгаковский афоризм о москвичах и квартирном вопросе. 7 июля 1956 года Аркадий Сергеевич Бухов был реабилитирован посмертно.

Тридцать седьмой год не пощадил и «красного Беранже», искреннего певца советской власти Василия Князева, который был арестован в своей ленинградской квартире на улице Рубинштейна, 15/17 (где с 1913 по 1918 год жил и Аркадий Аверченко). Он был осужден по обвинению в проведении контрреволюционной агитации и приговорен к пяти годам лишения свободы. Князев умер от острой сердечной недостаточности во время этапирования из Магаданского пересыльного пункта в ОЛП Мальдяк.

Вплоть до середины 1950-х годов о сатириконцах если и говорили, то с оттенком пренебрежения, а имя Аркадия Аверченко если и упоминалось, то в сравнении: дореволюционный сатирик — советский сатирик. Самуил Маршак в статье начала 1940-х годов «О нашей сатире» отмечал:

«Подумать только — у наших сатириков сегодняшнего дня такие предки, как Эразм из Роттердама и Свифт, Вольтер и Беранже, Гоголь, Салтыков и Чехов. Вольно же нам отказываться от всей этой блестящей галереи предков и заменять ее одной фотографической карточкой Аркадия Тимофеевича Аверченко. Нечего и говорить, Аверченко был талантливым писателем, а в последние годы жизни, когда предметом его юмора сделался он сам и его собратья-эмигранты, этот юмор стал глубже, горячей, достиг остроты сатиры. Но все же не у Аверченко должны мы учиться. Даже от самых лучших его страниц отдает некоторым самодовольством и обывательщиной, Дононом (название ресторана. — В. М.) и скетинг-ринком протопоповских времен. Наш Зощенко имеет больше прав на место в ряду русских сатириков. Мысли его серьезнее, литературные задачи крупнее, а стиль своеобразнее. <…> Сатирические стихи Маяковского своим пафосом, силой, неожиданностью и свежестью мысли далеко оставили позади „Сатирикон“, в котором он сам же работал смолоду».

**1960–1970-е годы**. Но вот наступила хрущевская оттепель, которая буквально обрушила на советских читателей забытые книги и имена. Начался «булгаковский» бум, «ильфо-петровский». Вспомнили и об Аверченко. В 1962 году впервые после длительного перерыва в «Правде» появился его рассказ о художниках-модернистах «Крыса на подносе», который год спустя был экранизирован на «Мосфильме». Востребованным оказался именно этот рассказ, так как в стране шла борьба с абстракционизмом в живописи… Сергей Довлатов в письме актрисе Тамаре Уржумовой от 1 июля 1963 года утверждал, что Аверченко — «лучший советский юморист» (почему советский — непонятно), которого «достать почти невозможно» (Довлатов С. Девять писем к Тамаре Уржумовой // Звезда. 2000. № 8). В 1964 году, после более чем тридцатилетнего перерыва, в Москве были переизданы книги Аверченко «Юмористические рассказы» и «Оккультные науки». Они были раскуплены мгновенно.

В 1966 году произошло значительное событие: в СССР вернулся архив Аркадия Аверченко. К этому времени сестра писателя Ольга, хранившая архив в Париже, скончалась. Ее муж согласился передать имеющиеся у него материалы советскому искусствоведу, журналисту и коллекционеру Илье Самойловичу Зильберштейну, а тот привез их в Москву и передал в РГАЛИ (тогда — ЦГАЛИ) на спецхранение.

В 1960-е годы о сатириконцах стало можно не только говорить, но и писать. Целый этап в изучении творчества Аркадия Аверченко и его коллег связан с именем Лидии Алексеевны

Евстигнеевой (Спиридоновой), защитившей в 1964 году кандидатскую диссертацию по теме «Русская сатира в 1907–1917 гг. и поэты „Сатирикона“». По инициативе этой исследовательницы в 1966 году вышел в свет сборник «Поэты „Сатирикона“»; в 1968-м — монография «Журнал „Сатирикон“ и поэты-сатириконцы»; в 1977 году — монография «Русская сатирическая литература начала XX века».

Об Аркадии Аверченко появились не только научные труды, но и художественные произведения. Ленинградский писатель Виктор Конецкий в предисловии к своей повести «Огурец навырез» (начатой в 1974-м и завершенной в 1998 году) рассказал о том, как его потрясла заметка в газете о бедственном положении могилы Аверченко, за которой никто не ухаживает. Героя его повести это известие вкупе с неприятностями на работе ввергло в жестокий запой. Однажды утром, «поправившись» от жуткого похмелья «омерзительным десятирублевым грузинским коньяком», он открыл дверь нежданному гостю:

«На пороге стоял господин. Трудная для словесного описания физиономия. Раздобревшее лицо, пенсне, волнистые волосы. Овал мягкий, женственный. Толстые губы и плотные плечи, твердые большие уши. Глазки маленькие, но цепкие. <…> Ярко-красный галстук и темно-серая рубашка гостя отменно сочетались с белизной чесучового, несколько старомодного костюма.

— Аверченко, — представился гость.

— Слушайте, вы же умерли… в тридцать седьмом году… в Праге…

— Это вас не касается. А умер я в двадцать пятом.

Я сказал, что могу предложить ему кофе, потому что все западные писатели с утра пьют кофе. Спрятать пустые бутылки я не успел, так же как и убрать постель, и потому провел Аркадия Тимофеевича на кухню. Предложил венский стул и дрожащими руками сотворил ему бутерброд. <…> Он, конечно, гость, а я хозяин. Надо сдерживаться. Но он с того света гость, а мы все — гости на этом. <…>

— Вы с утра водку пьете? — спросил я гостя».

В неторопливой беседе за рюмкой водки Аверченко вдруг, откашлявшись, сказал:

«— Просьба у меня к вам, голубчик… <…> Свозите меня на Волково кладбище. Можете вы себе это позволить?

— Могу. Что, уже заскучали на поверхности?

— Погребение, молодой человек, это как долголетнее одиночное заключение. Как горько я плакал, будто предчувствуя свою могилу, читая в пятом номере „Красного архива“ о Нечаеве в Алексеевском равелине… Какую отраду доставляют покойнику

сияние звезд или парящее в небе облако… Но! Вылезешь, бывало, из могилы, и не нужны тебе никакие облака. Ты — на чужбине. А душа сокрушена тоской по родине, вечной тоской, неизбывной, из сердца сочащейся. Ни вино, ни гашиш не спасут, не облегчат, усилят только. Сознательно с ума сойти душа жаждет, чтобы биться в смирительной рубашке, кусаться и орать, зверино орать: „Россию дайте, сволочи-и-и!!! Кусочек Руси!“

Я налил еще водки.

— Так вы… приехали, чтоб примериться к своему возможному погребению здесь, в болотистой питерской земле?

— Именно»[136].

Заинтересовались Аркадием Аверченко советские кинематограф и телевидение. В 1967 году по Центральному телевидению был показан «Телевизионный театр миниатюр А. Аверченко.„…Лет тому назад“». В 1976 году на советские экраны вышел телеспектакль «По страницам „Сатирикона“» (режиссер — Е. Ануфриев).

**В 1980–1990-е** годы доступными стали антисоветские произведения Аверченко, которые совершенно потрясли читателей. И все вдруг оживились: кто такой этот Аверченко? Что еще он написал? А где он похоронен? На волне этого повышенного интереса на родине писателя была поднята тема спасения его могилы в Праге. В 1988 году в «Известиях» опубликовали статью «Ольшаны: другое кладбище», в которой сообщалось, что сама возможность дальнейшего существования могилы под вопросом. Вскоре, 13 августа 1988 года, в газете появился отзыв некоего В. А. Полякова «Кому нужна могила Аверченко»:

«…тронула меня судьба могилы замечательного русского писателя-сатирика Аркадия Аверченко. <… > Этого писателя помню с детства по книге „Круги по воде“ (по-моему, она так называлась), в которой я впервые познакомился с удивительным юмором этого человека.

К сожалению, как я узнал позднее, он был запрещен и послужил одним из обвинений моему отцу в 1937 году. Всю жизнь я помнил рассказы этого удивительного человека, и вдруг узнаю о таком горе для русских людей. Я написал директору пражского предприятия „Похоронная служба“: „Сколько стоит аренда могилы Аверченко?“ 30.1.1989 г. я получил ответ директора Михаила Эпштейна. Он написал: „Аренда могилы Аверченко, расположенной на втором округе № 19–57, до половины марта 1995 г. стоит 44 рубля“.

Я знаю, что ни Союз Писателей, ни другие общества, пока им не дадут указание „сверху“, не будут беспокоиться о таких

„мелочах“, поэтому я взял 44 рубля и решил перевести их на счет Ольшанского кладбища. Сейчас я с горечью и обидой вспоминаю, как я бегал по различным „инстанциям“, где на меня смотрели, как на ненормального.

Спасибо, мне помогли в генеральном консульстве Чехословацкой Социалистической Республики. 21 февраля 1989 г. от меня приняли деньги в сумме сорок четыре рубля за аренду могилы А. Аверченко, которые были переведены на счет Ольшанского кладбища. <…> Итак, аренда могилы А. Аверченко продлена до половины марта 1995 года — а дальше? Кто побеспокоится, кроме меня, — если я доживу до этого года. Союз писателей, общество книголюбов, Фонд культуры или еще кто?»

Времена, к счастью, меняются. Сегодня могила Аркадия Тимофеевича Аверченко содержится в идеальном порядке. Здесь часто бывают туристы из России, ухаживает за захоронением и отец Сильвестр, настоятель православного храма Успения Пресвятой Богородицы, расположенного рядом. Тех читателей, кто зайдет в церковь поставить свечку за упокой души Аркадия Аверченко, просим остановиться у входа и обратить внимание на мемориальную доску в память об эмигрантах, репрессированных НКВД во время послевоенных «чисток». Вспомните здесь и Константина («Косточку») Бельговского…

**1990-е — начало 2000-х годов** смело можно назвать эпохой возвращения «короля смеха» Аверченко. Его книги вновь стали выходить массовыми тиражами. В 1999 году московское издательство «Терра» выпустило шеститомное собрание сочинений Аркадия Аверченко — впервые на родине писателя. В этом же году в Российском государственном гуманитарном университете состоялась защита кандидатской диссертации московского исследователя Александра Владимировича Молохова «Проблемы реконструкции архивных фондов писателей-эмигрантов (на примере фонда А. Т. Аверченко)». Хотелось бы сказать несколько слов о ее истории.

Когда Александр Молохов заканчивал Историко-архивный институт, был рассекречен архив Аркадия Аверченко и Молохов решил защищать диплом по теме «Обзор документов фонда А. Т. Аверченко в РГАЛИ». Он систематизировал и научно описал фонд № 32, а это более пятисот документов: рукописи, личная и деловая переписка, фотографии, записные книжки, визитные карточки. Работая затем над кандидатской диссертацией об Аверченко, он побывал на Украине, в Чехии и США, где в 1995 году встречался с первым биографом Аверченко Левицким, который разрешил использовать в диссертационном исследовании свою книгу, выпущенную издательством Камкина.

В 1999 году с книгой Д. А. Левицкого «Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко» познакомились и российские читатели. Она была выпущена московским издательством «Русский путь». В предисловии Алла Уманская писала:

«Выпуская эту книгу, издательство „Русский путь“ восстанавливает историческую справедливость, а именно: утверждает приоритет исследователя, впервые 30 лет назад разыскавшего и собравшего в единой книге материалы о крупнейшем русском сатирике. К нам приходит труд первого биографа выдающегося писателя.

А для ныне здравствующего автора, Димитрия Александровича Левицкого, проживающего в Вашингтоне, выход этой книги в России, по его собственным словам, — „символическое возвращение на Родину“».

По мотивам рассказов Аркадия Аверченко в последние годы созданы телеспектакль «Человек за ширмой» (1995), кинофильмы «Шутить изволите?» (1999) и «Невинные создания» (2008).

В картине «Шутить изволите?» роль Аркадия Тимофеевича исполнил Александр Феклистов, который блестяще сумел воплотить на экране характерные черты Аверченко — человека, сознающего несовершенство окружающего мира и относящегося к нему с должной иронией, а также мягкость его натуры, тот самый «кисель», с которым он себя сравнивал неоднократно.

Фильм «Невинные создания» заставил современную критику заговорить о возрождении детского кино и получил Гран-при X Детского кинофестиваля «Листопадик» в Минске. Режиссер — петербуржец Евгений Юликов — на вопрос корреспондентов о том, зачем он взялся за такое «неприбыльное» дело, ответил: «Из интереса к материалу — рассказам Аверченко. Мне показалось, что это интересно, когда дети и взрослые находят общий язык. Я не ставил специальной задачи снять детский фильм».

В 2002 году Эльдар Рязанов снял по мотивам водевилей Жоржа Фейдо и рассказов Аверченко картину «Ключ от спальни». На пресс-конференции, посвященной ее выходу в прокат, режиссер заметил: «Это моя инстинктивная реакция на тот ужас, который я вижу у нас на экране. Реакция немолодого уже человека, который не хочет опускаться в помойную яму». Далее Рязанов рассказал, что во время работы над сценарием он «напитывался эстетикой и стилистикой Серебряного века», читая сатириконцев.

Спектакли по произведениям Аверченко идут сегодня на сценах многих театров России и Украины. В 2003–2005 годах особенно прогремел один из них — музыкальная комедия «Двое других», поставленная по мотивам повести «Подходцев и двое

других».

В январе 2005 года в Интернете появился журнал «Сатирикон — бис!», который, по словам его создателей, «назван в честь „Нового Сатирикона“ Аркадия Аверченко, где „бис“ означает, с одной стороны, преемственность, „№ 2“ и, с другой стороны, — аплодисменты»[137].

С ощутимой любовью к писателю творческий коллектив телеканала «Культура» в 2006 году создал документальный фильм «Аркадий Аверченко: Человек, который смеялся». В том же году в ознаменование 125-летнего (ошибочного!) юбилея писателя в России были выпущены памятный почтовый конверт и марка.

Сегодня без имени Аркадия Аверченко не обходится ни один вузовский учебник по курсу отечественной литературы и журналистики XX столетия. Его имя упоминается в серьезных трудах по истории Гражданской войны. Современная оценка заслуг писателя как очевидца и летописца великих событий далеко ушла от той, которую ему дал в 1927 году один советский критик:

«Память революции сбережет много имен вождей, героев, авантюристов и предателей. Быть может, она не забудет и покойного сатириконца — Аркадия Аверченко. И тогда, произнося его имя, новый человек скажет:

— Это тот самый Аверченко, который не принял величайшую революцию за то, что она помешала ему доесть у трактирной стойки соус кумберленд» (Старчаков А. П. Предисловие // Аверченко А. Веселые устрицы. М., 1928).

Аркадия Тимофеевича не забыли петербуржцы. «Толстовский дом» (улица Рубинштейна, 15/17), в котором он жил и где полностью сохранилась его квартира, сегодня окружен заботами Марины Николаевны Колотило — председателя Товарищества собственников жилья «Толстовский дом» и большой подвижницы. Марина Николаевна собирает материалы о знаменитых жителях дома и готовит к изданию монографию на эту тему. По ее инициативе в доме на общественных началах организовывается музей; один из разделов его экспозиции будет посвящен Аркадию Аверченко и его гостям. В планы членов Товарищества входит и установка на здании мемориальной доски в честь писателя.

Постепенно начинают узнавать о своем земляке крымчане. Материал о нем включен в тематический экскурсионный маршрут «Севастополь литературный», в школьные учебники по краеведению «Смутное время» и «Марш энтузиастов» Екатерины Алтабаевой; изучением его творчества занимаются специалисты Таврического национального и Севастопольского городского

гуманитарного университетов.

В 2002 году Крымский республиканский комитет по охране культурного наследия выступил с инициативой переноса праха писателя в Севастополь. Было направлено письмо-запрос генеральному консулу Чешской Республики в Украине Душану Доскочилу. Оно осталось без ответа.

В 2003 году Крымский центр гуманитарных исследований выпустил биобиблиографический справочник «Аркадий Тимофеевич Аверченко», в котором были обобщены сведения о пребывании писателя в Крыму в 1919–1920 годах и систематизированы его публикации в газетах «Юг» и «Юг России». В 2007 году увидела свет монография автора этих строк «Севастополь Аркадия Аверченко».

Еще в середине 1990-х годов на родине писателя, в Севастополе, всерьез обсуждался вопрос об установке ему памятника. Была создана инициативная группа. Однако протестовал местный горком коммунистической партии Украины, и это благородное начинание ничем не завершилось. К великому сожалению, в последнее время А. Т. Аверченко стал «разменной монетой» в политических спорах и разделил в этом смысле участь Н. В. Гоголя, А. А. Ахматовой и др. Нет-нет да и проскальзывают утверждения, что Аверченко был «этническим украинцем», а стало быть, принадлежит украинской литературе, а не русской. Сам же Аркадий Тимофеевич такого разделения никогда не проводил и чувствовал себя своим и в Малороссии, и в Петербурге, ставшем для него второй родиной… Жаркие споры по поводу личности Аркадия Тимофеевича и способов увековечения его памяти ведутся на городском форуме[138]. Эти дебаты дали результат: в 2008 году было принято решение о присвоении имени писателя одной из новых улиц города.

В том же 2008 году в Севастополе побывали дочь Игоря Константиновича Гаврилова Наталия Одинцова и ее муж. Они любят этот город не только потому, что отсюда родом их предки, но и потому, что именно здесь, в древнем Херсонесе, они когда-то познакомились и полюбили друг друга. Вместе мы прошли по аверченковским местам: постояли в Одесском овраге, посетили дом, где размещался театр «Гнездо перелетных птиц», Покровский собор, в котором когда-то крестили отца Наталии Игоревны и венчались ее бабушка с дедушкой… Говорили о многом: и о превратностях судьбы, и о счастливой случайности, благодаря которой мы встретились. Шутили по поводу того, что у Наталии Игоревны были очень обеспеченные предки и, если бы не революция, она владела бы сейчас участком в центре Севастополя и дачей на берегу моря. Вспоминали ильфо-петровское: «Тихон,

не знаешь ли ты, что с моей мебелью?»… А вечером, стоя у Хрустальных скал, где любил в детстве купаться Аркадий Тимофеевич, решили попытаться написать о нем книгу. И попытались.

Прощаясь же теперь с нашим героем, низко склоняем головы, и вслед за его современниками хочется воскликнуть: «Ave, Аверченко!»

Грустно, не правда ли? Аркадий Тимофеевич нас бы не одобрил. Он относился к жизни легко, поэтому давайте, дорогой читатель, всегда будем помнить его своеобразное завещание: «… не смотрите на мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам, и поэтому достойный презрения и проклятий! Используйте его получше и умирайте попозже».

# ИЛЛЮСТРАЦИИ

*Сусанна Павловна Аверченко, мать писателя. Севастополь. 1910-е гг.*

***Артиллерийская слобода в Севастополе, где прошло детство Аркадия Аверченко. На первом плане Хрустальные скалы. Фото начала XX в.***

***Аркадий Аверченко. Самая ранняя из дошедших до нас фотографий писателя. Харьков. 1901 г.***

***Глеб Гаврилов, племянник и «двойник» А. Аверченко по схожести черт***

***Игорь Гаврилов, старший племянник писателя***

***Надежда Тимофеевна Гаврилова (в девичестве Аверченко), сестра писателя. Севастополь. 1912 г.***

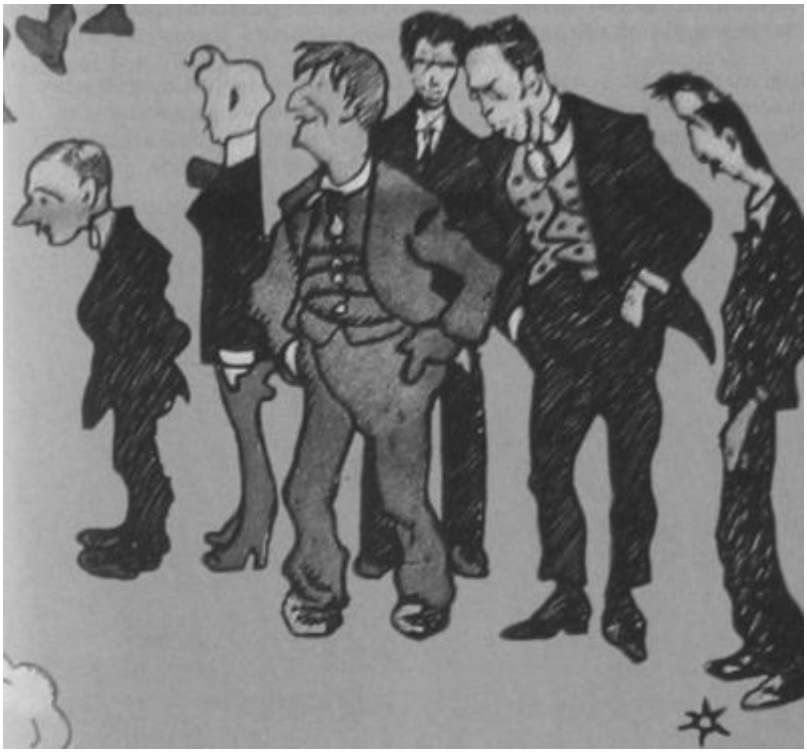
***Мария Тимофеевна Терентьева (Аверченко), старшая из сестер писателя, с сыном Мишей. Севастополь***

*Лидочка Терентьева, племянница и адресат рассказа А. Аверченко «Вечером». Севастополь*

***«Отцы-основатели» журнала «Сатирикон» Алексей Радаков***

***Николай Ремизов- Васильев (Ре-Ми). Портрет работы И. Репина. 1917 г.***

***Аркадий Аверченко. Портрет работы В. Денисова. 1912 г.***



***Шарж на сатириконцев работы Ре-Ми с его подписью: «… впереди наш победоносный издатель <Корнфельд>, за ним чистенький, только что вымытый Юнгер, потом дико хохочущий бесшабашный Радаков, рядом с ним мрачный, нелюдимый редактор Ave <Аверченко> и еще более мрачный, злобный Саша Чёрный, бросающийся иногда даже на своих, — а за их спинами прячется ехидный курчавый негр-людоед Ре-Ми». 1909 г.***

***В редакции «Сатирикона». Среди сотрудников и авторов журнала Аркадий Аверченко (второй слева), Алексей Радаков (третий еле Александр Куприн (крайний справа). 1909 г.***

***Красный бульдог — эмблема мюнхенского журнала «Simplicissimus», предшественника петербургского «Сатирикона»***

***Обложка «Нового Сатирикона». Изображенный в нижнем углу Сатир — фирменный «тотем» журнала. 1917 г.***

*Рекламный плакат «Нового Сатирикона» и его сотрудники. Справа налево: Аркадий Бухов, Константин Антипов (Красный), Аркадий Аверченко, Николай Ремизов (Ре-Ми), Алексей Радаков, неизвестные. 1913 г.*

*Здание на Невском проспекте, 88, в котором находилась редакция «Нового Сатирикона». Санкт-Петербург. Современное фото*

***Аркадий Аверченко в расцвете сил и славы. Середина 1910-х гг.***

***Актриса Александра Садовская в советское время. Оренбург. 1930-е***

*«Толстовский дом» (с аркой), где в 1913–1918 годах находилась квартира писателя. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 15/17. Современное фото*

*Дружеские шаржи на Аркадия Аверченко из множества сохранившихся как свидетельство его всероссийской популярности*

*«Толстовский дом» на дореволюционной открытке с подписью: «Доходный дом гр. М. П. Толстого. СПб.»*

*Знаменитый ресторан «Вена», «магнитом» которого был Аркадий Аверченко, а завсегдатаями сатириконцы и петербургская богема. 1913 г.*

***Гостиничный номер, оборудованный в честь Аркадия Аверченко в мини-отеле «Старая Вена». Санкт-Петербург. Современное фото***

***Надежда Тэффи***

***Саша Чёрный***

***Поэт Василий Князев на страже завоеваний революции Петроград. 1918 г.***

***Аркадий Бухов***

***Обложка книги Аркадия Аверченко «Сатириконцы в Европе». Оформление и иллюстрации А. Радакова. 1915 г.***

***Шарж Ре-Ми на картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» из альбома «Сокровища искусств в шаржах художников А. Радакова, Ре-Ми, А. Юнгера, А. Яковлева». 1912 г.***

***Авторская охранительная марка Аркадия Аверченко. Работа художника С. Чехонина***

***Книги Аркадия Аверченко***

***Господин редактор Ave***

***Аркадий Аверченко эпохи «врангелевского сидения в Крыму». Евпатория. 1920 г.***

*Писатель во время работы над книгой «Дюжина ножей в спину революции». Севастополь. 1920 г.*

*Рисунок Аркадия Аверченко для племянника Игоря Гаврилова. Севастополь. 1919 г.*

*Надежда Тимофеевна Гаврилова в гостиной своего дома, ставшего при Врангеле местом встреч севастопольского бомонда. Фотография сделана 12 марта 1937 года, в двенадцатую годовщину смерти писателя*

*Труппа театра «Гнездо перелетных птиц». Сидят во втором ряду: Владимир Свободин, неизвестная, Аркадий Аверченко, Раиса Раич; в нижнем ряду слева: Евгений Искольдов*

***Русский эмигрант Аркадий Аверченко. Прага. Начало 1920-х гг.***

***Константин, Косточка Бельговский, пражский друг писателя***

***Отель «Zlata Husa» (справа), где поселился Аркадий Аверченко. Прага, Вацлавская площадь***

*А. Аверченко и актер Г. Терехов в роли Павла Первого. Пражская открытка*

***Анонс выступления писателя в Бухаресте 12 ноября 1923 года, опубликованный в эмигрантской газете «Наша речь»***

***Русские эмигранты на отдыхе. Стоят: Евгений Искольдов, Александр Вертинский, Аркадий Аверченко, двое неизвестных; в нижнем ряду в центре: Раиса Раич. Германия. 1923 г.***

*«Глоб-троттер» Аркадий Аверченко (в центре), рядом с ним Евгений Искольдов и Раиса Раич*

*Эскиз обложки журнала «Vanity Fair» («Ярмарка тщеславия») работы русского эмигранта Николая Ремизова (Ре-Ми). США. 1922 г.*

*Ре-Ми с женой. Картина художника Б. Григорьева. 1930-е гг.*

*Аркадий Аверченко*

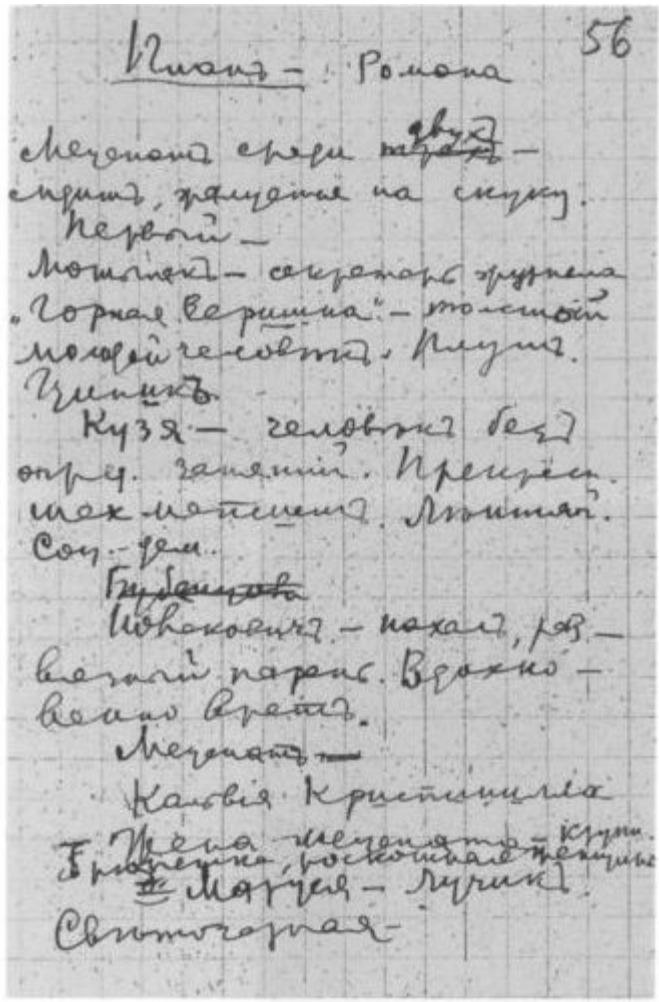
***Актриса Раиса Раич***

*Лиза Культвашрова*

*Силуэт Аркадия Аверченко*

*Писатель в гостях у Лизы Культвашровой в Хомутове. Стоят*

*справа налево: Константин Бельговский, Аркадий Аверченко, Елена Жукова, неизвестный, Лиза Культвашрова, двое неизвестных, Карел Культвашров. Чехословакия. Весна 1924 г.*



56

Шутка – Романа

Меценат среди двух –
сприт, ждущая на смерть.
Первой –
Мошенник – секретарь журнала
„Горная вершина" – толстой
молодой человек. Плут.
Чиновник.
Кузя – головка без
опред. занятий. Прелест.
шах-мятешник. Любитель.
Соц.-дем.
Гурьянова
Иоаковлич – пахан, кав. –
веселый парень. Вражко –
веселый враг.
Меценат –
Жалобщик Критиканша
Жена Мецената – крит.
Барышня, восточная женщина
Марфа – лучик.
Святочная –

*Автограф Аркадия Аверченко: план романа «Шутка Мецената» из записной книжки 1922–1923 годов*

*Прощание с Аркадием Тимофеевичем Аверченко. 14 марта 1925 г.*

*Храм Святого Николая, где отпевали раба Божьего Аркадия. Прага, Староместская площадь. Современное фото*

*Образ Аркадия Аверченко, воплощенный на экране актером Н. Гриценко (в центре). Кадр из кинофильма «Крыса на подносе» по произведению писателя. 1963 г.*

***Надгробие А. Т. Аверченко на Ольшанском кладбище. Прага. 2007 г.***

*Алексей Радаков, оставшийся в Советской России. 1930-е гг.*

***Обложка парижского «Сатирикона» М. Г. Корнфельда. 1931 г.***

***Плакат А. Радакова, вышедший в «Окнах РОСТА»***

***Памятная почтовая марка, выпущенная к 125-летию А. Т. Аверченко. Россия. 2006 г.***

***Автор книги Виктория Миленко (в центре) в гостях у племянника писателя Игоря Константиновича Гаврилова и его дочери Наталии Игоревны Одинцовой. Москва. 2007 г.***

***Аркадий Аверченко: «…Не смотрите на мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам, и поэтому достойный презрения и проклятий! Используйте его получше и умирайте попозже»***

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. Т. АВЕРЧЕНКО

**1880**, 15 (27) марта — в Севастополе в семье купца 2-й гильдии Тимофея Петровича Аверченко и Сусанны Павловны (в девичестве — Софроновой) родился сын Аркадий.

18 (30) марта — крещен в Петро-Павловской церкви на Большой Морской улице.

**1895** — поступает на службу писцом в севастопольскую контору по перевозке кладей.

**1896**, июль — старшая сестра Мария выходит замуж за инженера Ивана Терентьева, с которым едет по месту его службы на Брянский рудник (Луганская область). Аркадий уезжает с ними.

**1896–1900** — работает помощником конторщика на Брянском руднике. 1900 — переезжает в Харьков вместе с конторой Брянского рудника. 1902–1903 — дебютирует как фельетонист и автор юмористических рассказов в журнале «Одуванчик» и газете «Южный край».

**1905** — сотрудничает в газетах «Харьковские губернские ведомости», «Утро», в листке «Харьковский будильник», где ведет раздел «Харьков с разных сторон».

**1906** — получает серьезную травму левого глаза. Проходит лечение в клиниках профессоров-офтальмологов Л. Л. Гиршмана и О. П. Браунштейна. Становится сотрудником и редактором харьковского сатирико-юмористического журнала «Щит».

**1907** — становится сотрудником и редактором харьковского сатирико-юмористического журнала «Меч».

Декабрь — уезжает из Харькова в Петербург.

**1908**, январь — становится сотрудником, а затем редактором журнала «Стрекоза».

1 апреля — выходит первый номер журнала «Сатирикон»; начиная с девятого номера становится его редактором.

**1910** — выпускает сатирико-юмористические сборники: «Рассказы (юмористические). Книга первая», «Веселые устрицы. Юмористические рассказы» и «Зайчики на стене. Рассказы (юмористические). Книга вторая».

**1911** — выпускает сатирико-юмористический сборник «Рассказы (юмористические). Книга третья». Награжден титулом «король смеха». Июнь — июль — совершает первое заграничное путешествие (Германия, Италия, Франция) в сопровождении художников А. Радакова и Ре-Ми, прозаика Г. Ландау. Посещает

Максима Горького на острове Капри.

**1912** — переживает увлечение актрисой Александрой Садовской. Выпускает сборники: «Круги по воде» (с посвящением А. Я. Садовской) и «Рассказы для выздоравливающих».

Весна — совершает совместное гастрольное путешествие с сатириконцами В. Азовым и О. Дымовым, актерами А. Я. Садовской и Ф. П. Фёдоровым (Одесса, Кишинев, Киев, Ростов-на-Дону, Харьков).

Лето — совершает второе заграничное путешествие с целью отдыха на острове Лидо в окрестностях Венеции.

**1913** — принимает участие в праздновании десятилетия ресторана «Вена» и выпуске юбилейного альманаха.

Май — вступает в конфликт с издателем «Сатирикона» М. Корнфельдом и выходит из состава редакции. Вместе с художниками А. Радаковым и Н. Ремизовым создает собственный журнал «Новый Сатирикон».

6 июня — выходит первый номер журнала «Новый Сатирикон». Июль — переезжает в новую квартиру по адресу: улица Троицкая, 15/17, кв. 203.

**1914** — выпускает сатирико-юмористические сборники «Сорные травы» и «О хороших, в сущности, людях».

Май — едет в гастрольную поездку по Волге в сопровождении актеров А. Я. Садовской и Д. А. Добрина (Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Сызрань, Саратов, Царицын, Астрахань).

**1915** — выпускает сатирико-юмористические сборники: «Волчьи ямы», «Чудеса в решете», «О маленьких для больших. Рассказы о детях», «Черным по белому».

Июнь — июль — предпринимает гастрольную поездку по Кавказу, выступает перед ранеными.

**1916**, декабрь — проходит полное медицинское освидетельствование; к военной службе признан «вовсе негодным».

**1917** — выпускает сатирико-юмористические сборники: «Синее с золотом», «Караси и щуки. Рассказы последнего дня», повесть «Подходцев и двое других».

Февраль — март — издает журнал памфлетов «Эшафот».

Весна — издает журнал «Барабан». Передает редактирование «Нового Сатирикона» А. С. Бухову.

**1918**, август — большевики закрывают «Новый Сатирикон».

Сентябрь — бежит в Москву с последующим отъездом в Киев. Октябрь — 1919, февраль — попеременно живет в Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Мелитополе.

**1919**, февраль — приезжает в Севастополь.

Апрель — июнь — работает над пьесой «Игра со смертью».

14 мая — является «поручителем» на свадьбе младшей сестры Неонилы.

25 июля — выходит первый номер газеты «Юг», печатного органа Добровольческой белой армии, Аверченко становится ее постоянным автором, ведущим рубрики «Маленький фельетон».

Сентябрь — участвует в представлениях севастопольского театра-кабаре «Дом Артиста».

30 октября — выдает замуж младшую сестру Ольгу.

**1920** — выпускает сатирико-юмористические сборники «Дюжина ножей в спину революции» и «Нечистая сила».

Январь — присутствует на постановке своей пьесы «Игра со смертью» в театре «Ренессанс».

Март — вступает в конфликт с военным цензором Белой армии, следствием которого становится закрытие газеты «Юг». Посещает барона Врангеля и добивается возобновления выхода газеты под новым названием «Юг России».

Апрель — присоединяется к труппе «театра веселой шутки и художественных пустяков» — «Гнездо перелетных птиц», где исполняет обязанности конферансье и автора-чтеца.

15 ноября — прибывает из Севастополя в Стамбул.

**1921** — живет в Константинополе, сотрудничает в журнале «Зарницы», газете «Presse du Soir», выпускает сатирико-юмористический сборник «Записки Простодушного». Работает в театре-кабаре «Гнездо перелетных птиц». Переиздает в Париже сборник «Дюжина ножей в спину революции».

22 ноября — становится объектом повышенного внимания эмиграции в связи с появлением в «Правде» положительной рецензии В. И. Ленина на книгу «Дюжина ножей в спину революции».

**1922** — выпускает сатирико-юмористический сборник «Кипящий котел». 15 апреля — вместе с труппой «Гнезда перелетных птиц» прибывает на гастроли в Софию.

19–20 апреля — выступает в Софии.

Май — приезжает вместе с труппой «Гнезда перелетных птиц» в Белград.

27, 30 мая — выступает с концертами в Белграде.

15 июня — выступает с концертом в Загребе.

17 июня — приезжает в Прагу. Поселяется в отеле «Zlata Husa». Становится членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии.

Июль — сентябрь — предпринимает концертное турне по городам Чехословакии.

**1923**, январь — встречает Новый год в Берлине, принимая

участие в «Новогодней встрече у юмористов».

Январь — апрель — предпринимает концертное турне по городам Прибалтики и Польши в сопровождении супружеской четы актеров Раисы Раич и Евгения Искольдова.

Май — июль — отдыхает в Цоппоте и работает над романом «Шутка Мецената».

Август — сентябрь — «Шутку Мецената» печатает ковенская газета «Эхо».

Сентябрь — 1924, январь — предпринимает концертное турне по городам Бессарабии и Сербии.

**1924**, апрель — май — выступает в Берлине с чтением своих рассказов.

Июнь — переносит операцию по удалению левого глаза. Проходит послеоперационный курс лечения в клинике профессора-офтальмолога Брукнера.

Декабрь — 1925, январь — лечится на курорте Подебрады.

**1925**, январь — март — лежит в Пражской городской больнице и проходит курс лечения в клинике профессора Силлабы.

12 марта — Аркадий Тимофеевич Аверченко умирает.

14 марта — погребение на Ольшанском кладбище в Праге.

**1927**, 31 марта — закончено слушание дела о наследстве.

**1930**, 26 декабря — освящен новый памятник на могиле писателя.

# КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ


Акимов П. Чистокровный юморист // Юность. 1989. № 8.

Бельговский К. П. Памяти Аверченко // Студенческие годы. 1925. № 2.

Бельговский К. П. Письма Арк. Аверченко // Иллюстрированная Россия. 1926. № 10.

Брешко-Брешковский Н. Н. А.Т.Аверченко. К десятилетию со дня смерти русского юмориста // Иллюстрированная Россия. 1935. № 13.

Богословский Н. Эскизы к биографии [Предисловие] // Аверченко А. Шутка Мецената. М., 1990.

Брызгалова Е. Н. Творчество сатириконцев в литературной парадигме серебряного века / Диссертация на соискание научной степени доктора филологических наук. Тверь, 2005.

Вашко П. П. Аркадий Аверченко — журналист. Истоки популярности: Исследование творческой лаборатории юмориста / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. Минск, 1994.

Воскресенська К. Аверченко Аркадій Тимофійович // Літературна Харківщина: Довідник / За загальної редакцію М. Ф. Гетьманця. Харків, 2007.

Гурова Е. К. Особенности сатирического дискурса (На материале рассказов и фельетонов А. Т. Аверченко) / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. М., 2000.

Долгов А. П. Творчество А. Т. Аверченко в оценке дореволюционной и советской критики // Труды Киргизского государственного университета. Серия гуманитарных наук. Вып. 11. Фрунзе, 1979.

Дьяконов А. Времена года Аркадия Аверченко // Литературная Россия. 1988. № 23.

Евстигнеева Л. А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. М., 1968.

Евстигнеева (Спиридонова) Л. А. Русская сатирическая литература начала XX века. М., 1977.

Ерыкалова И. Е. В дни юбилея [Предисловие] // Аверченко А. Аполлон. СПб., 2001.

Зозуля Е. Д. Сатириконцы / Вступ. ст., подг. текста, коммент. Д. В. Неустроева // Русская литература. 2005. № 2–3.

Ирошников Ю. «Сконгломерировав актеров и поэтов…» (Ресторан «Вена»: из истории российской литературной богемы начала века) // Вопросы литературы. 1993. № 5.

Корнфельд М. Г. Воспоминания // Вопросы литературы. 1990. № 2.

Куприн А. И. Аверченко и «Сатирикон» // А. И. Куприн об искусстве и литературе. Минск, 1969.

Кузьмина О. А. Рассказы А. Т. Аверченко (Жанр. Стиль. Поэтика) / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. Тверь, 2003.

Ландау Г. А. Несколько слов о «Сатириконе» // Тайны вокруг нас. М., 1965.

Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. М., 1999.

Лесная Л. Грин и «Сатирикон» // Воспоминания об А. Грине. Л., 1972.

Миленко В. Д. Севастополь Аркадия Аверченко. Севастополь, 2007.

Михайлов О. Веселый смех [Предисловие] // Аверченко А. Молодняк. М., 1992.

Молохов А. В. Проблема реконструкции архивных фондов писателей-эмигрантов (На примере фонда А. Т. Аверченко) / Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук. М., 1999.

Нестеренко А. Ю. Поэтика сатиры А. Аверченко / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. Днепропетровск, 2009.

Николаев Д. Д. Творчество Н. А. Тэффи и А. Т. Аверченко. Две тенденции развития русской юмористики / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. М., 1999.

Никоненко С. С. Король смеха [Предисловие] // Аверченко А. Т. Бритва в киселе. М., 1990.

Оршер О. Л. Старый журналист. М.; Л., 1930.

Погребняк Г. А. Поэтика парадоксального в малой сатирико-юмористической прозе первой трети XX века (А. Аверченко, Саша Чёрный) / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. Самара, 2003.

Поэты «Сатирикона» / Предисл. Г. Е. Рыклина; вступ. ст., биогр. справки, подг. текста и прим. Л. А. Евстигнеевой. М.; Л., 1968.

«Сатирикон» и сатириконцы. Серия «Антология сатиры и юмора России XX века». Т. 1. М., 2000.

Седых И. (Князев В.) Цемент «Сатирикона»//Литературный Ленинград. 1934. № 31.

Сергеев О. В. Белые мысли Аркадия Аверченко [Предисловие] // Аверченко А. Т. Записки Простодушного. М., 1992.

Соловьева О. И. Фразеологические единицы как средство создания комического в произведениях А. Т. Аверченко и Н. А. Тэффи / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. Магнитогорск, 2001.

Стыкалин С. И. Советская сатирическая печать 1917–1919 гг. М., 1971.

Тэффи. Аркадий Аверченко // Антология сатиры и юмора России XX века. Т. 12. М., 2007.

Хохлов Е. А. «Сатирикон» и сатириконцы//Русские новости. 1950. № 257.

Шевченко С. К родословной А. Т. Аверченко // Отечественные архивы. 2001. № 5.

Щербакова А. В. Лексико-фразеологические средства создания языковой игры в художественной прозе авторов «Сатирикона» (На материале произведений А. Аверченко, Н. Тэффи, С. Чёрного) / Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. Иваново, 2007.

**notes**

# Примечания

## 1

См., к примеру: Евстигнеева (Спиридонова) Л.А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. М., 1968; Вашко П. П. Аркадий Аверченко — журналист. Истоки популярности: Исследование творческой лаборатории юмориста // Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук. Минск, 1994.

# 2

Все публикуемые в настоящем издании письма приведены в соответствие с современными нормами правописания.

# 3

См.: http://memorial.ru/mernorial/

# 4

Город Перекоп находился в Крыму, «за селом Чаплинкой верстах в 23 далее по почтовому тракту», на перешейке (Полное географическое описание нашего отечества/Под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. Т. XIV. СПб., 1910. С. 645). Перестал существовать в 1920 году.

# 5

Вплоть до февраля 1918 года все даты приводятся по старому стилю.

## 6

Церковь не сохранилась. С 1905 года приблизительно на ее месте находится Покровский собор.

ГАГС Ф.30 оп Т.Д.3 Л.11.Об.12

# 8

Семьи Аверченко и Мачука очень дружили. Сын упомянутого здесь П. С. Мачука, Константин, в 1920-х годах учился вместе с Игорем Константиновичем Гавриловым. Потом их пути разошлись. Во время немецкой оккупации Севастополя 1942–1944 годов Константин Мачука партизанил в районе Инкермана, жил в пещерах. Наладил радиосвязь с советскими войсками. Сейчас в Севастополе проживает его сын Вадим.

# 9

Здесь память подводит мемуариста. Между службой на Брянском руднике и карьерой Аверченко в Петербурге прошло как минимум восемь лет. Книгу же, о которой идет речь, — сборник юмористических рассказов Сергея Горного «По-новому» — Аверченко действительно выпустил в серии «Дешевая библиотека „Сатирикона“» в 1912 (!) году. Да и была она у Горного не первой.

# 10

Аркадий Вениаминович Руманов — петербургский журналист, меценат и коллекционер, с которым Аверченко был дружен. До революции этого человека называли «одним из самых блистательных людей блистательного Петербурга»; в 1906–1916 годах он был «правой рукой» московского издателя Ивана Дмитриевича Сытина. В 1918 году Руманов эмигрировал, в конце 1920-х — начале 1930-х годов был статс-секретарем великого князя Александра Михайловича, записывал его воспоминания.

# 11

В 1901 году население Харькова составляло 198 тысяч 273 человека.

# 12

РГАЛИ.Ф. 32. Оп. 1.Д. 228. Л. 1.

# 13

Леонид Леонидов (1885–1980) в 1910–1919 годах был антрепренером провинциальных театров. Именно он организовал первое большое концертное турне Александра Вертинского, после которого «ариетки Пьеро» завоевали всю страну. С 1918 года работал импресарио труппы МХТ. С 1922 года жил за границей.

# 14

«Город желтого дьявола» (1907) — очерк Максима Горького.

# 15

Пьеса, театральное представление, основой которого является изображение различных преступлений, злодейств, скабрезных сценок, избиений, пыток; название жанра происходит от парижского театра «Гран-Гиньоль» (Le Théâtre du Grand Guignol), появившегося в 1897 году, в репертуаре которого были в основном подобные представления.

# 16

От немецкого hund — собака.

# 17

РГАЛИ. Ф. 2041. Оп… 1. Ед. хр. 122. Л. 1–3.

# 18

В 2000 году рожденный Ре-Ми персонаж станет эмблемой книжной серии «Антология сатиры и юмора России XX века», выпускаемой московским издательством «Эксмо».

# 19

Саша Чёрный описывает место расположения главной конторы «Сатирикона» на набережной Фонтанки, 80.

# 20

Сохранился портрет Ре-Ми работы Ильи Ефимовича Репина (1917).

# 21

Константин Эдуардович Гибшман (1884–1942) — известный актер первой трети XX века. Играл роль Первого мистика в «Балаганчике» Александра Блока. Выступал в летних театрах Куоккалы и Териок; в кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов»; сотрудничал с «Веселым театром для пожилых детей» Н. Евреинова и Ф. Комиссаржевского (1909); «Невским фарсом» В. Лин (1911); Троицким театром миниатюр А. Фокина (1911–1913); «Кривым зеркалом» А. Кугеля и Н. Евреинова (1913); в сезоне 1913/14 года исполнял свой репертуар чтеца-эксцентрика и заменял конферансье Н. Балиева на просцениуме «Летучей мыши» (Москва).

# 22

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 11. Л. 7.

# 23

ОР ИРЛИ. Ф. 584. № 10.

## 24

Название круглосуточной гостиницы, которая располагалась в Дмитровском переулке, 5. В «Гигиене» поселит героев плутовской повести «Растратчики» (1926) Валентин Катаев.

# 25

РГАЛИ. Ф. 224. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 11.

# 26

ОР ИРЛ И. Ф. 377. Оп. 7. № 26. Л. 2.

# 27

РГАЛИ. Ф. 2041. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 1–10.

# 28

РГАЛИ. Ф. 2041. Оп. 1.Ед.хр. 189. Л. 12–12 об., 13.

# 29

ОР РГБ. Ф.615. Оп. 1.Д. 13. Л. 45.

# 30

Дело об обвинении киевского еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 13-летнего русского мальчика Андрея Ющинского, тело которого с сорока семью колотыми ранами было обнаружено 20 марта 1911 года. Суд начался 25 сентября 1913 года и длился два с лишним года. Корреспонденты самых влиятельных газет мира присутствовали на заседаниях; в защиту Бейлиса выступали В. Короленко, А. Блок, В. Вересаев, Ан. Франс. Бейлис был оправдан.

# 31

ОР ГЛМ. Ф. 254. № КП 54 561.

Так было заявлено, хотя, вероятнее всего, текст писал один Аверченко. Впоследствии он переиздавал эту книгу только под своей фамилией.

# 33

РГАЛИ. Ф. 493. Оп.1. Ед. хр. 61. Л. 15.

# 34

Книга Василия Князева «Жизнь молодой деревни. Частушки-коротушки Санкт-Петербургской губернии» (1913) была отмечена почетным отзывом Академии наук.

## 35

Комический эффект основан на фонетической игре: «ве — ка» — «W. К.» (ватерклозет).

«Синий журнал», редактором которого был Василий Регинин.

## 37

РГАЛИ. Ф. 90. Оп. 1. Д. 28. Л. 79–80.

# 38

Александр Рафаилович Кугель (1864–1928) — российский литературный и театральный критик, драматург, режиссер, основатель театра «Кривое зеркало». В 1897–1918 годах — редактор журнала «Театр и искусство».

См.: http://www.sptl.org/hodotov.html

[1] РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1.Д. 236. Л. 6.

# 41

РГАЛИ. Ф. 1337 (Коллекция воспоминаний). Оп. 4. Д. 42. Л. 92–93.

# 42

Александр Вертинский писал по поводу прозвища «фармацевт»: «Статистикой уже доказано, вероятно, что наибольшее количество любителей всякого рода искусств — от поэзии до театра, живописи и музыки — в прежнее время всегда выходило из среды людей, принадлежавших к почтенной профессии фармацевтов. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что профессия очень уж скучная и выписывать латинские рецепты микстур и порошков, конечно, менее интересно, чем декламировать стихи Бальмонта или сонеты Петрарки» (Вертинский А. Н. Дорогой длинною… М., 2008).

# 43

Евтихий Павлович Карпов — драматург и режиссер. Занимал пост главного режиссера в театре А. С. Суворина (издателя «Нового времени») в Петербурге: долгое время был управляющим труппой Императорского Александринского театра. Из пьес Карпова наиболее прочно держалась в репертуаре русских театров «Рабочая слободка».

## 44

Это стихотворение А. А. Блока под названием «В ресторане» (1910) было вызвано встречей поэта с Марией Дмитриевной Нелидовой в ресторане «Вилла Родэ». — *Прим. ред.*

## 45

Детское Село (с 1918 года) — бывшее Царское Село; с 1937 года — город Пушкин.

# 46

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 84. Л. 81–82.

# 47

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 167. Л. 5–6.

## 48

ОР РГБ. Ф. 615. Оп. 1. Д. 13. Л. 45.

# 49

Николай Александрович Лейкин (1841–1906) — журналист, прозаик. С 1881 по 1905 год редактировал юмористический журнал «Осколки», поддерживал молодого Чехова, который называл его своим «литературным батькой». Имя Лейкина стало нарицательным для обозначения многопишущего пошлого юмориста.

Ныне Академический Малый драматический театр.

Карпов Н. А. В литературном болоте // nasledie-rus.ru

# 52

Ефим Зозуля, как помним, свидетельствовал в воспоминаниях, что заголовок «Недоношенные рассказы» придумал сам Аверченко.

# 53

РГАЛИ. Ф. 2041. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 12–12 об., 13.

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 84. Л. 4.

# 55

Ресторан «Король Альберт» находился на набережной Мойки, 58.

ОР Санкт-Петербургского театрального музея. № КП6641. Л. 58.

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 84. Л. 9.

# 58

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 176. Л. 1.

# 59

Александр Дмитриевич Кошевский (настоящая фамилия — Кричевский) (1873–1931) — русский советский артист оперетты. С 1902 года играл в Петербурге в театре «Пассаж» и «Палас-театре», с 1915 года — в московских театрах «Эрмитаж», «Буфф», «Аквариум»; после революции выступал в Московском театре музыкальной комедии.

# 60

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 178. Л. 1.

# 61

Книга очерков Власа Дорошевича, написанная по итогам поездки на остров.

# 62

Фрума Ефимовна Хайкина (Ростова-Щорс) (около 1896 — после 1960) возглавляла службы ЧК при формированиях под командованием Щорса (летом 1919-го — при 44-й стрелковой дивизии). После гибели Щорса 30 августа 1919 года и окончания Гражданской войны работала в Наркомпросе, организовывала «щорсовское движение».

## 63

Авторская сноска: «Факт этот рассказан автору одним, вполне заслуживающим доверия, харьковцем. — А. А.».

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 230. Л. 3.

## 65

Дом, в котором писатель снимал квартиру, не сохранился. Приблизительно на его месте ныне расположен Драматический театр имени А. В. Луначарского.

В апреле 1919 года за границу выехали также оставшиеся в живых члены династии Романовых, жившие на Южном берегу Крыма и чудом спасшиеся от расправы большевиков.

Графская пристань — парадный причал Севастополя.

# 68

Сын Леонида Собинова Борис в 1920 году эмигрировал, в 1945 году был похищен из американской зоны Берлина сотрудниками НКВД, вывезен в СССР, десять лет провел в лагерях. Жена Собинова родила в 1920 году в Балаклаве дочь Светлану, которая станет женой писателя Льва Кассиля.

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 65,66,67,77.

## 70

Этот адрес указан в «Рождественском Сатириконе Аркадия Аверченко» (январь 1921 года).

# 71

Сейчас. Вы идите все налево, налево, после еще налево и здесь… (фр.).

# 72

Я понимаю (фр.).

# 73

Железная дверь (фр.).

Хорошо (фр.).

# 75

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 97. Л. 1.

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 231. Л. 9.

## 77

Цит. по: Молохов А. В. Проблема реконструкции архивных фондов писателей-эмигрантов (на примере фонда А. Т. Аверченко) / Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук. М., 1999. С. 320.

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 199. Л. 2–3.

## 79

А. И. Куприн перефразирует здесь дореволюционное выражение «ванькина литература», означавшее низкопробную беллетристику.

РГАЛИ. Ф. 32. Оп… 1. Д. 105. Л. 11.

# 81

Сестра Ре-Ми, Александра Владимировна Ремизова, тоже была художницей и постоянной сотрудницей «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». Свои рисунки подписывала псевдонимом «Мисс».

# 82

РГАЛИ. Ф. 32. Оп… 1. Д. 150. Л. 1.

## 83

Возможно, память подвела мемуаристку и имеется в виду первый редактор «Крокодила» К. С. Еремеев.

Настоящая петербургская (фр.).

# 85

Есть, кушать (фр.).

# 86

Чашка (фр.).

С (фр.).

РГАЛИ. Ф. 32. Оп… 1. Д. 238. Л. 1.

См.: http://www.russianresources.lt/archive

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1.Д. 110. Л. 9.

См.: http://www.russianresources.lt/archive

# 92

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1.Д. 110. Л. 1.

# 93

РГАЛИ. Ф. 22 524. Оп. 1.Ед.хр.105.

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1.Д. 110. Л. 9.

# 95

Повесть Н. В. Гоголя.

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1.Д. 110. Л. 21–23.

# 97

Рода-Рода (Alexander Friedrich Rosenfeld) — австрийский писатель-юморист.

См.: http://albion9.sitecity.ru/stext_1 405 043 158.phtml

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1.Д. 98. Л. 8.

# 100

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1.Д. 110. Л. 7.

# 101

Крупнейший в Петербурге книжный магазин, располагался на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. Торговал графической продукцией, открытками с видами городов России, портретами знаменитостей.

# 102

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1.Д. 110. Л. 14.

См.: http://www.russianresources.lt/archive

См.: http://az.lib.rU/n/nemirowichdanchenko_w_i/text_0100.shtml

# 105

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1.Д. 12. Л. 2.

# 106

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1.Д. 112. Л. 7.

# 107

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1.Д. 112. Л. 10

Там же. Л. 113.

Обе книги выйдут в 1925 году в пражском издательстве «Пламя».

# 110

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 78. Л. 6.

# 111

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 78. Л. 10–11.

# 112

Там же. Ед. хр. 15.

# 113

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 78. Л. 14–15.

Там же. Д. 110. Л. 9.

# 115

Аркадий Бухов в эти годы уже полностью облысел.

См.: http://www.russianresources.lt/archive

Cuentos *(исп.)* — рассказы, новеллы.

# 118

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 78. Л. 17–18.

# 119

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 78. Л. 2.

См.: http://www.russianresources.lt/archive

# 121

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1.Д. 112. Л. 20.

# 122

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 112. Л. 22.

# 123

Там же. Л. 25.

Там же. Д. 110. Л. 17.

См.: http://www.russianresources.lt/archive

# 126

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 8. Л. 22–24.

# 127

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 112. Л. 28.

# 128

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1.Д. 101. Л. 1.

# 129

Там же. Д. 172. Л. 2.

Там же. Д. 112. Л. 31.

# 131

В русском секторе Ольшанского кладбища похоронены также: писатели В. И. Немирович-Данченко, Е. Н. Чириков, Франц Кафка, священник Михаил Васнецов (сын художника В. Васнецова), Н. В. Брусилова (жена генерала А. А. Брусилова), мать и сестра писателя В. В. Набокова, графиня С. Н. Толстая, Т. Н. Родзянко и многие другие.

# 132

Во время обороны Севастополя 1941–1942 годов город был разрушен гитлеровской артиллерией и авиацией на 98 процентов.

# 133

«Сатирикон» воскресал трижды. Помимо упомянутого предприятия Корнфельда, русские эмигранты издавали «Сатирикон» во Франкфурте в 1951 году. Этот антисоветский журнал открыто противостоял «Крокодилу» и просуществовал три года. Редакция заявляла: «Советский „Крокодил“ — существо, пресмыкающееся перед ЦК партии. Нильский крокодил, например, плачет от стыда за своего дальнего родственника». Главными мишенями сатиры были Сталин и его окружение. Сообразно своему духу отметил журнал и смерть Сталина, выказав ироническое соболезнование по поводу кончины кормильца и поильца, кто давал темы для сатирических пародий и карикатур. Наконец, с 1984 по 1986 год в Сан-Франциско выходил антисоветский «New Satirykon», который был «рупором» русской эмиграции и распространялся по всему миру (см.: *Соколовский Р.* Как «Сатирикон» воевал с «Крокодилом» // Новая газета. 2008. 28 ноября).

См.: http://www.ruslo.cz

# 135

ЦАФСБ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1604.

См.: http://konetsky.spb.ru/about/stories/tom-7/10–1

См.: satirikon.biz@gmail.com

См.: http://fonim.sevastopol.info